



Людмила Стефановна Петрушевская

Как много знают женщины.

Повести, рассказы, сказки, пьесы

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6301181

*Петрушевская, Людмила Как много знают женщины: Повести, рассказы, сказки, пьесы : АСТ;
Москва; 2014
ISBN 978-5-17-079952-7*

Аннотация

Людмила Петрушевская (р. 1938) – прозаик, поэт, драматург, эссеист, автор сказок. Ее печатали миллионными тиражами, переводили в разных странах, она награждена десятком премий, литературных, театральных и даже музыкальных (начиная с Государственной и «Триумфа» и заканчивая американской «World Fantasy Award», Всемирной премией фэнтези, кстати, единственной в России).

Книга «Как много знают женщины» – особенная. Это первое – и юбилейное – Собрание сочинений писательницы в одном томе. Здесь и давние, ставшие уже классикой, вещи (ранние рассказы и роман «Время ночь»), и новая проза, пьесы и сказки. В книге читатель обнаружит и самые скандально известные тексты Петрушевской «Пуськи бятые» (которые изучают и в младших классах, и в университетах), а с ними соседствуют волшебные сказки и новеллы о любви. Бытовая драма перемежается здесь с леденящим душу хоррором, а мистика господствует над реальностью, проза иногда звучит как верлибр, и при этом читатель найдет по-настоящему смешные тексты. И это, конечно, не Полное собрание сочинений – но нельзя было выпустить однотомник в несколько тысяч страниц... В общем, читателя ждут неожиданности.

Произведения Л. Петрушевской включены в список из 100 книг, рекомендованных для внешкольного чтения.

В настоящем издании сохранена авторская пунктуация.

Содержание

1. Рассказы	4
Из цикла «Бессмертная любовь»	4
Такая девочка, совесть мира	4
История Клариссы	11
Отец и мать	14
Бессмертная любовь	16
Скрипка	18
Сети и ловушки	21
Али-Баба	26
Мильгром	29
Случай Богородицы	31
Бедное сердце Пани	35
Милая дама	38
Темная судьба	39
По дороге бога Эроса	40
Из цикла «Жизнь это театр»	50
Мост Ватерлоо	50
В детстве	54
Музыка ада	64
Донна Анна, печной горшок	73
Два бога	75
Рай, рай	79
Колыбельная птичьей родины	84
Детский праздник	86
Йоко Оно	91
Шопен и Мендельсон	94
Жизнь это театр	95
Невинные глаза	98
Тайна дома	100
О, счастье	105
Нюра Прекрасная	107
Как цветок на заре	108
Найди меня, сон	115
Подснежник	121
Из учебника жизни	125
За медом	130
Богиня Парка	133
Порыв	141
Конец ознакомительного фрагмента.	144

Людмила Петрушевская

Как много знают женщины

(повести, рассказы, сказки, пьесы)

1. Рассказы

Из цикла «Бессмертная любовь»

Такая девочка, совесть мира

Теперь она как бы для меня умерла, а может быть, она и на самом деле умерла, хотя за этот месяц никого в нашем доме не хоронили. Наш дом обыкновенный – пять этажей без лифта, четыре подъезда, напротив точно такой же дом и так далее. Если бы она умерла, сразу бы стало известно. Значит, она еще живет как-то.

Вот гляди: у меня к ящику с незаполненными формулярами приклеена фотокарточка, контакт. Это она, Раиса, Равиля, ударение на последнем слоге, татарка. Ничего не видать на этом контакте, лицо волосами завешено, две ноги и две руки: в позе «Мыслителя» Родена.

Она всегда так сидит, даже недавно у меня на дне рождения так сидела. Я ее в первый раз наблюдала в отношениях с другими людьми, до этого времени мы общались только между собой, двое на двое – она со своим Севой, и мы с моим Петровым.

Оказалось, что и танцевать она не умела и сидела тихо, как мышь. Мой Петров ее вытянул танцевать, но она после этого танца сразу ушла домой.

Да, танцевать она не умеет, но проститутка она профессиональная. Ее Севка откуда взял, из какой ямы выгреб? Она только что из колонии вышла и опять пошла по рукам, а он на ней взял и женился. Он сам в растроганности об этом рассказал, но просил под страшной клятвой, чтобы я никому не говорила. Он и про ее отца рассказывал, как Раиса с пяти лет клеила коробочки для пилюль, они с матерью клеили для отца, это отец достал себе такую работу, потому что был инвалидом. А потом мать умерла от сердца в больнице, и отец стал открыто приводить к ним в комнату женщин. В общем, страшные вещи. И как Раиса сбежала из дому, попала к каким-то мальчикам в пустую квартиру, и они ее несколько месяцев не выпускали, и как потом, через сколько-то времени, эту квартиру раскрыли. Но это все история, это никого теперь не касается, а важно то, что Раиса и сейчас этим занимается.

Севка уходит на работу, она остается дома, она нигде не работает. Севка ей обед оставляет – приходит домой, а она даже не разогрела, даже на кухню не ходила. Лежит целыми днями, курит или по магазинам шастает. Или плачет. Начнет плакать ни с того ни с сего – плачет четыре часа подряд. И конечно, соседка ко мне прибегает, на ней лица уже нет – бегите спасайте Раечку, она плачет. И я мчусь с валидолом, с валерьянкой. Хотя у меня у самой бывает такое – и не просто так, без повода, – что хоть ложись и помирай. Но что у меня в душе творится, какие тяжести мне приходится выносить – никто не знает. Я не кричу, не катаюсь на неубранной кровати. Только когда меня мой Петров в первый раз бросал, когда он с этой Станиславой хотел пожениться и они уже искали деньги в долг на развод и кооператив и Сашу моего хотели усыновить, – только тогда я единственный раз в жизни сорвалась. Правда, Раиса меня тогда защищала, как своего детеныша, и на Петрова прямо с ногтями бросалась.

У Петрова моего это по три-четыре раза в год бывает, такая любовь вечная, бесконечная. Это я теперь уже знаю. А сначала, когда он в первый раз от меня уходил, я чуть было не бросилась с нашего третьего этажа. Я прямо вся дрожала от нетерпения все кончить, потому что накануне он мне сказал, что приведет Станиславу знакомиться с Сашей. Сашу я рано утром отвезла к матери на Нагорную, а потом вернулась и ждала их целый день. А потом полезла на подоконник и стала привязывать кусок провода, который остался после того как Петров натянул его на кухне в несколько рядов для Сашиных пеленок. Провод был крепкий, изолированный хлорвинилом. И я привязала этот провод к костылю, который давно Петров вбил в бетонную стену, чтобы укрепить карниз. Тогда еще мы только получили эту комнату, и еще Саши не было, и я помнила, что Петров бил стену почти час. Я обвязала концом провода этот костыль, но провод был гладкий, и все никак не держалась петелька на костыле. Но я все-таки примотала провод, сделала петлю на другом конце для шеи, как-то сообразила, что куда вязать. И как раз в этот момент с лестницы стали нашу комнату открывать ключом. И я забыла все на свете – даже забыла про Сашу, а помнила только одно, что они хотят его усыновить, и от этого он уже как будто был для меня испоганенный, как будто не я его родила, не я кормила. И я испугалась, что уже Петров со Станиславой в квартиру входят, и рванула окно за ручку так, что пластырь затрещал. Мы окно пластырем заклеивали на зиму.

А в комнате было уже темно, за окном было видно дом напротив, пустой, без огней – его еще не заселили, только неглубоко внизу горел уличный фонарь. И я еще раз рванула окно, так что даже рама подалась. И в этот момент в комнату вошла Раиса и кинулась обнимать меня за ноги. Она слабая, а я сильная и разъяренная была в этот момент, но она уцепилась за мои ноги как собака и все твердила: «Давай вместе, давай вместе, подожди меня». А я тогда подумала в том плане, что ты-то что лезешь, что у тебя за печаль, – и даже оскорбилась как-то за себя. У меня, можно сказать, жизнь обвалилась, меня бросил муж, бросил с ребенком и ребенка этого хочет отнять – а ты-то что? Но Раиса лезла и лезла коленкой в открытое окно, хотя кидаться с нашего третьего этажа в глубокий снег без петли на шее – это смешно. И я ее со всей силой оттолкнула и попала рукой по лицу, а лицо было мокрое, скользкое, ледяное. И я спрыгнула с окна совсем, закрыла окно, а пластырь весь скорчился и не было никакой возможности его натянуть, да и руки у меня плохо слушались.

И осталось у меня после этого случая только одно – холодность в голове. Не знаю, то ли Раиса сыграла здесь свою роль, но я поняла, что все эти бессмысленные метания и поступки по первому крику души – все это не мое. Что же мне равняться с Раисой?

И оказалось, что все действительно надо было делать с умом. Я сделала так, что эта Станислава вскоре стала сказкой. Это оказалось очень легко, потому что Петров мне по своей глупости проговорился, где и кем она работает, а уж имя у нее было редкое. Потом у Петрова пошли другие, я даже многих по имени и не знала и плевать на них хотела, а не то чтобы бросаться и вешаться. И когда он заводил со мной разговор о разводе, я только отмахивалась. На меня не действовал его плач, его слова о том, что он меня ненавидит. Я ему только говорила с усмешкой: «От себя, мой милый, не убежишь. Если ты шизофреник, то пойдешь лечиться».

Но, по правде сказать, у него было безвыходное положение: выписаться из его комнаты, он знал, я не выпишусь. Мне некуда. Нашу шестнадцатиметровую комнату разменять на две невозможно. И еще одно: когда у нас родился Саша, Петрову на его производстве обещали двухкомнатную квартиру. Поэтому я каждый раз знала, что он погуляет и вернется, потому что, когда построят дом и встанет вопрос о желающих, тут ему, одному, да еще разведенному, не дадут ничего. А уже когда получим двухкомнатную квартиру – тогда и разменять ее можно, и развестись. Так что каждый раз Петров оставался со мной ждать двухкомнатной квартиры. А может быть, и не в этом было дело, и он возвращался ко мне не поэтому. Потому что я всегда чувствовала, если Петрову по-настоящему приспичит, он не посмотрит ни на квартиру, ни на что, а уйдет, как будто его и не было.

И когда кончался у него очередной роман, он начинал оставаться вечерами дома, приглядывался ко мне, как я летаю из кухни в комнату, помогал мне с Сашей – даже брал его из детского сада и укладывал спать, когда у меня бывала вечерняя смена. И наконец, приносил бутылку полусладкого шампанского, зная, что я это вино люблю. Надо сказать, что я всегда такой момент предвидела и тоже со своей стороны готовилась к нему. Он говорил мне со вздохом: «Выпьешь со мной?» – и я доставала из кухонного буфета чешские фужеры. Это было всегда волнующе, как первое свидание, с той только разницей, что мы оба знали, чем это сегодня кончится. Такие зигзаги в нашей жизни придавали ей остроту. И Петров мне шептал, что я самая горячая, самая нежная, самая темпераментная.

А Раиса – она ведь в таких вещах стенка стенкой. Наши знакомые ребята, которые с ней имели дело – нельзя сказать, что спали, потому что все это обычно происходило днем, когда Севки не было дома, и достаточно было застать ее в комнате одну, чтобы очень легко всего добиться, – ребята говорили, что с ней неинтересно и она ведет себя так, как будто ей не то что все равно, а даже противно. И она ни с кем не желала после этого разговаривать, как это обычно бывает, – ведь люди не только животные, но и мыслящие существа, им интересно знать, чем живет тот человек, который с ним рядом, кто этот человек вообще. Мы иногда с Петровым разговаривали целыми ночами, особенно после его зигзагов, и не могли наговориться. Он мне рассказывал о своих женщинах, сравнивал их со мной, а мне все было мало – я выпытывала у него все новые и новые подробности. И мы вместе смеялись, правда очень по-доброму, над Раисой. Ведь все наши знакомые ребята, ну буквально все, даже с родины Петрова, приезжавшие к нам, все перебивали у Раисы. И все нам о ней рассказывали.

Вот, например, такой мальчик Грант, земляк Петрова. Мы ему писали, что если он придет и нас не будет дома – ключ хранится в соседней квартире у Раисы, она почти всегда на месте. Мы уже давно так сделали, чтобы ключ был у Раисы, – так удобней. И ее ключ был у нас. Чтобы не звонить лишний раз друг другу в квартиру, не вмешивать в это дело соседей.

Когда мы оба вернулись с работы – Грант уже сидит на Сашиной диван-кровати, красный, грустный, рассматривает монографию Сислея. А на детском секретере лежат Раисины ключи от нашей двери. Мы всё сразу поняли, засмеялись. Я спрашиваю: «Что, Раиса раскололась?» А он смотрит на нас с испугом, потрясенный. Потом, когда мы ему все объяснили, он протрезвел и успокоился, рассказал во всех подробностях. Говорит, что когда она открыла ему дверь, то он даже спросил: «Что вы меня так испугались? Я же не кусаюсь». А она отскочила в угол. Она была в одном халате, она всегда так дома ходит. И он добавил, что у него было такое впечатление, что она сама на все идет, потому что она боится чего-то, просто теряет память от страха. И от этого потом остается отвратительный осадок на душе, как будто оскорбил кого-то, хотя она ничего не говорила и не сопротивлялась.

Но мы его успокоили, чтобы он не волновался. Это у нее со всеми так внешне выглядит. Это она с первого раза производит впечатление маленькой, черненькой, тихой девочки, и танцевать-то она не умеет, и когда к нам приходят гости, она тише воды сидит на Сашиной диван-кровати, и вытащить ее танцевать можно только с большим трудом, потому что она пугается многолюдия. И все наши ребята на это попадают, у всех просыпается охотничий инстинкт, все тянут ее из угла за руку, а она прямо вся дрожит. И уходит домой.

Она на меня и с самого начала нашего знакомства произвела какое-то жалющее впечатление, как новорожденное животное, не маленькое, а именно новорожденное, которое не умиляет своей хорошенькостью, а прямо жалит в самое сердце. Никакая любовь не мешает этому жалению, это чистая жалость, от которой перехватывает дух.

Началось это с того, что она позвонила к нам в квартиру в четвертом часу ночи, не разбирая, что это чужие люди, что ночь. Я открыла, она стоит в своем халатике, щеки мокрые, слезы льются с подбородка, руки в карманах, вся дрожит – и просит сигаретку. Я провела ее на кухню, включила свет, нашла у Петрова в пальто начатую пачку сигарет. Покурили мы

с ней, я ее спрашиваю: «А где ваш Сева?» А она опухшими губами отвечает: «В командировке». Просидели мы с ней долго, я ей кофе сварила, пока она не перестала дрожать. Потом я почувствовала, что Саша во сне раскрылся, пошла в комнату, закрыла его, возвращаюсь – она опять скрючилась на табуретке – плачет. «Что вы? – спрашиваю. – Наверное, по мужу скучаете?» Она подняла голову и говорит: «Я боюсь атомной бомбы». Не смерти она боится, а бомбы, представляешь? И видно, что ни капельки она не играет – вот чего в ней никогда не было, так это игры. Она все делала то, что приходилось делать, и никогда не притворялась. Вот что в ней было странного – у нее совершенно не было сопротивления, что ли. Что-то в ней было испорчено, какой-то инстинкт самосохранения. И это сразу чувствовалось.

Перед уходом, в дверях, она заплакала снова и так и ушла к себе. Я не стала ее удерживать – уже начиналось утро, мне к девяти было на работу. И потом, на работе, я всем своим девкам рассказала про свою соседку, такую девочку, совесть мира. Я даже гордиться ею начала.

И мы не могли дня друг без друга прожить. Или они с Севкой у нас торчали, или мы у них. Пойдешь за сигаретой – она просит: посиди, покурим. И на два часа. Я ей все рассказывала, вот как сейчас тебе. Я такой человек, мне легче от этого, когда я рассказываю. И вот мы два часа сидим, мировые проблемы обсуждаем – о жизни, о людях. Я-то спокойно сижу, разговариваю. Я хорошая хозяйка, у меня уже с утра все сделано, уже и обед готов, и сразу после обеда я в институт сматываюсь, когда у меня вторая смена. А она и не работает, и ничего у ней не сделано – как будто она и не жена Севке. Он и на работу, и в магазин, и домой летит как сумасшедший, как будто у него там младенец кричит. Придет, все уберет – хотя от Раисы, кроме полной пепельницы, никакого мусора не оставалось. Тарелок она не пачкала. Севка ей в кастрюльке суп оставит, на сковороде второе – она даже и не заглянет, даже ложкой не поболтает.

Севка и к врачу ее водил, отпросился с работы и повел. Врач нашел у нее полное истощение и даже чуть ли не дистрофию. Как будто человек в блокаде живет. Прописал ей колоть алоэ.

Она купила себе шприц – и вот вам развлечение, колет сама себе в ногу повыше колена. Все у нее по порядку – тампоны, спирт, бикс для стерильной ваты, сама кипятит иглу. Откуда-то она это знает. Потом сядет к окну, скажет: «Отвернитесь», – и такой тихий цедящий звук раздастся, такое сипение. Я прямо внутренне содрогалась, смотрю на Севку – он белый стоит, о притолоку опирается. А она говорит: «Всё, дураки», – а сама еще шприц не вынула, еще следит, как последний осадок из шприца выходит.

Так мы дружили, она с моим Петровым из-за меня сколько раз схватывалась. Ругаться она не умела как следует, а только говорила: «Ты настоящая сука, понял?» Наверное, так в колонии ругались.

Петров тут недавно одной девушкой занялся, у нас же в институте работает, в лаборатории у Антоновой. Ты ее знаешь, такая полная, рыхлая, пустое место. И мой Петров заходит и заходит за мной на работу, хотя знает, допустим, что я во вторую смену и идти домой не могу. И все-таки спрашивает: «Идешь домой?» Отвечаю, что нет. «Тогда не буду тебя ждать», – и идет напрямик к той в лабораторию. И она, как ни странно, ко мне в картотеку стала заходить. А Петров уже тут как тут. Общий разговор, и уже я оглянуться не успела, как Петров ее приглашает к нам в гости. Он вообще очень любит, когда к нам гости приходят, просто жить без этого не может. Если вечер у нас пустой, он сидит мрачный, а потом вдруг сорвется и уйдет.

И как раз такое время наступило, что эта пустота обязательно должна была чем-нибудь заполниться. Я просто физически чувствовала приближение этого. Я смотрела по сторонам и отмечала про себя всех знакомых девчонок и спрашивала: эта или та? У нас в доме в это время бывало много народу. Сашу я почти переселила к маме на Нагорную, хотя у нее там

была еще внучка. Каждый вечер гости – мы с Петровым жили лихорадочно, как на постоянном дворе, приходили к нам компании с гитарами, приносили вино. Я делала свои фирменные блюда – колбасу из печени с орехами в целлофане и жареный лук с желтком и черными гренками. И у меня было такое впечатление, что все идет псу под хвост, все обваливается, все сейчас разлетится, потому что, несмотря на песни под гитару и танцы, несмотря на магнитофон и красивых парней и девушек, было у нас в доме в эти вечера насильственно, скучно.

И я смотрела на всех этих молоденьких девушек, которые созревали целыми гроздьями в то время как я рожала Сашу, растила его, ходила по магазинам, кормила и обстирывала Петрова, в то время как мы покупали магнитофон и детскую мебель для выросшего Саши. Девушки шли в наступление целыми ротами – красивые, модно причесанные, ловко оборачивающиеся со своими скудными стипендиями и зарплатами, готовые на все, агрессивные. Но я знала, что мне не их надо бояться. Все-таки я своего Петрова знала. И я смотрела на всех девушек и знала, что ему надо Раису, и не просто так, а на всю жизнь.

Но, как ни странно, отношения у них не только не наладились, но даже и ухудшились. Она его просто видеть не могла и все реже появлялась в его присутствии у нас дома. Она не могла ему простить того, что я валюсь с ног от неизвестности – ведь я ей все рассказывала, кроме своего главного подозрения.

И потом вот он пригласил в гости эту полную, рыхлую Надежду из третьей лаборатории. У него есть эта странная привычка: каждую из своих девушек он обязательно приводит к нам в дом. Я не могу понять, что заставляет его так делать. Иногда я думаю, что он это делает ради меня, против меня, чтобы заставить меня еще больше мучиться и этим сделать свой зигзаг еще более для себя сладостным. Но вдруг я думаю, что я здесь ни при чем, что Петров приводит к нам свою очередную девушку ради собственного спокойствия, чтобы все было честно, без обмана и та девушка точно знала, на что идет, на что замахивается, – а сам Петров после этого как бы отстранялся от хлопот, уходил из мертвого пространства, разделявшего нас с этой второй женщиной, чтобы мы вели борьбу друг с другом, а не с ним. А может быть, Петров не способен на такой утонченный психологизм и просто вначале, когда у них еще дело не дошло до постели, заманивал ту вторую девушку двусмысленной, щеко-чущей ролью подруги семейной пары. Ведь сам Петров внешне довольно серый, и что в нем находят все эти женщины, я не знаю.

Короче говоря, в нашем доме посреди всего этого бедлама появилась эта девушка Надежда. Мне показалось даже, что Петрову она не очень интересна, что она только мой слабый постельный эквивалент и на этот раз зигзаг будет недолгий. Очень уж она была покорна, нетребовательна. В ней не было ничего от дичи, которую надо бояться спугнуть. Она была как домашнее животное, которое можно было просто гнать хворостиной. Поэтому я ее пожалела. Мы немного с ней подружились. Мы вместе уходили из института, когда я работала в первую смену. И я постепенно выяснила, что она ничего в жизни не понимает, ни в чем не знает толка – ни в хорошем белье, ни в книгах, ни в еде. Она только слепо чувствовала, всей своей кожей, тепло и доброту и тогда, не меняя выражения лица и ни слова не говоря, шла на это тепло. На ее счету было в институте несколько ничем не окончившихся романов и даже беременность, в результате которой ребенок пришел на свет мертвым. Я помнила это происшествие и помнила, что бабы у нас говорили, что так для Надежды лучше.

Наша дружба втроем продолжалась довольно долго и еще бы продолжалась, если бы не один случай. Выходя из комнаты за кофейником, я взглянула на себя в зеркало прихожей. Там отражалась часть комнаты и стол, за которым сидел Петров с Надеждой. И я увидела, что Петров осторожно, как ребенка, гладит согнутой ладонью Надежду по подбородку и что Надежда берет эту руку Петрова и кладет ее себе на грудь.

Я держала себя в руках, хотя мучилась только одним: как же так я могла проморгать? Почему я думала на Раису, когда реальная опасность – вот она, вспухла у меня под боком,

и это тем страшней, что Надежда ничего из себя не представляет. Раиса все-таки – «совесть мира, такая девочка», а тут – пустое место.

Петров пошел провожать Надежду и вернулся в час ночи, истощенный и потерявший все силы, разбитый. Я его не тронула, не стала ничего ему говорить, потому что я знала: в таком состоянии Петров идет к одной цели – спать. Если бы я ему что-нибудь сказала и выгнала бы его, он бы мог спать на кухне, на лестнице, на подоконнике. Он мог бы уйти к Надежде и остаться у нее. Почему-то он пришел домой. Значит, еще не все потеряно. Значит, это у него еще не последняя стадия, а просто начало нового зигзага, который был не чем иным, как просто протестом Петрова против однообразия супружества. И ничто другое не заставляло Петрова так метаться. Просто ему в один прекрасный день становилось скучно. Иногда он откуда-то доставал и приносил какие-то безграмотно перепечатанные и переснятые лекции и медицинские советы – в сущности, чистейшую порнографию. Мы читали это вслух при Севке с Раисой, но надо сказать, что на них это не производило должного впечатления. Они вежливо слушали, но им это было безразлично, как если бы мы вдруг взялись читать вслух советы больным атеросклерозом. Хотя нас с Петровым эти лекции ужасно, до красноты, смешили. И для нас начинался тоже некий зигзаг, но он бывал очень непродолжительным и совершенно лишенным того полного душевного умиротворения, которое наступало в тот вечер, когда Петров возвращался в лоно семьи.

Так вот я в расчете на то, что Петров сам собой вернется обратно и на этот раз, не обращала внимания ни на что – ни на поздние возвращения, ни на то, что Петров совсем забросил Сашу и перестал учить его читать. Но через некоторое время сосед по квартире сказал мне, что всю эту неделю, когда я работала в вечернюю смену, Петров приводил к нам какую-то полную девушку и уводил ее только перед моим приходом. В эти вечера и Саши не было дома – мама забирала его из детского сада и увозила к себе на Нагорную, так что комната была свободна.

Я тут же позвонила маме и попросила ее в виде исключения посидеть с Сашей этот вечер у нас дома, уложить его и подождать моего прихода. Мама не хотела, потому что у нее на Нагорной было много работы, мой старший брат буквально бросил ей на шею своего ребенка, Ниночку. Но я уговорила маму помочь мне – пускай брат обойдется в этот вечер без нее. Не помню, что я там наговаривала на своего брата, чтобы только улестить маму и заставить ее приехать ко мне. Мама ничего не знала о зигзагах Петрова, а если бы узнала, она бы немедленно развела нас. Поэтому я ей ничего не говорила, и у нее были довольно хорошие отношения с Петровым.

Как я и рассчитывала, в тот вечер Петров опять привел Надежду, и они наткнулись на мою маму. У них там что-то произошло, у мамы с Надеждой. Потому что, я повторяю, война шла не у нас с Петровым, а у нас с Надеждой. И это был мой расчет, что Надежда окажется слабой и при виде разъяренной тещи Петрова и при виде плачущего ребенка отступит.

Может быть, она и отступила. Но не Петров. Он вообще не пришел в эту ночь домой, и похоже стало, что в конце концов он так и не вернется. Несколько раз он приходил домой – за бритвой, за носками и рубашками, потом за магнитофоном. Он одичал, вытянулся и внезапно стал похож на того милого мальчишку, который до потери сознания любил меня когда-то.

Я ему ни слова не говорила, без звука отдала магнитофон и все, что он хотел, а он вел себя строптиво, как будто в уме заранее отвечал на незаданные вопросы. Но я молчала, хотя уже видно было, что никаким благородством его не вернешь.

И тут я поняла, что теряю все, весь мир. Только Раиса еще оставалась со мной по эту сторону, а весь мир был по другую. Мама, напуганная неожиданным результатом своего вмешательства, была рассержена на меня за эту подстроенную встречу. Саша? Я женщина трезвая. Я понимаю, что детская привязанность и любовь не направлена на родителей как на конкретных людей. Любое другое сочетание лица, фигуры, цвета волос, характера, ума он

с такой же силой полюбил бы. Он любил бы меня, если бы я была убийцей, великой скрипачкой, продавцом магазина, проституткой, святой. Но это только до поры, пока он сосет из меня свою жизнь. Потом, все так же безразличный ко мне как к человеку, он уйдет. Это сознание его близкой измены каждый раз обескураживало меня, когда я наклонялась обнять его, уже вымытого и лежащего в полутьме на своей диван-кровать. Может быть, этим чувством я была обязана Петрову, приучившему меня ожидать измены.

Мама тоже уже не любила меня. Да она никогда и не любила меня как человека, а только как свое порождение, свою плоть и кровь. Теперь, на старости лет, она была болезненно привязана к Саше и к другой своей внучке, Ниночке. А я, и Петров, и старший брат мой, и его жена были уже для нее безразличны – просто родные.

Я пошла к Раисе и рассказала ей все. У меня, как видно, есть уже опыт в таких рассказах. Я рассказываю своим девочкам в институте, рассказываю даже случайным знакомым женщинам вроде тех, с которыми валяешься вместе три дня в роддоме после аборта. Но Раисе я рассказала не так. Раиса действительно поняла, что она у меня на свете одна. Что здесь речь уже идет не о зигзаге, а о потере жилья для меня и для Саши, о потере надежды на двухкомнатную квартиру, о которой я так страстно мечтала и которая мне даже снилась. Сколько раз в наши ночные разговоры мы с Петровым обставляли ее мебелью. Петров хотел сам расписать стену в кухне, как Сикейрос, одной громадной фреской, хотел расписать даже белый эмалированный поддон от газовой плиты, хотел расписать холодильник. Это все были мечты, хотя мой Петров неплохо рисует перышком, срисовывает из журналов портреты знаменитых джазменов, вставляет их в черные багетик и вешает по стенам. Петров может вести партию фоно в джазе, несколько лет он выступал в самодеятельности в клубе «Победа», пока не почувствовал себя старым для всех этих смотров самодеятельности, для поездок в автобусах по подшефным колхозам, для принудительного аккомпанирования участникам класса сольного пения. Петров освоил и перкаши и немного контрабас. И несколько раз он пел в сопровождении своего квартета – рояль, гитара, контрабас, ударник – английскую песню «Шейкохэм» – так она, кажется, произносилась. Но никто не оценил его простой, без хрипотцы и оттенков, голос, его безупречный английский выговор. Он пел не так как говорил, в этом ведь тоже есть искусственность. Он пел просто, громко, деревянно, монотонно, но в этом было столько прямооты, столько мужской искренности, незащитности. Он пел весь напрягшись, как струна, и немного вздрагивал в ритме песни. Я его слушала один только раз, когда Саше было два месяца. Мне было не до Петрова в тот вечер, молоко прямо-таки раздавливало мою грудь, стояло во всех долевках, и грудь чувствовалась как деревянная, граненая. Я нервничала, бесилась, чувствовала, что Саша хочет есть, а номер Петрова, как всегда, был в самом конце программы. И вот наконец он со своими ребятами вышел на сцену, они катили рояль, а он нес маленький микрофон, новинку. Долго ударник устанавливал свои перкаши, потом они сыграли Чемберлена, мягкий вальсок, потом наконец «Шейкохэм».

Петров пел, подрагивая в такт всем своим длинным телом, и я немного даже заслушалась его, но молоко вступило в грудь, и я поняла, что надо бежать к Саше, он сейчас кричит и требует свое. И я встала, хотя песня еще не кончилась, обернулась спиной к Петрову и побежала из зала. Мне было не до Петрова, как мне и сейчас не до него, потому что все во мне занял Саша, как тогда молоко заняло всю мою грудь, оставив только перегородки. И я до сих пор не знаю, как пережил Петров мое бегство из зрительного зала и хлопали ли ему так, как он этого заслуживал, – я его не спрашивала, он мне не рассказывал. Я ему так и не объяснила ничего, мы вообще в то время мало с ним разговаривали.

Не знаю, зачем я все это рассказывала Раисе. Я плакала перед ней, как будто она одна могла меня спасти. Я не знала, чем мне вернуть Петрова. Не только квартира – мечта моя – рушилась, но и возникал грозный призрак Сашиной безотцовщины, а это самая худшая рана

для меня, и, может быть, именно поэтому я так и цеплялась все время за Петрова. Я стану матерью-одиночкой, Саша будет тосковать по мужской руке и уйдет от меня, как только первый встречный товарищ поманит его. Он пойдет за любыми брюками, изголодавшись по мужскому слову и обращению, он пойдет и в шайку и в колонию.

Я плакала перед Раисой, а она сидела как каменная в своей позе на краю тахты. При слове «колонию» она даже не вздрогнула.

Но наутро я уже просохла. Мне вдруг стало казаться, что у Петрова это очередной зигзаг, потому что он любит не Надежду и между нами не было ничего плохого, ни ссоры, ни разговора, – ведь это только моя мама с ним поссорилась, а моя мама – это же не я. И когда я шла на работу, у меня возникла вдруг шалая мысль пойти и поговорить с Надеждой. Но потом я это оставила. Ее можно стронуть с места только хорошим для нее, только заботой о ней и добротой, а что хорошего я могла ей предложить? Только-только она преклонила голову на моего Петрова – и чтобы она подобра ушла от него? Она меня даже не поймет.

Но главное было не это – главное было уговорить Петрова, чтобы он хотя бы фиктивно вернулся к нам. Пусть ходит где хочет, но чтобы Саша его видел. А как это предложить Петрову – ведь сам он на это не пойдет, и по моей просьбе тоже.

Я пошла к Раисе и попросила ее поговорить с Петровым по телефону. Так, мол, и так, что-то тебя давно не видно, зашел бы, поговорили – такой вариант разговора, простой и непритязательный, я ей предложила. Она согласилась. Но она согласилась как-то испуганно. Я, правда, на это не обратила внимания.

Вечером я зашла к Раисе. Она лежала на тахте и курила. Она сказала мне, что поговорила с Петровым. Что он завтра вернется. Вот и все, что она мне сказала, а потом вдруг, по своему обыкновению, начала плакать. Я принесла ей с кухни стакан воды и побежала за Сашей в детский сад.

Назавтра Петров вернулся с портфелем и магнитофоном. В портфеле у него лежали комом две рубашки и носки в газете. У нас было чисто, уютно, мы завтракали втроем. Саша тянулся к газете Петрова и спрашивал, где какая буква.

Правда, конца зигзагу не было видно. Петров не замечал меня, мало бывал дома. Но это уже было лучше, чем полное отсутствие.

За делами я как-то не успевала заходить к Раисе. И необходимости такой у меня в этом не было. Все поглотил дом. У Петрова скоро должен был решаться вопрос с квартирой. Я бегала, записывалась на гарнитур, стояла в очереди.

Петров уже начал поглядывать на меня вопросительно, смотрел с явным удовольствием, как я летаю из кухни в комнату, как разговариваю с Сашей. Перед ужином Петров ушел, ни слова не говоря, и вернулся с бутылкой полусладкого шампанского.

Он сказал:

– Выпьешь со мной?

И я побежала на кухню за фужерами из чешского стекла.

Мы чокнулись. Я шутливо сказала:

– За Раису. За нашего доброго гения.

А Петров ухмыльнулся и как-то зло сказал, что правильно ребята говорили, она действительно стенка стенкой.

Тут только я обо всем догадалась и пожалела, что Раиса так меня предала.

И она перестала для меня существовать, как будто она умерла.

История Клариссы

История Клариссы в своей начальной стадии как две капли воды похожа на историю Гадкого утенка или Золушки. В самом деле, до семнадцати лет Кларисса, школьница в очках,

не вызывала ни в ком не то что восхищения, но и малейшего интереса – и это касалось как мальчиков в классе, так и девочек, особенно чувствительных к красоте, выискивающих ее повсюду, где им приходилось бывать, и подталкивающих друг друга локтями в таких случаях. Кларисса не отличалась чувствительностью к красоте, она была достаточно примитивным созданием, не обращающим внимания, как казалось, ни на кого и меньше всего на самое себя. Чем были заняты ее мысли по целым дням, неизвестно. На уроках она была невнимательной, и ее взор постоянно обращался на пустяки. Она с раскрытым ртом следила, как вытирают мел с доски, это ее повергало в задумчивость, и бог весть о чем она вспоминала, глядя в такой момент на доску.

Однажды у нее случилась, уже во взрослом состоянии, в последнем классе, драка с мальчиком, однако эта драка была лишена каких бы то ни было иных мотивов, кроме того мотива, что Кларисса по закону чести дала пощечину однокласснику за слово, показавшееся ей оскорбительным, а на самом деле сказанное просто никуда, в воздух, случайно. Одноклассник тут же дал сдачи, вместо того чтобы долго объяснять, что Кларисса тут ни при чем, что она не имеет никакого отношения ни к оскорблению, ни вообще к чему бы то ни было и напрасно суетится.

Это событие говорит о том, что как раз в этот период в душе у Клариссы происходил некий перелом в сторону повышенной чувствительности к своему положению в мире, к положению девушки, которой придется в дальнейшем самой за себя стоять и одиноко идти среди враждебного мира, принимая на свой счет все его проявления.

Однако, как мы увидим, это направление затем исчерпало себя, хотя могло и развиваться при других обстоятельствах. Но обстоятельства повернули так, что буквально через полгода после окончания школы Кларисса жила уже иной жизнью и на зимних студенческих каникулах, поехав на экскурсию в другой город, во мгновение ока вышла замуж и вернулась уже в ином качестве, в качестве жены иногороднего мужа, что налагало на нее определенные обязательства.

Что произошло в душе Клариссы за эти полгода, неизвестно, налицо были только внешние проявления внутренних перемен: Кларисса свою прежнюю, едва проклевывавшуюся ориентацию на враждебность внешнего мира сменила иной ориентацией, ориентацией девушки глупой, мягкотелой, как будто не понимающей, куда ее ведут внешние обстоятельства, и без тени мысли следующей этим обстоятельствам. Вместе с тем Кларисса, оставаясь все той же девушкой в очках, превратилась в полную красавицу с золотистыми кудрями и тонко вылепленными пальцами рук.

Как и следовало ожидать, Кларисса, со своей мягкотелостью и неумением рассчитывать хотя бы на два пальца вперед, не удержалась в роли жены мужа, находящегося в другом городе, и, когда ее спрашивали о муже, она отвечала, что не имеет представления ни о чем и ей все это надоело.

Следующий брак не заставил себя долго ждать, и Кларисса вышла за врача «скорой помощи», крупного мужчину, пропахшего табаком, с налитой грудью и толстыми руками. Этот брак стал настоящей житейской трагедией Клариссы, потому что муж ее сразу после рождения их общего ребенка стал гулять, много пил и иногда дрался.

В новый период жизни, который наступил в результате новых взаимоотношений Клариссы с мужем, произошли и заметные изменения в ее облике. Она, можно сказать, беспрерывно продолжала свой спор с мужем, продолжала доказывать свою правоту и свою точку зрения даже тогда, когда находилась далеко от него, к примеру на службе, в гостях у подруг, в самых неподходящих обстоятельствах. Она вела свой монолог на одной и той же ноте протеста, с горящими щеками, с позывами к плачу. Она оказалась не в силах достойно вынести свалившееся на нее презрение и равнодушие мужа, и даже прежняя ее, школьная ориентация защищаться пощечиной от оскорбления не вернулась к ней. Можно сказать, что она в эти

годы жила без руля и без ветрил, от толчка до толчка, чувствительная, как амеба, которая перемещается с места на место с примитивной целью уйти от прикосновений. Кларисса в тот период своей жизни никак не могла успеть определить свою роль, свыкнуться с этой ролью и принять наиболее достойное решение. Она еле успевала принимать удары судьбы, которую олицетворял собой ее невоздержанный, не стесняющий себя ни в чем муж, ведущий свою грубую, тяжеловесную жизнь в одной комнате с Клариссой и ребенком.

Наконец это завершилось самым большим ударом – муж ушел от Клариссы и одновременно забрал с собой, к своим родителям, мальчика. Кларисса сделала единственное, на что ее толкало помутившееся сознание, – она стала биться о дверь родительской квартиры мужа, и биться напрасно, так как старики уехали, сняли дачу в неизвестной местности, о чем Клариссе сказал их сосед, выглянувший на лестничную площадку.

Клариссе оставалось вернуться в свое разоренное гнездо несолоно хлебавши. Все дальнейшие действия, которые она предприняла, были нелогичными и бесперспективными. К примеру, она раза три ездила на электричках за город и там бродила вдоль дачных участков, надеясь увидеть желтую соломенную кепочку сына. Кларисса звонила также друзьям своего мужа, мужчинам, занятым своей работой, серьезным людям, с просьбой помочь ей выкрасть обратно ребенка. Все это не принесло никаких результатов, и единственным результатом был только тот факт, что к ней домой вечером приехал врач с сестрой, которого она совершенно не вызывала, и врач участливо расспрашивал ее о том, как она спит, и нет ли у нее врагов и преследователей, и не хочет ли она лечь в санаторное отделение больницы, где ей дадут возможность спать хоть неделю подряд. Кларисса сказала, что кто же ей даст бюллетень, но врач и сестра в один голос заверили ее, что об этом ей, во всяком случае, думать не надо. «Это все он вас прислал, – ответила Кларисса, – я давно поняла». Врач и сестра стали собираться и уходить и в дверях еще раз напомнили Клариссе о возможности отдохнуть, но Кларисса их уже не слушала. Она с горящими щеками сидела задумавшись у стола.

На этом занавес опускается, потому что Кларисса втихомолку вновь начала перестройку, и опять-таки никто не скажет, каким образом она спустя полгода снова выплыла на поверхность жизни уже в качестве разведенной жены, оставшейся с ребенком на руках, алиментами раз в месяц и вечной проблемой, куда девать ребенка. В этом новом качестве Кларисса была совершенно банальна и по-своему умна каким-то коротким умом. Она не заглядывала особенно далеко, поскольку существовала еще одна сложность, а именно то, что мальчик страшно привязался к отцу и его родителям, которые давали ему уход, ласку и воспитание, какого не могла дать Кларисса, оставшись в единственном числе. Поэтому Кларисса не заглядывала далеко, не планировала надолго свою совместную жизнь с сыном, понимая всю скоротечность своих прав, а все внимание сосредоточила на сиюминутных проблемах, встающих перед ней одна за другой.

Кларисса кропотливо рассчитывала время на дорогу от детского сада до работы, бегала в обеденный перерыв по магазинам и относилась к своим служебным обязанностям как к чему-то второстепенному в жизни, что было, несомненно, вполне понятно в ее положении.

Поэтому огромным событием для Клариссы стал спустя год отпуск, который она впервые провела на юге в полном одиночестве, оставив ребенка в детском саду за городом. Очувтившись на юге, Кларисса первое время сохраняла еще свою недалекую озабоченность женщины-матери, относилась к морю, загару и фруктам совестливо, вспоминая своего ребенка, оставленного на севере, где лил дождь. Можно сказать, что в этот период отпуска ей кусок не лез в горло и она простаивала по полдня в длинных очередях на междугородные переговоры, чтобы дозвониться в детский сад и узнать, как там мальчик и там ли еще мальчик. Она страстно мечтала водить его с собой к морю, как это делали все мамы вокруг нее, но дело уже было сделано, и так прошла половина отпуска.

Тут море, загар и южные фрукты, которые Кларисса покупала из-за их дешевизны, оказали свое влияние, и произошла вторичная метаморфоза во внешности Клариссы. Теперь она была зрелой женщиной двадцати пяти лет, глядящей сквозь очки с кроткой отчужденностью, и в этом качестве ее сильно полюбил летчик гражданской авиации, проводивший день между рейсами на городском пляже. Летчик стеснялся подойти поближе к Клариссе, поскольку он был на пляже не в подходящих купальных плавках, а в обычных сатиновых трусах. Он только смотрел на Клариссу издали, как она по-куриному копошилась в сумке, чтобы наконец достать оттуда трогательно маленький носовой платок и начать протирать им стекла очков.

Через день летчик снова был на пляже, ближе к вечеру. Он уже приготовился к пребыванию у моря, был соответственно одет и смог расположиться поближе к своей Клариссе. Кларисса неприятно испугалась, стала мучиться, искать предлог уйти и наконец с бьющимся сердцем, с отвращением раньше времени сбежала, провожаемая изумленным взглядом летчика.

Все, однако, шло к лучшему, через день в беседе с летчиком Кларисса уже могла выдавить из себя несколько фраз, хотя следующее утро она провела на междугородной и получила известие, что мальчик здоров и бегают и что погода хорошая.

Все это кончилось тем, что через три месяца после отпуска Кларисса переехала к своему новому мужу, Валерию Петровичу, в его трехкомнатную квартиру, и началась новая полоса в жизни нашей героини. Мальчик в свое время пошел в школу, родилась еще девочка, и можно считать, что все стабилизировалось и поплыло к естественной, здоровой зрелости, к череде зим и отпусков, к покупкам, к ощущению полноты жизни, если не учитывать того факта, что в дни полетов Кларисса, оставшись одна, способна часами звонить на аэродром и выбивать сведения о рейсе, и Валерий Петрович по возвращении выслушивает замечания о звонках своей жены. Только это туманит светлые горизонты жизни Валерия Петровича и Клариссы, только это.

Отец и мать

Где ты живешь, веселая, легкая Таня, не знающая сомнений и колебаний, не ведающая того, что такое ночные страхи и ужас перед тем, что может свершиться? Где ты теперь, в какой квартире с легкими занавесочками свила ты свое гнездо, так что дети окружают тебя и ты, быстрая и легкая, успеваешь сделать все и даже более того?

Самое главное, в каком черном отчаянии вылезло на свет, выросло и воспиталось это сияние утра, эта девушка, подвижная, как умеют быть подвижными старшие дочери в многодетной семье, а именно в такой семье была старшей та самая Таня, о которой идет речь.

Младше ее были многочисленные девочки и самый последний, мальчик, которого мать так и носила у груди все самое последнее время своей супружеской жизни и бегала со своим сыном на руках вслед за мужем, направляющимся на службу, — бежала, чтобы не дать ему уйти на эту проклятую службу, где он только занимается сплошным развратом. Мать бегала за ним чуть ли не каждое утро, почти каждое утро ее брало отчаяние, что опять-таки она дает своему супругу возможность уйти из рук, уйти к ненавистному, свободному и легкому времяпрепровождению у себя на службе, и она бежала из последних сил с мальчиком на руках по улице, чтобы догнать мужа и свободной рукой хотя бы сорвать фуражку с головы у него, опрометью убегающего, — да, такие сцены были не в новинку для их улицы, сплошь заселенной военнослужащими. Мать Тани болела острой ненавистью к своему мужу, ненавистью труженицы и страдательницы к трутню, к моту и предателю интересов семьи, хотя отец каждый вечер возвращался в лоно этой семьи и брал на руки очередного маленького, но мать и этот жест трактовала как уловку, как подлый финт провинившегося кобеля, и они

чуть не раздирали маленького пополам – отец, чтобы не дать его взбешенной матери, а мать, чтобы не дать отцу повывставляться и поиграть в бесчестную игру, в отца семейства, при полном отсутствии к тому оснований. Могло показаться даже, что мать видит в своих детях только целый ряд вещественных доказательств своих усилий в жизни, своего нечеловеческого труда и своей неоспоримой, но ежечасно оспариваемой ценности перед лицом мужикобеля, который дрожит и трясется, как студень, каждый раз, когда она подымает голос, – из страха перед соседями, что они всё узнают, но они всё узнавали и так, она сама всем всё везде рассказывала, и бабы ее утешали, называли Петровной и советовали сходить к замполиту, раз такое безобразие.

Отец, несмотря на это, все-таки как-то еще удерживался в семье, и трудно сказать, на каком основании этот человек пытался каждый вечер возвращаться домой в миролюбивом состоянии духа, со смущенным или деланно равнодушным или еще каким придется видом, каждый раз не его собственным, а каким-то наживным, приготовленным только что, а не с тем естественно мрачным и ненавидящим лицом, какого только и можно было ожидать от него в этой ситуации, – но нет, не в его силах было прийти озлобленным, он все примеривался, что бы лучше изобразить, возвращаясь каждый раз домой к одиннадцати часам. Он не хотел возвращаться домой раньше, никогда в жизни не хотел, и это было основой основ, и каждый раз с деланным тем или иным видом он являлся домой в одиннадцать часов и заставлял дома каждый раз ту картину, что дети ни один не спали, а жена в слезах сидела с маленьким на кровати. Если же отец пытался по собственной инициативе, в свойственной ему мягкой манере, уложить девочек спать, то мать начинала вырывать у него детей и кричать, что никто пусть не спит, раз так, и все пусть смотрят на потасканного отца, который свеженький вылез из чьей-то постели с румянцем на щеках, который только что своим поганым ртищем, этой воронкой, целовал бог знает кого, а теперь лезет мокрыми губами к чистым девочкам, с которыми он тоже готов уже переспать, – и так далее.

Вместе с тем бедность в семье не поддавалась описанию, так как мать не работала и все делала спустя рукава, в ожидании одиннадцати, а затем двенадцати и позже часов, так что дети часто засыпали в ожидании главного момента, кульминационного пункта дня, и утром их невозможно было добудиться. Мать заходила все дальше и дальше в своем справедливом гневе, она вдруг могла встретить мужа у дверей офицерской столовой и начать бить его ногами, держа на руках маленького: мать словно бы протестовала против общепринятого мнения, что так с мужиком ничего не добьешься, а только его отпугнешь и отворишь навеки, – мать словно бы бросала каждый раз вызов судьбе и окружающим, бросая детей голодными и уходя с мальчиком в окружающую поселок степь или крича самые страшные слова о том, что у Таньки был выкидыш от отца – в стене, в пазу, оказались окровавленные тряпки.

Неизвестно, правда, к чему стремилась Танькина мать, возможно, это была потребность разрушения того обмана, той ложной картины, которую пытался своим смягчающим видом и лживыми выражениями лица создать отец прежде всего у детей, ему прежде всего перед ними важно было создать картину якобы мирной семейной жизни. Мать как бы чувствовала себя в западне, окруженная всеобщим неуважением и брезгливостью, и чувствовала в то же время, что ее мужа все жалеют и стараются оградить, – так, например, когда она однажды подошла к магазину перед Восьмым марта, где, как она знала, ее муж покупал маленькие подарки ей и дочерям, – кто-то раньше ее пробрался в магазин, и мужа увели через служебные помещения, прежде чем она успела подойти сквозь толпу к прилавку.

Однако среди всего этого безобразия все-таки чуть ли не ежегодно рождались девочки, и мальчик, последыш, родился всего за полгода до того, как отец ушел из семьи. Как это происходило, следствием чего были эти супружеские соития, как подготавливались и на какой почве становились возможными их взаимные объятия – никто не знал, и не видела этого

никогда и сама Танька, наиболее светлый разум в семье, зорко приглядывающаяся к матери и к отцу.

А мать с каждым шагом все глубже погружалась в позор, пытаясь опозорить своего мужа, и этому не было конца и края, поскольку муж упорно старался сохранить видимость семьи и не дать повода к выставлению его именно в том виде, в каком хотела его выставить жена, – но наконец эти два упорных человека довели дело до таких границ, когда уже ничего не нужно и не дорого по крайней мере одному партнеру, когда ему становится плевать на все, – и именно этот момент подстерегает более упорный, более настойчивый противник, который в ответ на жест равнодушия издает крик победы, столь же равнодушно встречаемый уходящим вдаль партнером, – он уходит вдаль, но крик победы силен и слышен в окрестностях, так что окрестности волей-неволей должны ответить эхом.

Итак, свершилось, и Танькин отец отбыл прочь из семьи да и из гарнизона: его перевели в другую часть, и это дело для него даром не прошло, так что отец имел в дальнейшем все основания больше и носу не показывать в свою многострадальную семью, а тихо должен был жить со своей какой-то там новой женщиной, про которую сообщили, что она простая и много проще Петровны.

Танька, впрочем, тоже недолго прожила в семье после ухода отца, а именно год, до своих семнадцати лет, когда ее заметил командировочный Виктор, электромонтажник. Виктор был намного старше и опытней Таньки и сразу понял, какое сокровище встретилось ему в поселковом клубе в лице этой легкой в обращении, зоркой девицы, и сразу взял дело в свои опытные двадцатичетырехлетние руки. Танька в тот же вечер на обратном пути из клуба согласилась уехать с ним и наутро уехала, несмотря на то, что мать совершенно откровенно сказала, что не справится без нее и детям будет плохо. «Хватит, – будто бы сказала Танька, – с меня хватит», – и вильнула хвостом, и была в дальнейшем счастлива в жизни со своим цепким и знающим Виктором, и ничто ее не смущало: и что негде жить, а старуха хозяйка каждый раз в марте вешается, так что на март приезжает в отпуск ее сын и то и дело прячет веревки; и что есть одна ложка и две вилки, а нож перочинный, потому что у старухи в хозяйстве ничего нет, она питается круглый год одним кефиром. Все, все, что в дальнейшем ни встречала Танька, – все она принимала легко, со счастьем, всюду она семенила своей аккуратной походочкой, и никогда даже тень отчаяния и сомнения не посещала ее – никогда.

Бессмертная любовь

Какова же дальнейшая судьба героев нашего романа? Надо отметить, что после отъезда Иванова все осталось на своих местах, как было, ведь не может же из-за отъезда одного человека переместиться с места на место жизнь, как не может обрушиться из-за отъезда одного человека крыша над головой у многих, у целого учреждения. Так что то, что у Лены, фигурально выражаясь, обрушилась крыша над головой и жизнь переместилась с одного места на другое, в то же самое время ничего не значило для всех остальных, для того мира, который каким был при Иванове, таким и остался, не принимая в расчет, что Иванов исчез, что вместо него зияет пустое место.

Таким образом, Лена вынуждена была ходить на работу в то место, в котором зияла пустота вместо Иванова и в котором всего еще неделю назад сама Лена стояла на коленях перед столом Иванова, как бы шутя. Она встала на колени и молитвенно стояла, сложив руки и закрыв глаза, примерно в двух метрах от сидевшего за столом Иванова, который, в свою очередь, спокойно приводил в порядок бумаги, добродушно посмеиваясь, словно не видя, в какое состояние впала Лена. Видимо, она до самого последнего момента, до того, как Иванов начал приводить в порядок свой стол, все еще надеялась, что что-то произойдет, какое-то помилование, что ведь не может даром пройти, закончиться все это дело, и когда Иванов

начал приводить перед уходом в порядок свое рабочее место, она, как бы горя безумием, встала на колени. Она стояла на коленях десять минут по часам, и в эти десять минут все вели себя хоть и стесненно, но как обычно, нисколько не растерявшись, не изменив выражение лиц и принимая все как должное, как будто им на жизненном пути часто встречалась подобная ситуация; все восприняли это всё как некую истерику, которую не следует замечать, которую не следует гасить, чтобы не показать, что веришь в истинное существование того горя и отчаяния, которое обыкновенно изображают, впадая в истерику.

И сама Лена также спокойно стояла, не подымая излишнего шума относительно своих чувств; и потом люди, присутствовавшие при этом в комнате, два или три человека, должны были сознаться, что единственное, что остается человеку в такой ситуации, – это его право стать на колени, и что это сладостно – стать на колени.

Наконец Иванов уехал, а Лена осталась, и не было никакого сомнения в том, что Лена тем или иным путем последует за Ивановым, несмотря на то что в родимом городе у нее были обязательства перед матерью, сыном и мужем.

Лена никому не говорила о своих планах на будущее и работала как обычно, однако сдружилась с библиотекаршей, что было признаком будущего бегства. Дело в том, что эта библиотекарша Тоня, очень милая и печальная блондинка, на самом деле представляла из себя вечную странницу, авантюристку и беглого каторжника. У нее тоже, как и у Лены, был некий дом, в котором она жила с ребенком, с девочкой, однако Тоня время от времени уклонялась от своих материнских обязанностей и, как-то уговорившись на работе и подкинув ребенка родителям, ехала в тот город, где жил избранный ею человек, ее предмет, причем ехала нежеланной, неожиданной, спала на вокзале, пряталась по каким-то лестницам, ожидая, пока ее любимый человек выйдет, и так далее.

Лена сдружилась с Тоней и вместе с ней проводила обеденный перерыв в разных кафе и пирожковых, и после работы они шли до остановки, чтобы разъехаться затем на разных трамваях – Тоне в детский сад за дочерью, а Лене – в свою квартиру, где ее ждали обязательства перед матерью, сыном и мужем.

Однако, как потом выяснилось, все это были не обязательно требующие выполнения обязательства, потому что в конце концов Лена все же уехала в тот город, где теперь работал Иванов, и вернулась обратно только через много лет, а именно через семь лет, вернулась с помутненным сознанием, с манией преследования, вернулась потому, что ее привез обратно ее муж Альберт.

Здесь следует пояснить все-таки, какие обязательства были у Лены перед матерью, сыном и мужем.

Все началось с рождения сына, которого Лена родила в невероятных муках, но не крикнув ни разу. Ребенок тоже, очевидно, вынес большие страдания, потому что родился с кровоизлиянием в мозг, и спустя три месяца врач сказал Лене, что ни говорить, ни тем более ходить ее сынок не сможет, видимо, никогда.

Лена год провела с ребенком, а затем ей настало время идти на работу, и она вышла на работу, найдя ребенку сиделку. Мать ей была в этом деле не помощница, потому что сошла с ума через три месяца после рождения ребенка, очевидно от отчаяния при виде неподвижного малютки, а впрочем, как сказала врач-психиатр больницы, причины безумия следует искать не вне, а внутри, и таким же толчком к болезни могли бы быть какие угодно другие обстоятельства, самые незначительные; однако, без сомнения, толчок был.

В ту весну, когда Иванов уехал, Лена была занята сугубо материальными делами: снимала дачу, на которой должен был жить ее уже выросший семилетний мальчик с сиделкой, а также она с Альбертом. Затем наступил переезд на дачу и два месяца жизни на даче, после чего, в июле, Лена снялась с места и покинула и дачу, и городскую квартиру, и свою прия-

тельницу, беглую каторжанку Тоню: Лена уехала под видом поступления в институт, уехала якобы ненадолго, а на самом деле на семь лет.

Она действительно поступила в новый институт, во второй институт в своей жизни, из общежития которого три года спустя и была увезена в карете «скорой помощи» в психиатрическую больницу в самом мрачном расположении духа, но какой толчок сыграл здесь свою роль, никто нам теперь больше не укажет.

Теперь проследим путь Иванова. Как ни странно, несмотря на блистательное начало, он также, хотя и не столь скоро, как Лена, оказался во мраке и запустении.

Однако в его случае все было не так сложно, все было проще и грубей, чем в случае Лены, и объяснялось исключительно пристрастием к спиртным напиткам; Иванов сам себе в течение долгих лет рыл яму и в конце концов в результате огромного скандала оказался на крошечной должности, крошечной по сравнению с предыдущими масштабами, должности заведующего отделом в два человека – должности, с которой обычно начинают.

Вот так кончился на самом деле этот роман, который, как всем казалось, кончился отъездом Иванова, – но неизвестно и теперь, кончился ли он на самом деле.

Теперь во весь свой гигантский рост встает фигура мужа Лены, Альберта, который все эти годы выносил все то, чего не могла вынести Лена, и даже больше; и ведь именно он спустя семь лет после исчезновения Лены отправился за ней, обо всем зная, и привез ее домой, то ли неизвестно зачем в ней нуждаясь, то ли из сострадания к ней, сидящей на своей больничной койке в отдаленном районе чужого города, лишенной абсолютно всего, кроме этой койки, погребенной в своей яме, подобно тому, как Иванов был погребен в своей.

Собственно говоря, это была у Лены и Иванова та самая бессмертная любовь, которая, будучи неутоленной, на самом деле является просто неутоленным, несбывшимся желанием продолжения рода, несбывшимся в разных случаях по разным причинам, а в нашем случае по той простой причине, что Лена уже родила однажды неподвижного ребенка и поэтому вставал вопрос, может ли она вообще рожать здоровых детей. Но как бы то ни было, какова бы ни была истинная причина того, что Иванов бросил Лену, факт остается фактом: инстинкт продолжения рода был не утолен, и в этом, возможно, все дело.

Но Альберт, вот кто должен возбудить всеобщее удивление в этой истории, теперь до конца прояснившейся, Альберт, приехавший спустя семь лет за женой, с которой давно потерял всякую связь. Какие чувства им руководили, вот что интересно. Тут все можно объяснить все той же бессмертной любовью, однако так просто это все не объяснить, и фигура Альберта остается стоять во весь свой гигантский рост посреди этой простой житейской истории.

Скрипка

Она врала безудержно, путалась сама в своих рассказах, забывала то, что говорила вчера, и так далее. Это был типичный, легко распознаваемый случай вранья, напускания на себя важности и преподнесения всех своих действий как каких-то важных, имеющих большие последствия, в результате чего должно было что-то произойти, но ничего не происходило; а она все с тем же своим важным видом тащила через всю палату, неся немного на отлете голубой конверт, в котором содержалось, вероятно, не бог весть какое послание, но она несла его с чудовищной важностью, всем своим видом демонстрируя высшую необходимость послать письмо. То, что содержалось в ее письме, приблизительно было знакомо всем присутствующим в больничной палате, – но, очевидно, было знакомо только намерение, с которым посылалось письмо, а не то, в какие слова она облекла это свое явное намерение, в какую форму все эти свои жалкие, всем очевидные желания упрятала и как на этот раз наврала избраннику своего сердца, некоему инженеру Валерию, живущему в другом городе.

Из этого, однако, никак не следует, что она, эта самая Лена, была болтлива или охотно вступала в объяснения по поводу своего теперешнего положения. Напротив, она была немногословна и излишне церемонна, в особенности эта церемонность выступала на сцену во время обхода главного врача, который любил с Леной беседовать, обходя по понедельникам больных. Главный врач, отечески нахмурившись, говорил, что все идет как надо, и если все так и в дальнейшем пойдет, то наша студенточка поправится и выйдет еще немного погулять, прежде чем наступит самое главное; и что бояться выходить на улицу не надо, перебивал он затем Лену, надо, надо перед родами подышать свежим воздухом, прогуляться по парку, набраться сил. «Ну а как руки? – спрашивал он у Лены. – Как руки скрипачки, не отвыкнули они от струн и смычка, ведь, как известно, музыканты, да еще консерваторцы, должны заниматься в день по сколько часов?» – «По четыре, иногда по пять, – отвечала Лена, нимало не краснея, – а перед экзаменом по специальности столько, чтобы только не растянуть сухожилия, – а уж это дело выносливости».

Профессор шел дальше и наконец исчезал из палаты, и каждый продолжал заниматься своими делами, а Лена, трудолюбивая Лена, снова садилась за письмо и писала, писала, писала, пока не подходила пора запечатывать всю эту писанину и торжественно нести ее через всю палату к выходу. Или еще она шла звонить и с кем-то вела тихие переговоры, очевидно, сугубо делового характера – по ее лицу было видно, что она что-то хочет выяснить чрезвычайно важное и решающее для себя, и так происходило каждый день с этими телефонными разговорами – всякий раз было все то же озабоченное лицо, тот же тишайший голос, те же неопределенные, непонятные вопросы.

Несмотря на эти сугубо деловые телефонные разговоры, а значит, и наличие кого-то, кто что-то делал для Лены, – к ней никто никогда не приходил, и соответственно ничего на ее тумбочке не стояло, кроме пустого стакана, накрытого бумажной салфеткой.

Лена после первых дней молчаливого лежания в постели – ей не разрешили ходить, как вообще в этой больнице было принято не разрешать ходить, если имелись хоть малейшие намеки на осложнения, – так вот, после первых дней обязательного вылеживания ей наконец разрешили ходить, и она отправилась со своим очередным письмом в голубом конверте куда-то вон из палаты. Она начала ходить взад и вперед, у нее завелись какие-то тихие многозначительные знакомства с нянечками и сестрами – однако ради чего Лена предпринимала эти свои секретные переговоры с нянечками и сестрами, было неизвестно, потому что никаких реальных результатов они не давали: к Лене по-прежнему никто не приходил, по-прежнему зиял пустотой ее чистый стакан, с которым она иногда ходила пить воду. Еще Лена занималась тем, что трудилась над письмами, или шла причесываться в коридор к зеркалу, или скромно ела свой больничный обед. И всему этому, следует отметить, она придавала какой-то высший, не поддающийся толкованию смысл.

И единственным каналом, по которому просачивались хоть какие-то сведения о Лене, были ее разговоры с профессором по понедельникам, во время обхода, когда она, раздумывая, лежала на своих высоких подушках и отвечала тихим голосом на вопросы профессора, хотя тот все мог знать по истории болезни.

Однако профессор спрашивал, а Лена ему отвечала, и из этих тихих, кратких ответов замершая палата узнавала, например, что Лена упала в обморок на улице и что подруга вызвала «скорую помощь». Далее на вопросы профессора Лена отвечала, что чувствует сейчас сильную слабость, головокружение, иногда боли в пояснице. «Полежите, полежите у нас», – говорил профессор после этих разговоров, переходя к следующей кровати.

Каждый понедельник у них возобновлялись краткие беседы, во время которых Лена однообразно жаловалась на головокружение и какую-то слабость, – а анализы у нее были, как выяснилось тут же, прекрасные, и с сердцем дела обстояли прекрасно, – и вот в один прекрасный день, в один из понедельников, профессор назначил Лену на выписку, рекомен-

довав ей при этом как можно больше двигаться, чтобы снять слабость, образовавшуюся от лежания в больнице, и хорошенько заняться гимнастикой и подготовиться к родам, чтобы быть крепкой и сильной и все хорошо перенести. Профессор шутливо пригласил Лену приходить рожать в его дежурство, спросил в который раз, будет ли она присылать ему билеты на свои сольные концерты, – и удалился восвояси.

К этому дню, к этому понедельнику, Лена уже освоилась в палате и понемногу рассказывала о своем муже Валерии, инженере, который живет в другом городе и сейчас не может приехать. Лена рассказывала также, что была под Новый год у него дома и что родители прекрасно ее встретили и так далее.

Она все так же трудолюбиво писала письма и своей торжественной походкой шествовала через всю палату к дверям, и вела все те же секретные переговоры с нянечками, и так же тихо беседовала со своей подругой по телефону – и все понапрасну.

Однако следует сказать, что в это время ее тумбочка уже не пустовала, она была заполнена всякими фруктами и овощами и вообще едой. Это заполнение произошло довольно скоро, сразу же, как только женщины догадались о действительном положении вещей. Они сначала робко и совестливо, а затем все более спокойно и свободно начали носить на тумбочку Лены свои припасы, и Лена также сначала робко и совестливо, а затем все более свободно стала распоряжаться этими дарами: она без конца ела, грызла, тащилась к умывальнику мыть на тарелочке фрукты и снова ела. Она ела яблоки, салат, сыр и колбасу, конфетки и даже однажды съела половину кочана сырой капусты, которую как-то передали в палату для одной женщины с больным желудком.

Нянечки теперь приносили Лене увеличенные порции и даже иногда, когда не было ничего другого, предлагали ей вторую тарелку супа – уже после компота. И Лена соглашалась, торжественно кивая головой, и спокойно съедала вторую тарелку супа, а затем шла причесываться или садилась за очередное письмо. Кстати, конверты у нее тоже теперь были не свои, поскольку, как выяснилось, муж задержал перевод денег, а подруга не может прийти. Эта подруга, надо сказать, все не шла и не шла, и весь этот месяц, который Лена провела в больнице, эта подруга не показывалась и явилась только в самый кульминационный момент, когда Лена покидала больницу.

Правда, прежде чем Лена ушла, женщины из ее палаты вели переговоры с врачами о том, чтобы оставить Лену в больнице еще на два месяца, до самых родов, но, очевидно, этого сделать было нельзя, и наступил понедельник, когда профессор в очередной раз побеседовал с Леной о трудностях обучения в консерватории, уже зная о том, что никакой консерватории нет и никакой скрипки и в помине нет. Однако эта беседа на самом высшем уровне состоялась, и Лена вскоре удалась из палаты насовсем со своей желтой расческой, которая так примелькалась всем за этот месяц.

Лена удалась из палаты, можно сказать, полностью развенчанной, однако не потерявшей своей торжественности и таинственности, – и все это после того, как вся палата серьезно обсуждала при Лене, как ей быть с будущим ребенком, обсуждала также, можно ли рассчитывать на помощь того инженера, про которого Лена говорила, что он ее муж, – все эти проблемы мгновенно всплыли на поверхность, как только Лена начала прощаться. Палата хором советовала Лене пока отдать ребенка в дом ребенка хотя бы на год, и за этот год как-то встать на ноги, найти работу и жилье и затем забрать ребенка к себе насовсем. Лена торжественно кивала, сидя на своей кровати, а затем все-таки попрощалась со всеми снова и пошла со своим вздутым животом, и потом ее еще раз можно было видеть спустя полчаса в окно, когда она торжественно удалялась в каком-то мятом желтом плаще, держа под руку свою знаменитую подругу, и всем было ясно, что обморок на улице был подстроен и что спустя какое-то время они опять что-нибудь инсценируют с подругой на улице, если только Лена не упадет в обморок еще до того, как они успеют обо всем договориться.

Сети и ловушки

Вот что произошло со мной, когда мне было двадцать лет. Собственно, мои двадцать лет не играют тут никакой роли – могло быть и семнадцать, и тридцать: важно то, что я впервые выступила в такой роли, впервые оказалась в этой ситуации. Второй раз в той же ситуации я не оказывалась больше никогда; можно сказать, что я нюхом чувствовала возможность снова оказаться в той же роли – и тут же увиливала, ускользала из расставленных сетей. Впрочем, расставленных сетей никогда и не было, никто никогда – даже в тот первый и единственный раз – и не помышлял меня загонять в какие-либо сети; честно говоря, никаких злых помыслов и ловушек с чьей-то стороны не было ни в первый, ни в последующие разы, не было даже простого, минимального интереса к моей особе; я была интересна и нужна в этой ситуации не сама лично, а как жена своего мужа, не больше.

Итак, не было совершенно никаких расставленных сетей в тот момент, когда мой муж, будущий аспирант, находился все еще по месту своей работы, а я, его жена, пребывающая в интересном положении, приехала к его маме в другой город.

Вскоре и мой муж также должен был приехать вслед за мной, с тем чтобы устроить меня на новом месте, расписаться со мной, отпраздновать наконец нашу свадьбу, сдать экзамены в аспирантуру и зажить новой жизнью.

Таким образом, ближайшее будущее было ясным и безоблачным, остальное должно было уладиться в дальнейшем, и так оно и случилось.

То положение, в котором я находилась, было абсолютно простым, чистым и ясным; то есть оно было бы простым, чистым и ясным, если бы у меня на руках был документ, подтверждающий, что я жена Георгия. Во всем остальном все было нормально: я жена Георгия, еду пока что одна к его маме рожать, поскольку ему самому пока невозможно вырваться; он хочет, чтобы я родила ребенка в его доме, потому что рожать ребенка надо в спокойной обстановке, а не в атмосфере того угла, где мы жили с Георгием. Мне можно было, правда, ехать рожать к моим родителям, которые находились довольно далеко; однако мне хотелось как можно тесней связать свою судьбу с судьбой Георгия, его семьи, его мамы, которой я никогда еще не видела и которая знала о моем существовании только из писем сына.

Таким образом, все выглядело совершенно нормально, если не считать того факта, что я еще не была женой Георгия. А не была я женой Георгия по той простой причине, что он до меня уже был женат, имел ребенка пяти лет и его первая жена жила как раз в том же городе, где жила мама Георгия и где сам он провел большую часть своей жизни. Георгий разошелся с женой уже давно, и это не было просто результатом затянувшейся разлуки, когда муж работает в одном городе, а жена с ребенком живет в другом и постепенно связи распадаются, все друг от друга отвыкают и больше не ездят друг к другу, хотя прямых поводов ни к формальному разводу, ни к решительному объяснению нет. В случае Георгия все было гораздо убедительней: он платил своей жене алименты на сына, разошлись они, еще когда жили в одном городе, жена Георгия забрала ребенка и ушла к своим родителям, а Георгия спустя некоторое время распределили в другой город, куда и я приехала учиться с Дальнего Востока.

Вот вам и история нашего знакомства с Георгием и одновременно история того, почему я спустя три года после начала своей учебы жарким летом ехала к маме своего мужа в чужой город с чемоданом, плащом и сумкой, в которой лежало письмо Георгия к матери.

Если говорить правду, Георгий не слишком был рад, что я еду рожать к его маме. Однако мне удалось настоять на своем, вернее, я просто сделала все по-своему, поскольку у меня были свойственные моему положению страхи: если я уеду на Дальний Восток к моим родителям, а Георгий поедет в аспирантуру, мы не сможем скоро соединиться и зажить своей семьей. На Дальнем Востоке я буду хорошо устроена, мой ребенок получит прекрасный

уход, я пойду вскоре работать или учиться, и весь уклад моей жизни уже будет таков, что все устроится и без Георгия. Именно этого я и боялась больше всего: покоя и устроенности без Георгия, потому что знала его совестливую, благородную натуру, которая не позволила бы ему оставить меня с ребенком в непрочном положении. Я знала, что в такой ситуации, если она сложится, он придет мне на помощь. Это означало, что он просто придет и все устроит как надо.

Неустроенность должна была автоматически повлечь за собой стремление к устроенности, в то время как любая устроенность – на Дальнем Востоке у мамы или в том городе, где мы с Георгием жили и где я могла бы в случае чего просить места в студенческом общежитии, – любая устроенность такого рода повлекла бы за собой задержку настоящей устроенности, поскольку душа Георгия с самого начала была бы спокойной за меня и ребенка, и он с легким сердцем начал бы новую жизнь в институте, и заставить его что-нибудь сделать – подать на развод, забрать меня с ребенком к себе – было бы практически невозможно.

Однако все вышеизложенное никак не объясняет тогдашнего состояния слепой восторженности, с которым я кинулась в объятия чужой семьи, а именно матери Георгия, Нины Николаевны. Она жила в старом, большом, благоустроенном доме, и каким наслаждением для меня было после пыльной летней улицы войти в ванную комнату, где раковина была старинной, фаянсовой, с синим узором и трещиной, а в ванне эмаль на дне уже протерлась до чугуна!

Наша первая встреча прошла тем не менее без излишних восторгов. Надо сказать, что Нина Николаевна не скрывала своих сомнений. Она внимательно прочла письмо, а я в это время наготове стояла в прихожей, решившись, если что, сразу же уйти. Чемодан я оставила в камере хранения и даже полдня (я приехала утром) потратила на то, чтобы найти себе где-нибудь возле вокзала койку переночевать.

Здесь надо сказать, что я рассчитывала на то, что со мной не слишком будут считаться в доме Георгия. Я все предусмотрела в этом смысле, потому что Георгий, который был старше меня на десять лет и многое в жизни видел, ясно обрисовал мне обстановку своего дома и свою мать. Он сказал мне о том, что все будет зависеть от меня и только от меня, от того, насколько я окажусь умной и самостоятельной, именно самостоятельной. Он повторял это слово на разные лады, объясняя мне его значение: самостоятельный – это тот, кто стоит сам, ни на кого не опираясь, не требуя ни от кого ничего. Только такой человек, учил Георгий, мог рассчитывать на успех у его мамы, только такой, а никак не слабый, радующийся любому сочувствию, готовый всем уступить, помочь, чтобы показать свою доброту и порядочность. Георгий потому так учил меня, что ему не нравилась во мне жажда всем угодить, всем понравиться, сразу и безоговорочно войти ко всем в доверие, не нравилось стремление открыть свою душу навстречу любой другой душе с тем, чтобы встретить понимание. Георгий хотел от меня большей твердости и внутренне весь каменел, когда я пыталась принимать гостей в нашей комнатке, где мы с ним жили после моего ухода из общежития. Георгию не нравилось мое угодничество, готовность смеяться любой шутке и принимать любые знаки внимания за чистую монету, за стремление к дружбе и только к дружбе. Когда друзья Георгия уходили, Георгий по несколько дней мог не разговаривать со мной, недовольный тем, что все его воспитание идет насмарку, что из меня не получается тот стойкий, самостоятельный человек, который только и мог достойным образом реагировать на грубые шутки и поверхностные разговоры. И даже в том, как я относилась к этому молчанию Георгия, как я плакала и добивалась его расположения, – даже в этом он чувствовал явное отступление от нормы, от нормы поведения гордого, самостоятельного человека. «А ты будь хоть на минуту гордой», – говорил мне в результате Георгий и снова замолкал.

Последний месяц нашей совместной жизни вообще нельзя было добиться от Георгия толку: он где-то пропадал, ничего не говорил о своих планах, не говорил также о том, каким

образом идет у него подготовка к экзаменам, как будто я стремилась у него что-то выведать и о таком пустяковом факте, как подготовка к экзаменам, как будто мне были нужны эти подробности. Однако он защищал их от моего вторжения так, как если бы эти сведения были мне нужны и я не могла жить без того, чтобы не нападать на него с вопросами, как прошел день и что сегодня было.

Он рьяно оберегал от меня свои тетради, книги, свою папку, свои мелкие покупки.

Вместе с тем он с величайшей простотой сел и написал своей матери письмо, когда я сказала, что поеду рожать к ней, потому что на Дальний Восток ехать нет денег. Он написал это письмо не только потому, что я встала перед ним на колени, но и потому, как мне показалось, что ему самому было нужно, чтобы я поскорей уехала, куда угодно, как угодно, но чтобы уехала. И в этом смысле я, конечно, поспешила со своим ползанием на коленях, с этими поклонами, поскольку таким способом ни одного человека еще не заставили ничего сделать, как сказал мне Георгий, принимаясь опять за нравоучения. Он начал мне выговаривать, что я не понимаю настроения момента и вообще не вижу дальше своего носа, что я – человек без самостоятельности и что моя поездка к его матери все равно ничего не даст, поскольку я не самостоятельный человек. Тут он прочел мне свою обычную лекцию на тему о том, какой бы он хотел меня видеть, и это было редкостное событие, явление номер один в последний месяц, поскольку он вообще почти перестал обращать на меня внимание и только оберегал свой внутренний мир, ограничивал мое вторжение в него как мог и постепенно расширял границы запретной зоны, так что я почти все время сидела на кухне. Было лето, а я сидела и сидела на кухне, поскольку не хотела проворонить тот момент, когда Георгий уедет сдавать экзамены. При всем прочем он просто самым обыденным образом мог не оставить мне ключа, и пришлось бы ехать к хозяйке за город, а хозяйка не очень-то меня приветствовала, поскольку быстро распознала особенности моего положения и частенько говаривала, что сдавала комнату одинокому инженеру, а живет в ней целое кодро.

Итак, Георгий сел и написал письмо, и я не сказала ему в ответ ничего, просто взяла этот листок и ушла к себе на кухню. Это я начала приводить в действие решение о кардинальной перестройке наших взаимоотношений, о воспитании в себе гордости. Итак, я, ни слова не говоря, взяла письмо, дождалась, пока Георгий ушел, тихо собрала вещи и уехала, не оставив даже записки.

Я размышляла над тем, почему Георгий так беспрекословно отпустил меня к своей матери, и так и не пришла ни к какому выводу. Я знала, что отношения у него с матерью сложные, что первая жена не сошлась характером прежде всего именно с матерью и уж потом с Георгием. Однако почему-то меня это не пугало, я подумала-подумала об этом и перестала, а поезд шел и шел и в конце концов доставил меня после суток пути на вокзал в город, где была родина Георгия, где жила его законная жена с сыном, где стоял дом, в котором он провел детство, и так далее, – все эти соображения меня чрезвычайно взволновали, и я не сразу по приезде начала осуществлять задуманное, то есть искать себе ночлег.

Таким образом, если прием, оказанный мне матерью Георгия, был не слишком любезным, то ведь я и не рассчитывала ни на что. Нина Николаевна прочла письмо в прихожей, не впуская меня в квартиру. Выглядела я, правда, вполне прилично, я умылась у той хозяйки, у которой сняла койку на ночь. Там же я пришила к платью белый воротничок, поскольку прелесть беременных состоит прежде всего в чистоте и опрятности, в особом обаянии гигиены, а вовсе не в следовании моде.

Прочтя письмо, Нина Николаевна не стала вести себя более сердечно, но пригласила меня войти.

Ее комната была огромной, темноватой, с красивой старинной мебелью, с почти черным паркетом. Я сразу всем сердцем полюбила эту комнату, моя душа наполнилась безотчетным восторгом и жадной тут остаться жить навсегда.

Однако на вопрос, где я остановилась, я ответила, что остановилась у знакомых и с этим все в порядке. На вопрос, есть ли деньги, я ответила, что есть и что я, собственно, пришла просто познакомиться, раз уж я приехала сюда. На вопрос, зачем я сюда приехала, я ответила, что буду здесь ждать Георгия вместе с ребенком. «А скоро ли будет ребенок?» – спросила Нина Николаевна, и я ответила, что точно не знаю, так как врачи говорят одно, а я знаю другое. Нина Николаевна спросила, что я знаю по этому поводу, я ответила, что считать надо с ноябрьских праздников. Затем Нина Николаевна спросила, от Георгия ли этот ребенок, и я ответила, что да, заплакала.

Я не могла удержать этот страшный плач, в который у меня, очевидно, выливались все переживания прошедших месяцев, когда я не плакала, а, скорее, смеялась в ответ на Георгиевы замечания о моей несамостоятельности. Этот идиотский, беспричинный смех, кстати сказать, больше всего выводил из себя Георгия, но я ничего не могла поделать с этим смехом, он вырывался у меня непроизвольно, так же как совершенно непроизвольно я начала плакать после вопроса Нины Николаевны о том, от Георгия ли этот ребенок.

Мой плач произвел впечатление на Нину Николаевну. Похоже было, что она поняла, с кем имеет дело, поскольку в дальнейшем она обращалась со мной так, что все ее действия вызывали у меня чувство чудовищной, ни с чем не сравнимой благодарности и такого счастья, как если бы я попала в желанный, родной дом – с той только разницей, что я не желала бы попасть в мой родной дом. В том-то и был весь ужас, что никуда, ни в один дом на свете, даже впоследствии в нашу с Георгием новую квартиру, меня не тянуло так, как в дом к Нине Николаевне, в этот прекрасный, милый дом, где ничего не было для меня предназначенного, где каждая вещь существовала как бы выше меня уровнем, была благородней, прекрасней меня – и в то же время все это для меня было полно надеждой на счастье. С каким благоговением я рассматривала картины в тяжелых рамах, прекрасные подушки на диване, ковер на полу, столовые часы в углу!

Больше того, у меня вызывали умиление даже всякие безвкусные вещицы, какие-то шкатулки и башмачки, облепленные ракушками, сорокалетней давности, какие-то пустые флаконы из-под духов. Я бы с любовью все это обтерла тряпочкой и расставила под зеркалом. В дальнейшем я и пыталась это делать, но каждый раз такие попытки Нина Николаевна пресекала в корне, не разрешая даже дотронуться до чего бы то ни было в ее комнате.

В сущности, не такой уж красивой была эта комната, и не так уж тщательно она была убрана. Однако особое обаяние прожитой здесь долгой жизни, обаяние прочных, старых вещей сообщилось мне сразу же, бросилось в глаза, как всегда голодному бросается в глаза еда, а бродяге – тихая пристань.

Я повторяю, что никаких сетей, расставленных с надеждой поймать и уничтожить меня, не было. Более того, я сама слепо шла вперед безо всякой надежды на то, что когда-нибудь какие-нибудь сети на меня будут расставлены. Ведь нельзя же было считать ловушкой ту растроганность и материнское (не материнское – лучше, выше) покровительство, которое я чувствовала в Нине Николаевне! Я неверно выразилась – не материнское, лучше, выше, потому что мать не оказывает покровительства. Вместе с тем я так была размягчена, что однажды из комнаты крикнула Нине Николаевне в ванную, что хотела бы для краткости называть ее мамой. Она не расслышала, переспросила, но шум воды перекрыл все мои слова, и я больше не пыталась делать таких далеко идущих предложений.

Я была как в раю. Если первое время я еще порывалась сходить к той привокзальной тетке и на всякий случай договориться с ней о койке на будущее, то впоследствии я даже не заикалась об этом Нине Николаевне (я очень быстро раскрыла ей свои секреты относительно снятой заблаговременно койки).

Нина Николаевна никуда меня не отпустила в первый же день и с каждым днем привязывалась ко мне все больше. Она буквально не давала пылинке на меня упасть, до работы успевала сходить на базар за овощами и терла мне на утро морковь.

Нина Николаевна, как я уже говорила, не разрешала мне ни до чего дотрагиваться – она сама варила еду на целый день, мне оставалось только разогреть обед. Вечером я не ужинала, ждала ее, сидя у окна. Она приходила, мы ели и шли гулять перед сном. Спала я на широчайшем диване, на полотняных простынях.

То и дело Нина Николаевна делала мне подарки: мы сходили с ней в магазин и купили два ситцевых платья с запасом на будущую полноту; она купила мне также ночные рубашки, босоножки на мои распухающие с каждым днем ноги и так далее.

Решительно никогда – ни до, ни после – я не чувствовала себя такой счастливой. Полное единение душ еще довершалось тем, что она любила анекдоты, и я тоже любила посмеяться, и мы всегда искренне и долго хохотали, радуясь любому поводу для этого.

Нина Николаевна признавалась, что без меня ей было бы скучно, что мой звонкий голос оживляет ее тихую одинокую жизнь. Иногда мы с ней пели на два голоса, вечер обычно заканчивался просмотром телевизионной программы, а затем я растягивалась на полотняных простынях, под шелковым зеленым одеялом.

От Георгия между тем не было никаких вестей, мы не знали, как идет у него подготовка к экзаменам и где он вообще. Я написала ему в присутствии Нины Николаевны несколько писем, но не получила ни ответа, ни своих писем обратно с припиской «адресат выбыл».

Не имея никаких новых данных, мы с Ниной Николаевной проводили целые часы в пережевывании старых сведений о Георгии – мы рассказывали друг другу о его детстве, причем я знала не меньше, если не больше. Я рассказывала Нине Николаевне то, чего она не знала, – о падении Георгия с крыши в десятилетнем возрасте (он тогда это скрыл), о его первой любви, затем о более поздних временах, о работе Георгия, о его друзьях, о привычках его, о взаимоотношениях с начальством. Нина Николаевна очень клевала на такие разговоры, быстро загоралась, требовала все новых и новых подробностей о нашей совместной жизни, о распределении обязанностей внутри нашей семьи, о том, как принял Георгий известие о будущем ребенке. Я рассказывала Нине Николаевне, как мы познакомились с Георгием на вечере в нашем институте, причем провожали меня двое – он и мой знакомый («Какой это знакомый?») до самого общежития («А где этот знакомый теперь?»). Я все понимала, я понимала, что она сопоставляет даты – она требовала дат, – и имена и события, чтобы удостовериться, что я действительно ношу под сердцем сына Георгия, ее внука, а не ребенка какого-нибудь другого моего поклонника, который также провожал меня темной ночью, а потом исчез, и расхлебывать придется Георгию. Меня, вправду сказать, даже умиляли такие бесхитростные допросы, такие ничем не прикрытые сомнения – ведь это еще яснее показывало мне тогда, насколько она боится обмануться в своих надеждах, как она лелеет и бережет мечту о своем будущем внуке!

К тому, первому своему внуку Нина Николаевна раз в неделю ходила с гостинцами, ездила к нему на дачу, и мне нравился этот обычай, это незабывание, это соблюдение долга перед ребенком, который ни в чем не виноват. Я даже несколько раз просилась поехать вместе с ней, но она становилась непривычно суровой и в единый миг ставила меня на место какими-то простыми, но беспощадными словами: видно было, что у нее есть тоже свой, особый мир, отличный от мира взаимоотношений со мною, – опять свой мир, как у Георгия; этот свой мир, в который я не имела доступа, постепенно, незаметно, но и неуклонно образовался у нее, и она начала его ревностно оберегать от моего вторжения, а я опять-таки, выложившись вся, оставалась ни с чем. Она вела с кем-то междугородные телефонные переговоры и не говорила с кем. Она теперь уходила на целые вечера, не оставив мне ключа. Наши вечерние разговоры теперь были неравноправными, теперь я спрашивала, я рассказывала, я

хвалила фигуру Нины Николаевны, я подливала ей сметаны, а она говорила: «Я хозяйка, я варила, я сама возьму, а вот ты угощайся».

Каким образом произошла эта метаморфоза, мне неизвестно. У меня внезапно случилось впечатление, что она вознеслась высоко надо мною, что она нависает надо мной, как гора, утяжеляя все мои движения. Я теперь с трудом двигалась в ее комнате, с трудом говорила с ней. Все ее раздражало, иногда она даже не отвечала мне на вопросы.

Однако эта ситуация, уже однажды испытанная мной, была для меня уже знакомой ловушкой, известной сетью – хотя, повторяю, она не была ни ловушкой, ни сетью, но это была неизменно погибельная для меня ситуация, погибельная в данном случае еще больше, нежели прежде, поскольку в истории с Георгием мне еще светила впереди надежда на его мать, на ее благородство, в случае, если я окажусь в безвыходном положении.

Я продолжала влачить свое двусмысленное существование в доме Нины Николаевны, поскольку идти мне было некуда. Привокзальная тетка, к которой я наведальась, посоветовала мне держаться за то, что есть, поскольку комнату мне с ребенком никто не сдаст.

Я стала ходить на так называемую «биржу» – туда, где собирались квартировладельцы и наниматели. Лето клонилось к осени, Георгий давно уже приехал, это я чувствовала, физически чувствовала, что он здесь, хотя он не показывался у своей матери, и она все более ожесточалась. Вдруг, словно сняв с себя какие бы то ни было обязательства, она стала говорить о какой-то подруге с дочерьми, которые приедут погостить, а потом она к ним поедет, и квартира будет заперта – соседей в городе нет, они ей доверили квартиру, и никто не допустит, чтобы в квартире жил посторонний человек, ни к чему не причастный.

Я предложила ей поговорить как следует, откровенно. Она сказала, что все и так достаточно, до противности откровенно и что не следует чужого ребенка приписывать человеку, который не повинен в том ни телом, ни духом, раз были всякие хождения на танцы и провозжания до ворот.

Я начала смеяться, и на этом разговор завершился. Мои вещи были вынесены в коридор, Нина Николаевна заперлась у себя в комнате, и я провела ночь на кухне. Утром Нина Николаевна вынесла мои вещи на лестницу.

Так закончилось мое приключение. Далее уже все неинтересно – далее я жила у привокзальной тетки и ходила на «биржу», прикрывая располневшую талию плащом, и в конце концов какой-то шалый мужик, завербовавшийся на Север, сдал мне свою комнату буквально за гроши. Можно не упоминать, что в комнате была совершенно голая кровать с панцирной сеткой, и я спала свою первую ночь на новом месте, постелив на сетку свой плащ, счастливая и безмятежная, пока не пришла пора наутро идти в родильный дом.

На этом заканчивается тот период моей жизни, период, который никогда больше не повторится благодаря усвоенным мною нехитрым приемам. Никогда не повторится тот период моей жизни, когда я так верила в счастье, так сильно любила и так всем безоговорочно отдавала в руки всю себя, до самых последних потрохов, как нечто не имеющее никакой цены. Никогда не повторится этот период, дальше пошли совершенно другие периоды и другие люди, дальше уже идет жизнь моей дочери, нашей дочери, которую мы с Георгием воспитываем кое-как и которую Георгий любит так преданно, как никогда не любил меня. Но меня это мало заботит, ведь идет другой период моей жизни, совсем иной, совсем иной.

Али-Баба

Они познакомились – так бывает – в очереди в пивбар. Она оглянулась и увидела синеглазого в финском костюме и с черными ресницами и решила: он будет мой. Поскольку она и не догадывалась, насколько легка будет ее пожива, некоторое время ушло на верчение головой, уходы («Я перед вами буду, хорошо?»), а он терпеливо стоял и ждал разрухи своей

судьбы, бедный принц в единственном, что еще у него осталось, в сером финском костюме. В отличие от Али-Бабы он знал, что ни одна женщина в здравом уме на него не покусится, у них есть нюх. Ухаживание Али-Бабы он воспринял с легким интересом, собравши все остатки своей души и вспомнив то время, когда женщины и девушки в трамваях и метро еще вызывали в нем мысли типа «а что, если...». Последние несколько лет, прежде чем так подумать, он уже махал рукой. Именно: увидев девушку посимпатичней, он с озлоблением махал рукой. Али-Баба не вызвала в нем абсолютно никакого волнения, махать рукой тут было совершенно не на что, обыкновенная приличная еврейская женщина с большими черными глазками. Он не подозревал, будучи почти трезвым, что за каждым большими глазами стоит личность со своим космосом, и каждый этот космос живет один раз и что ни день, то говорит себе: теперь или никогда. Тем более что Али-Баба, как и он, стояла в очереди в пивбар. Правда, для него поход в пивбар был возвышением до остальных нормальных и приличных людей, как эта Али-Баба. Для нее же, он мог подозревать, поход в пивбар был, возможно, падением: что делать приличной женщине в пивбаре среди матерящихся мужиков, пусть даже пивбар и на Пушкинской улице, где много милиции и где на стенах светильники, но где, однако, между столиками снует уборщица лет двадцати и уносит к себе в подсобку якобы порожнюю посуду из-под водки, а на самом деле клиент долго поражается, шаря у себя в ногах в полных потемках: где тут была недопитая поллитровка? Шасть в подсобку, а Нинка уже нюхает корочку, и из-за этого было много скандалов с руководством бара, минуя милицию.

Однако он не знал Али-Бабы, как и она, впрочем, не раскусила его. Оба они подозревали друг в друге порядочных людей и шли навстречу друг другу с самыми лучшими намерениями: поговорить с хорошими человеком.

Они поговорили о том, как долго здесь стоять и что в других местах тоже долго стоять, причем оба обнаружили полное знание всех возможных мест, до «Сайгона» включительно. Он подумал: «Молодец баба, всюду бывала» – и почувствовал к ней уважение, она подумала, что синеглазый, кажется, не избалован вниманием, как это могло показаться с первого полуоборота в очереди, и почувствовала к нему щемящую жалость и нежность, как к уличному котенку прекрасной породы, которого вот-вот хватятся хозяева.

Потом она прочла ему свои стихи, написанные предыдущему товарищу жизни, который проклял Али-Бабу за то, что она умело прятала не допитые им бутылки неизвестно где в его же собственной, небогатой на мебель квартире, мотивируя это тем, что не хочет, чтобы он спивался. Он и не подозревал, что Али-Баба все выливала внутрь себя, а что значит одной пустой бутылкой больше на том балконе, где они хранили обменный фонд. Предыдущий товарищ, однако, просек ее хитроумные ходы и перевалил Али-Бабу через перила того же балкона, куда она тихо, как можно тише, выставила пустую бутылку, но звяка не избежала по причине неточности рук. Али-Баба, будучи переваленной через перила, зацепилась пальцами за железную поперечину в оградке балкона и повисла, как гимнастка, на высоте четырех этажей. Проходящий народ быстро вычислил, откуда ветер дует, и стал взламывать квартиру, поскольку испуганный товарищ жизни Али-Бабы не открыл на звонок, а сидел на кухне и придумывал, какие показания он даст в милиции: то ли самоубийство, если никто не видел, то ли что она хотела его скинуть вниз, а он защищал свою жизнь. Вид у него был злобный, когда ворвавшиеся два шофера привели к нему Али-Бабу с совершенно скрюченными пальцами рук. Шофера хотели сбежать за водкой, видя, как расплакался мужик, но в квартиру набегали еще бабы, поднят был большой крик, вызвана «скорая» неизвестно зачем, хотя Али-Баба умоляла этого не делать. Наконец все разошлись, не «скорая» же лечит скрюченные пальцы, все это в амбулаторном порядке, а версию Али-Баба придумала такую, что мыла балкон снаружи. Врачи не следователи, не стали проверять, где ведра и тряпки, сделали успокоительный укол Али-Бабе и мужику и уехали. А мужик в секунду выставил

Али-Бабу из дому, в бешенстве собрал все ее тряпки в свой рюкзак и бросил с того же балкона. А у нее там все было – и мохеровая кофта, и рейтузы, и мало ли еще что. Косметику она оставила в ванной, неверным шагом спустилась за рюкзаком и ушла к себе домой к маме, где очень долго так и жила со скрюченными пальцами рук, не в силах начать устраиваться на работу. И поход в пивбар был для нее началом новой эры.

А финский костюм оказался в этом пивбаре после недолгой внутренней борьбы, поскольку, не заставши нужного человека в конторе, куда он был послан начальством (в результате разных перипетий финский костюм в свое время был понижен до старшего лаборанта и использовался на разных работах, в том числе и как курьер), он решил пообедать (у каждого человека может быть обеденный перерыв) в пивбаре жидким хлебом, как он называл пиво.

– Жидкий хлеб, – сказал этот Виктор, осушивши кружку.

– Солнце, – ответила Али-Баба.

– Понимаю, – сказал Виктор, – все от фотонов.

– Я люблю солнце, – ответила Али-Баба.

– Возьму еще? – предложил Виктор, а она запротестовала, что теперь ее очередь, он уже брал шесть раз.

И Витя опять подумал, что баба понимающая, так как денег у него теперь было только еще на две кружки, и это вплоть до получки, то есть на будущую всю неделю.

А у Али-Бабы деньги были, она взяла у матери восьмой том Блока, с конца, чтобы мать не хватилась. Бунин у них уже стоял в четырех томах вместо девяти. Анатолий Франс в трех, а двухтомник Есенина отсутствовал целиком. Половина нажитого имущества, считала Али-Баба, принадлежит ей, не ждать же смерти мамы. Кстати, мать лежала в больнице и не знала, что Али-Баба вернулась, а то бы она прекратила врачебные исследования и в тот же момент Али-Баба оказалась бы на принудительном лечении от алкоголизма, как уже дважды было. Почему Али-Баба и опасалась возвращаться домой, жила у подруг и друзей уже давно, только подруг у нее уже почти не было, одна Лошадь, да и та завела себе мужика Ванечку, который бил смертным боем и самое Лошадь и всех, кто к ней приходил, так что быстро отвалил круг друзей, а привадил грузчиков из гастронома, и в доме всегда было что выпить и чем закусить, пошла веселая жизнь. Что касается Али-Бабиных друзей мужского пола, то у нее с этим проблем не было, вставал только вопрос, где ночевать. У всех друзей были жены или матери; а как раз сегодня мамаша Али-Бабы на арапа позвонила из больницы, и заспанная Али-Баба ответила «але», и мамаша тут же сказала: «Ты что, дома?», но Али-Баба сразу положила трубку и больше уже не отвечала на звонки, а под неумолкающий трезвон собралась, печально взяла том Блока, остатки косметики, материны нераспечатанные колготки, флакон успокоительных таблеток и оказалась в очереди в пивбар.

Когда пивбар закрыли, они пошли домой к Виктору, благо он жил один. Это было большое открытие для Али-Бабы, узнать, что Виктор, во-первых, не женат, а во-вторых, живет без мамы. То есть у него есть давно вымечтанная хата. И хотя он не слишком горячо воспринял предложение Али-Бабы пойти к нему, но все-таки они на ночь глядя пошли именно к нему, он открыл ключом дверь и еще дверь, и там, в комнате, было темно и тепло, хотя и отдаленно смердело. Он включил настольную лампу, нашел и постелил чистое белье, и наступила ночь любви. Али-Баба была довольна, что обрела пристанище, Виктор был доволен, что не сплывал и нашел чистые простыни, когда к нему пришла порядочная женщина, и на сон грядущий Али-Баба по собственной инициативе почитала ему еще раз свое стихотворение «И нелегкой дорогой иду я к тебе... Никому не подвластны мы в нашей судьбе». Не дождавшись конца длинного стихотворения, Виктор заснул, то есть стал громко и мерно храпеть. Али-Баба замолчала и с нежным, материнским чувством в душе благодарно заснула, после чего немедленно проснулась, потому что Виктор обмочился. Али-Баба тут же поняла, почему

Виктор жил бесхозный и ничей и почему его бросила сука жена, разменявшая трехкомнатную квартиру на квартиру себе и девять метров ему, а он безропотно согласился. Али-Баба заплакала, вскочила, переоделась, села к столу и в полной темноте, при храпе и зловонии задумалась еще раз над своей судьбой, после чего приняла давно уже приготовленный флакончик успокоительного. Виктор очнулся к утру, увидел лежащую лицом в стол Али-Бабу, прочел ее записку и вызвал «скорую». Когда Али-Бабе сделали промывание желудка, она пришла в себя, и ее увезли в психбольницу уже в полном сознании и вместе с ее сумкой. Виктор, дрожа с похмелья, кое-как оделся и пошел на работу дожидаться, когда откроют винный отдел, а Али-Баба в это время уже лежала в чистой постели в палате для психически больных женщин сроком не меньше чем на месяц, ее ждал горячий завтрак, беседа врача, рассказы соседок об их бедствиях, и ей было о чем им всем порассказать, в особенности то, что когда она в первый раз приняла таблетки, то ослепла на сутки, во второй раз проспала тридцать шесть часов, а на шестой раз встала в восемь утра ни в одном глазу.

Мильгром

Молодая девушка в первый раз в жизни сама шьет себе платье, куплено три метра дешевого, по рублю с чем-то метр, но удивительно красивого штапеля, черного с пестрыми кружочками, как какой-то ночной карнавал.

Девушка эта бедная студентка, это раз. Второе, что она только что вылупилась из школьной скорлупы в прямом смысле слова: на развалинах старого коричневого форменного платья сделана юбка, получилось коряво, криво и косо, но платье конец.

И не для весны такая юбка, на дворе стоит май тысяча девятьсот лохматого года, жаркая весна и нечего надеть.

Третье, что студенточка, пыхтя над страницей «Шьем сами» из женского журнала (объем груди, какая-то половина переда и т. д.), попыталась скроить себе платье и потерпела полный крах. Пропало платье, труд и три р. с копейками денег, а стипендия двадцать три рубля. Тут мама вступает в ход событий мощной поступью, мама всю жизнь шила все у портнихи, пока не настали тяжелые времена, девице восемнадцать лет и кончились алименты. Портниха, таким образом, отпала, мама сама думает, что делать, но вот проблема: денег нет.

Денег нет, девушке восемнадцать, на дворе жаркий май, какие случаются раз в сто лет, экзамены, а дочь лежит буквально за шкафом (там у нее топчан) и плачет, скулит.

Мама звонит своей мудрой старшей подруге Регине, еврейской польке из племени московских (новых) жен Третьего Интернационала, весь этот коммунистический Интернационал в тридцатых годах тайно сбежал из своих стран, из подполья, горами и морями в СССР, переженился в Москве, будучи в эмиграции, и затем ушел с лагерной пылью в небеса, а Регина, отбив ссылку в Караганде, вернулась с победой, получила прежнюю квартиру на улице Горького, и мать студентки, тоже много повидавшая на веку, прилепилась к ней учиться уму-разуму, как к бывшей подруге еще своей, в свою очередь, матери, которую тоже ждут из далеких мест в эту весну.

Регина всегда одевалась с варшавским шиком, у нее бывали кавалеры в ее шестьдесят, и она выслушивает растерявшуюся мамашу студентки с пониманием.

У Регины есть постоянная помощница Рива Мильгром, Регина европейская дама, белые пухлые руки как у царицы, в доме жесткий порядок и приходит Мильгром.

Так ее зовут, Мильгром, по партийной привычке только фамилия. Так вот, Мильгром имеет швейную машинку «Зингер», и девушка со свертком идет к Мильгром по жаре в рыжей шерстяной юбке известного происхождения (мама носила платье, выносила до желтых полу-месяцев под мышками, дочь вынуждена была таскать это дело в школу, не имея возможности поднять руку, всегда локти по швам, муки ада, наконец верх с отпотевшими подмыш-

ками отрезан и выкинут, хотя мама возражала, может выйти жилетка, но ребенок помчался к мусоропроводу и выкинул, зато осталась корявая юбка, в чем и идем косо и криво по майской жаре).

Поверх юбки, чтобы скрыть неудачное место отреза, кое-как подшитое, нитки не те, да и руки не из того места растут, – поверх юбки надета материна кофточка, тоже с темными подмышками, опять держи локти по швам.

Студентка идет как новобранец, опутив голову и наблюдая за своими зелеными зимними туфлями на толстой подошве, руки по швам, а кругом уже Патриаршие пруды, вернее, дома над прудом, пахнет нежной майской зеленью, мимо шмыгают молодые люди и идут гордые девушки в летних платьях.

Мильгром встречает заказчицу в своей комнатке где-то наверху, под палящими московскими небесами, где-то чуть ли не на чердаке, тихая Мильгром, большие влажные глаза, очень белая кожа и полное отсутствие зубов, нос висит, зато подбородок вперед, как кошелек, на вид Мильгром уже старуха.

Раскрыта швейная машинка, мелькает сантиметр, и тихая Мильгром начинает длинный рассказ (а сама записывает тот самый объем груди) о своем сыночке, о красавце Сашеньке.

Оказывается, Сашенька был такой красивый, что люди на улицах останавливались, и однажды даже фотографировали его для конфетной коробки.

Девушка видит на стене указанную перстом Мильгром фотокарточку, ничего особенного, маленький мальчик в матроске, большие черные глаза, тонкий изящный нос, верхняя губа выступает козырьком над нижней. Трогательный кудряш, но не более того. Губы тонковаты для ангелочка, рот у него мильгромовский.

В данное время у девушки не то что мыслей о ребенке, еще и друга-то нет, ухажера, кавалера, несмотря на солидные восемнадцать лет.

Все наука, наука, экзамены, библиотека, столовка, грубые зеленые туфли и коричневое шерстяное платье с вылинявшими мамиными подмышками, страх сказать.

Девушка равнодушно смотрит на стену и видит еще один портрет, увеличенную фотографию, видимо, на паспорт, ибо с уголком, портрет тщедушного офицера в большущей фуражке.

Это он же, Сашенька, уже вырос, пока обмеряли объемы талии, пока записывали и критически смотрели на порезанные вкривь и вкось куски материи за рубль двадцать, и Сашенька уже женился и есть внучка Ася Мильгром.

Далее старуха Мильгром успокаивает студентку, что не одна она такая корявая, что сама Мильгром тоже в молодости была неумеха, ничего не могла, ни яичницу, ни суп, ни пеленку подрубить, а потом научилась: жизнь научила.

На каком-то этапе длинного и хвастливого рассказа о Сашеньке надо уже уходить, а платье останется и будет дошито завтра.

Через три дня девушка, которая боится выйти на улицу в своем чудовищном наряде и не умеет ни хорошенько постирать, ни погладить, ни пришить, полные слез глаза и лежание с книжкой, собирается наконец идти к Мильгром и говорит матери: иду к Мильгром.

– Она несчастная, – откликается мать, – такая несчастная жизнь у нее, у Мильгром! Муж ее буквально бросил молодую, отобрал у нее ребенка, маленького ребеночка, и не разрешал с ним встречаться, то есть как бросил: он сначала взял Мильгром из буквально литовской деревни, она была необыкновенной красоты, шестнадцати лет, но по-русски не говорила, только по-еврейски и по-польски, а потом он развелся с ней, тогда было так можно, свобода, пошел и развелся. И он привел к себе в комнату другую женщину, а Мильгром сказал уходить, она и ушла. Ей было восемнадцать лет. Мильгром чуть с ума не съехала, все дни и даже ночи проводила напротив на улице под своим бывшим окном, чтобы увидеть ребенка,

а Регина ее нашла, Мильгром уже лежала на бульваре вся черная, Регина же выступала за всех угнетенных. Она устроила ее в больницу, потом взяла к себе домработницей, Мильгром спала у нее в коридоре. Потом, когда Регину арестовали, Мильгром пошла на швейную фабрику ученицей, заработала себе какие-то копейки на пенсию и вот комнатку дали.

Девушка рассеянно слушает, потом идет к Мильгром, не вникая в информацию, и видит все ту же каморку под крышей, где сладковатый запах старых шерстяных вещей буквально удушает при жаре.

Все плавится в лучах жаркого заката, Мильгром достает чашки, приносит с кухни чайник, и они пьют чай с черными солеными сухариками, роскошью нищих.

Мильгром опять хвастливо рассказывает о сыночке Сашеньке, сияющее лицо Мильгром обращено к стене, где висят две фотографии, причем, думает девушка, если мама правильно говорила, откуда у Мильгром фотографии?

Сашенька-взрослый смотрит со стены замкнуто, холодно, в расчете на офицерский документ, фуражка торчит как седло над большими черными глазами, здесь-то он уже очень похож на мать.

Какими слезами, какими словами вынудила Мильгром своего Сашеньку подарить ей снимки?

Мильгром счастливо вздыхает под своей стеной плача, а затем радостно сообщает, что у Асенки уже выпал первый зубик: все как у всех есть и у Мильгром.

Девушка надевает платье, смотрится в зеркало, выбирается из сладковато-затхлого запаха вон, наружу, на воздух, на закат, проходит мимо многочисленных окон и подъездов, где, как ей кажется, обитают одни Мильгром, идет в новом прохладном черном платье, и счастье охватывает ее. Она полна радости, и Мильгром полна радости за своего Сашеньку.

Девушка в самом начале пути, движется в новом платье, на нее уже смотрят и т. д., через пять лет появится у ее дверей мальчик с кустом роз, где-то ночью вырвал – а Мильгром явно в конце, но может наступить время, и девушка мелькнет в конце Малой Бронной в совершенно ином образе, будет носить в сумочке фотографии своего взрослого сыночка и хвастливо рассказывать о нем на скамейке на Патриарших, а позвонить лишний раз не решится, а самому ему некогда.

Черное платье мелькает на светлой, майской Малой Бронной, при полном закатном свете, и вот все, день догорел, Мильгром, вечная Мильгром в старческой комнатке среди старых шерстяных вещей сидит как хранитель в музее своей жизни, где нет ничего, кроме робкой любви.

Случай Богородицы

Мать и сын одновременно переживали романы, и однажды, за воскресным завтраком, сын сказал, как зовут его девушку: Наташа Кандаурова. Мать засмеялась, потому что фамилия ее моряка тоже начиналась с «Кан», и мать сказала эту фамилию. Но сын ничего не запомнил. Он никак не мог понять, почему он вдруг сказал вслух «Наташа Кандаурова», он старался смеяться вместе с матерью над совпадением, но на самом деле был сильно испуган. И когда мать стала со смехом говорить ему что-то про своего моряка, он встал и пошел на кухню. Мать продолжала говорить из комнаты, улыбаясь содержанию своего рассказа, но он ничего не понимал, а стоял над раковиной, помертвев. Наконец мать замолчала, как бы ожидая и от него такого же рассказа о Наташе Кандауровой. И чувствовалось, что она молчит как-то сытно, как будто она получила что хотела и теперь готова была взять его под крыло, утешать его своим опытом и, в свою очередь, получить у него утешение. И смех ее был какой-то дурацкий, женский, возбужденный, в предчувствии их маленького семейного

союза против двух «Кан». Она как будто была счастлива своей неожиданной победой, счастлива от того, что он тоже наконец вырос и понял ее жизнь и даст ей понять свою жизнь.

Сын стоял на двух кирпичях над раковиной и чистил зубы, часто останавливаясь, глядя в одну точку, а потом стащил с шеи полотенце, повесил его на гвоздь и осторожно ступил на доску, которая была проложена к выходной двери по только что выкрашенному полу. Доска прогибалась, и он в задумчивости начал на ней покачиваться. Он понял сам для себя, что выдал Наташу Кандаурову просто из-за желания сказать вслух: «Наташа Кандаурова». Он все время мысленно говорил с Наташей, но ему этого было мало, оказывается. Оказывается, ему еще нужно было произнести это имя вслух, в каком-то слепом бахвальстве, в забытии. «Кандаурова», – сказал он снова вслух, проверяя себя, может ли он еще сильнее раздавить себя. Слово «Кандаурова» он не договорил, а вместо этого запел: «Ка...а», – и вышел на лестницу напевая. Мать, наверное, поняла это «Ка-а», но ничего не крикнула ему вслед, а так и сидела в комнате, затихнув над грязными тарелками и чашками.

Он уже много раз мучился так от матери, когда она в детстве рассказывала ему, моя его в тазу, что некоторые мальчики балуются глупостями и что это очень нехорошо и могут положить в больницу и делать уколы. А когда он еще немного подрос, она вдруг начала ему рассказывать, какие тяжелые у нее были роды – ей было всего восемнадцать лет и у нее был один случай на сто, случай Богородицы, смеялась она, что она легла на родильный стол девственницей, но врач не стал вмешиваться хирургическим путем и женщиной ее сделал сын... Она рассказывала ему это в темноте, когда он уже лежал на своей раскладушке, подоткнутый со всех сторон одеялом, а она переодевалась на ночь и залезала коленями к себе на кровать, обтирая с сухим звуком ступню о ступню. Он лежал, глядя в потолок и стиснув зубы от ужаса. Эти слова – девственница, роды – он только еще начинал искать в словарях и энциклопедии, в этих словах было что-то невыносимо запретное, тайное, нужное, чего нельзя нарушать и что должно было накапливаться в нем постепенно, чтобы он в конце концов мог с этим смириться. Но мать не щадила его. Она как будто стосковалась по родной семье, которой у нее давно не было, и только ждала, когда немного вырастет сын, чтобы приблизить себя к нему еще больше, объяснив ему, насколько он принадлежит ей, насколько он ее. И от этого он не выносил даже безобидных воспоминаний, как он был маленьким, как приходилось ей в общежитии только на ночь вешать пеленки в общей кухне, а днем ей не разрешали; и как она, еще беременная, вязала кружевца, чтобы сделать уголки пеленок кружевными, чтобы можно было накрывать ему лицо от мух, но чтобы он все же мог дышать. И как она ненавидела запах тела своего мужа Степанова – он пах, ей казалось, почему-то едким волосом, – и как она этого Степанова не подпускала к себе, и все девочки в общежитии охраняли ее, когда она лежала и ее рвало при одной мысли о том, что Степанов может подойти к ней на пушечный выстрел.

И он был вынужден все это помнить и носить в себе и стыдиться слов «роды», «девственница», потому что для ребят в классе это было совсем не то, что для него. Он был не такой, как все. И когда ребята на перемене где-нибудь за школой, на старых партах, рассказывали друг другу всякие случаи и что чего значит, он вынуждал себя смеяться вместе с ними, чтобы никто не заметил, потому что у него была ужасная тайна – слова «девственница» и «роды», это касалось его, он принимал в этом стыдное участие.

И у него совсем не было близкого друга, с которым бы он мог все обсудить, все выяснить и которому он наконец мог бы признаться, что во время родов он сделал свою мать женщиной.

А потом, когда он вырос и стал снисходительно относиться к своей матери – в этом он почувствовал неожиданную опору для себя, для своего проявляющегося достоинства, – он перестал вспоминать о причинах своего детского стыда, хотя иногда безо всякой причины ему становилось ужасно грустно. Но он быстро подавлял в себе эту тоску. А мать теперь не

знала, как к нему подступиться, и боялась себя снова ранить и растравить тоску по нему, спокойно каждый раз отстранявшемуся. Иногда, правда, он понемногу с ней разговаривал о всяких мелочах, чаще всего о прочитанных книгах. И она каждый раз так покупалась на эти разговоры, так радостно шла ему навстречу и так ловила каждое его слово, что ему становилось тесно, неудобно в этой роли обожаемого сына и он снова отстранялся и уходил, оставляя ее недоумевать и бояться самой себя.

Однажды, правда, она перестала обращать внимание на то, как он к ней относится, и прямо сказала ему, что ее надо проводить в больницу. Она была рассеянна с утра, когда он собирался в школу, и не встала ему сделать яичницу, а лежала кое-как и глядела в окно слипшимися глазами. Когда он вернулся из школы, он был немного подавлен, потому что почувствовал, что она уже не тяготится его превосходством, что у нее есть какие-то взрослые дела, до которых он еще не дорос. И что вообще он очень мало знает о ней и у нее есть другое содержание жизни, кроме него.

Он покорно пошел рядом с ней, он, правда, не хотел, чтобы она на него опиралась, потому что увидел в этом притворство; если бы его не было, она бы пошла ни на кого не опираясь. Но она не почувствовала его мыслей, несмотря на то, что она обычно все чувствовала, что он чувствует. Она оперлась на его плечо, и он довел ее до автобуса. Был пустынный летний вечер, никого вокруг не было. И вокруг больницы никого не было. Когда они поднялись на каменное крыльцо, мать нажала на кнопку и стала ждать, не оборачиваясь. Потом она обернулась и торопливо, как занятая, поцеловала его в лоб. Ее встречала в дверях толстая нянечка.

Он остался один и стал ходить по каменному крыльцу, стал читать объявление, прилепленное с той стороны стеклянной двери: «Прием рожениц со двора». Ему стало страшно неприятно от слова «рожениц», но он постарался усмехнуться, чтобы подавить в себе детскую грусть. Вскоре дверь стала отпираться, с той стороны нянечка трудилась, подергивая к себе ручку, и не смотрела на него. Так же, не смотря, она просунула в щель авоську с пухлым газетным свертком. Он повернулся уходить с этой нелепой авоськой, полной белья матери, а нянечка быстро закрыла дверь и опять начала подергивать ручку, запирасть.

Он остался совсем один с деньгами, которые оставила ему мать. Класс скоро распускали, и на уроках многие, кому уже были выставлены четвертные и даже годовые отметки, баловались и шумели. Он читал на всех уроках, он чувствовал небывалую легкость и свободу. На последнем уроке черчения, когда он ждал со своей форматкой, что учитель Никола назовет его фамилию, в класс вдруг просунулась секретарша директора Зоя Алексеевна и громко назвала его фамилию. Он неприятно испугался чего-то, встал и пошел за секретаршей. На столе, на первом этаже, лежала телефонная трубка. «Это тебя, – значительно сказала Зоя Алексеевна, – от матери из больницы». Он взял трубку, солидно сказал: «У телефона», но в ответ ничего не услышал, только шуршало что-то. Потом мамин голос крикнул издали: «Ты меня слышишь?» – «У телефона!» – опять значительно сказал он. Он не очень хорошо знал, как говорить по телефону. «Как ты там?» – спросила мать. Зоя Алексеевна стоя перебирала какие-то бумаги на столе. Видно было, что она недовольна, что ученик так долго занимает директорский телефон. «Ты там ешь что-нибудь?» – сдавленно спросила мать. «Да-да!» – сказал он и как бы отвечая матери, и в то же время как бы опять не слышав ничего в трубке. Мать крикнула издали: «Может быть, зашел бы ко мне. Здесь ко всем...» – она не докричала, а как бы задохнулась. «Да-да, конечно, конечно!» – отозвался он немного погодя. «Ну пока, до свидания, а то четвертную... годовые отметки выставляют», – добавил он. «Мне уже сделали операцию, – заторопилась она. – Я много тут крови потеряла, понимаешь, но все в порядке! Все в порядке!» – закричала она, и тут в нем словно лопнула какая-то сухота в горле, и он весь напрягся, чтобы не заплакать. «Все будет хорошо!» – сказал он. «Все в порядке!» – повторил он горячо, прощая свою мать. – Я за тобой приду и заберу

тебя к чертовой матери оттуда!» Он положил трубку и быстро повернулся уходить, чтобы не видеть Зою Алексеевну. Что-то его потрясло, может быть, собственная доброта. Он долго после этого чувствовал легкость и умиление, он не разрешал матери вставать и сам однажды ходил в аптеку за ватой, а за продуктами он ходил каждый день. Она не приставала к нему с нежностями и откровенностями, то время уже прошло, она уже была научена. Она лежала тихо, на животе или на спине, повернув голову к нему. Она водила за ним глазами, что бы он ни делал в комнате, и только изредка поднимала руку и заправляла волосы за уши.

Потом она поправилась и стала ходить, чтобы отправить его хотя бы на вторую смену в пионерский лагерь, но он сказал, что не поедет ни в коем случае. Она перестала хлопотать, а по вечерам тихо уходила из дому, щелкнув перед дверью сумочкой. Она всегда перед выходом проверяла, есть ли у нее ключи.

Она теперь не разговаривала, как обычно, просто по пустякам. Но иногда она забывала обо всем, ее вечное напряжение куда-то улетучивалось, она напевала в кухне своим носовым, коротеньким голосом: «И лишь той... стороной... на свида...нье с другой...»

Это бывало обычно в хорошую погоду, при солнце, утром в воскресенье. Она сдирала с окон занавески, с постелей простыни и наволочки и с целым ворохом, отвертывая лицо, шла стирать. А он в это время, подчиняясь тому новому, что в нем родилось недавно, мыл босиком пол, неумело выкручивая тряпку.

Но в это воскресенье он не стал мыть пол, потому что пол только покрасили, а до этого они с матерью его скребли и отмывали после ремонта целый божий день. Но он не стал мыть пол не потому. Даже если бы пол был грязный и некрашенный, он все равно бы в это проклятое воскресенье, когда он растоптал себя, произнеся вслух имя Наташи Кандауровой, мыть пол не стал, а выскочил бы на лестницу с раззявленным ртом, чтобы, напевая: «На-а...», а на самом деле продолжая тянуть «Ка...а...»...

* * *

Мать осталась сидеть над немытой посудой не потому, что была сильно взволнована или ее огорчило признание сына, что у него есть девушка по имени Наташа Кандаурова. Само по себе имя ничего не значило; еще когда он был в детском саду, на шестидневке, она, приезжая за ним каждую субботу, спрашивала: с кем ты дружишь, и он серьезно отвечал, что со Светланой Ягодининой и с Леной Перовой; она до сих пор помнила эти имена и фамилии, которые повторялись каждую субботу. И они ровно ничего не значили для нее. Она просто радовалась, что у сына есть дружба, что он не один, одинокий, ложится спать в спальне на двадцать шесть человек или идет в столовую. И она каждый раз проверяла, дружит ли еще ее сын со Светой и с Леной.

Но он все-таки цеплялся за нее каждый раз, когда она уходила из детского сада, оставляя его одного. Иногда ей удавалось уйти от него незаметно, и воспитательницы говорили ей потом, а то и забывали говорить, ведь все-таки неделя проходила, что он искал ее за шкафами и в воспитательском туалете, потому что она при нем как-то ходила в воспитательский туалет и закрывалась там на крючок, а он испугался и стал отчаянно дергать дверку за выступающий гвоздь – до ручки он не дотягивался. И он потом много раз терпеливо стоял под воспитательским туалетом и ждал, пока там откинут крючок. Или ей рассказывали ночные няни, что он ночью опять стоял около кровати и плакал и ни за что не хотел ложиться.

Но однажды, во время родительского дня, летом, когда она особенно его ошеломила своим голубым платьем и коробкой трехслойного мармелада, он потерял всякую власть над собой и стал просто держать ее за край голубого платья, хотя даже сидел у нее на коленях. Он показался ей особенно вялым и бледным в этот день, он ел бутерброд с колбасой еле-еле

и вдруг сказал, обернувшись к ней с ее колен: «Мама, а я о тебе вспоминал». Другой рукой он держался за ее платье, а рот у него блестел от масла.

И когда зазвенел звонок на обед и все родители столпились у лестницы, на которую поднимались дети со своими подарочными кулками, он понял, что это значит, и его стало рвать бутербродом. Она его успокоила, прижала к себе и стала качать на коленях, и он ей поверил, что она не уйдет. Но воспитательница уже собрала всех детей у умывальной, мимо беседки пронесли ведро со вторым, накрытое стираной марлей, родители посылали в окно умывальни воздушные поцелуи и торопливо уходили мимо беседки, и тогда она пошла на хитрость. Она сказала: «Ты давно не собирал цветов для мамы». Он кивнул, отпустил ее платье и пошел из беседки. «Сажные цветы не рви, а только которые сами растут», – крикнула она ему вслед. Она не упускала никогда малейшей возможности повоспитать его, жалко только, что они слишком редко бывали вместе, и он ее не очень слушал, он тратил это короткое время на то, чтобы находиться рядом с ней. Он и ночью вставал, нерешительно стоял около своей раскладушки, а потом быстро добегал до ее кровати, карабкался по одеялу вверх и робко дышал, пока она говорила ему, чтобы он уходил. Но он все-таки залезал к ней, и она укутывала его одеялом и всю ночь оберегала его, так что сна ей не было, и часто утром она оказывалась у него в ногах, скорчившись в три погибели, чтобы ему было удобней. Во сне она не рассуждала, а просто устраивала, как ему было лучше. А наяву она все же понимала, что надо делать не как ему удобней, а как полагается. И вот он сошел на траву и пропал за кустом, а она быстро поднялась с лавочки, добежала до ворот и тяжело пошла на вокзал. Она не стала стоять за забором и слушать, как он вернется в беседку, будет молча ступать по деревянному полу, а потом кинется в дом и будет стоять под воспитательским туалетом и дергать за гвоздь...

А в следующий раз, когда она приехала за ним забирать его насовсем, в другой детский сад, это было уже через месяц после случая с цветами. И она уже забыла про случай с цветами, и он, наверное, забыл. Но он ей не обрадовался. Он терпеливо стоял, пока она на нем застегивала все пуговицы, завязывала шнурки и тесемки от шапки. Она его поцеловала, щека у него была холодная, податливая. Он мельком взглянул на мать, глаза у него смотрели утомленно, как будто он не держал как следует веки.

Но что ей было делать! Она была еще тогда совсем молодая. Если бы это сейчас с ней было, она бы встала с ног на голову, разбилась бы в лепешку, но не обманывала бы его с цветами и не гнала бы его от себя, когда он ночью приходил к ней, чего-то испугавшись у себя. Но он, как ни странно, случая с цветами совсем не помнил. Этот случай у него как-то фазу выветрился из памяти, как будто его и не было. Он никогда не вспоминал этот случай, а она никогда не рассказывала ему его, хотя была от природы общительна и с простой душой. Но этот случай она никогда не напоминала, она только сама все время помнила и казнила себя.

Бедное сердце Пани

Я родила своего ребенка довольно-таки поздно, перед этим долго лежала в так называемой патологии, среди женщин, которым предстояли какие-то затруднения, и, кстати, я оказалась не самой старородящей, там была уже совсем пожилая женщина сорока семи лет, ее все звали баба Паня и слегка над ней потешались, над ее манерой говорить по-научному «пойду выделю мочу». Баба Паня была почти неграмотной чернорабочей, морщинистой, с узенькими хитрыми глазками женщиной, и все время ходила по нашему короткому коридорчику вдоль палат, и ждала и ждала своего часа, как мы все его ждали. Но она ждала, как оказалось, совсем не того, что все мы, брюхатые, стонущие бабы, из которых многие пролежали по семь месяцев неподвижно, только чтобы родить ребенка. Под окнами браво кри-

чали навещающие, мы лежали на втором этаже и при открытой форточке лежали и слушали, как кричат. У одной женщины моего возраста опять ничего не получилось, в какой уже раз, ее увели, все думали, что вдруг обойдется, но под окнами вечером раздался пьяный крик: «Сволочь, сука... паразитка... Ты мне загубила жизнь, ах ты сука, что я с тобой связался...» Это кричал ее несчастный муж, который узнал, узнали и мы, что она опять родила мертвого.

Ну так вот, а баба Паня была вылеплена совсем из другого теста и ждала совсем не того, что мы. Она ходила со своим отвислым животом и ждала, как обнаружилось в дальнейшем, что ей по ее медицинским показаниям, в ее уже огромные сроки сделают аборт, для этого она здесь и находилась – уже довольно долго. Она объясняла, что муж у нее лежит уже полгода с радикулитом, он плотник на строительстве, что-то поднял. У них трое детей, и у нее самой был год назад инфаркт: дали большую инвалидность – второй группы. Что же ты тянула, воскликнули бы все, но никто не воскликнул, потому что знали, что ей сначала поставили другой диагноз – опухоль, и опухоль все росла и росла, пока не начала шевелиться и дрыгать ножками, тогда-то баба Паня, проплутав по районному и областному горздраву, направилась с пачкой бумажек искать правду в министерство в Москву и добилась своего, упорная душа, потому что действительно она могла при своем сердце умереть от родов и оставить троих детей сиротами. Она долго ходила по разным инстанциям, а живот все рос, уже набиралось что-то шесть месяцев или около того, и наконец ее положили в тот научно-исследовательский институт, где пребывали все мы в ожидании решения своей судьбы. Баба Паня попала к хорошему врачу Володе, который только что спас жизнь одному задохнувшемуся в лоне матери ребенку, девочке. Он высосал ртом слизь, забившую все дыхательные пути, и ребенок через две минуты после рождения закричал – такие легенды ходили о Володе, и везде его бегала-искала по коридорам мать этой девочки, чтобы вручить ему дорогую зажигалку, но не добилась ничего и с тем выписалась. И еще ходила легенда, что его собственная мать умерла родами, и Володя поклялся, что будет врачом-акушером, и стал им по призванию. И тем больше было у всех недоумение и ненависть в адрес ни в чем не повинной бабы Пани, что Володя не торопился делать ей аборт, а все ходил к ней в палату, мерял давление, проверял анализы, а баба Паня все ждала, и уже человека, что ли, собирались убивать все эти врачи, человека на седьмом месяце, но баба Паня твердо ждала и знать ничего не хотела; у нее было направление министерства, а дома ее ждали дети и неходячий муж в домике-засыпушке на далеком строительстве ГРЭС. Баба Паня строила ГРЭС, оказывается, вернее, была сторожихой и инвалидом, и на какие деньги все эти люди жили, неизвестно.

Шло время, проходили недели, я наконец убралась из отделения патологии и перекочевала в палату родильниц, мне наконец принесли мое дитя, и все муки как будто кончились, как вдруг у меня началась горячка и вскочил нарыв на локте. Тут же меня препроводили через двор в инфекционное отделение, я переправлялась по зимней погоде в чьих-то резиновых сапогах на босу ногу, в трех байковых халатах поверх рубашки и в полотенце на голове, как каторжница, а сзади несли завернутого в казенное одеяло ребенка, которого тоже выселили, ибо и он заболел. Я шла, обливаясь бессильными слезами, меня вели с температурой в какой-то чумной барак и разъединяли с ребенком, которого я уже начала кормить, а ведь известно, что если мать хоть один раз покормила ребенка, то все, она уже навеки связана по рукам и ногам и отобрать у нее дитя нельзя, она может умереть. Такие связи связывали меня, идущую в казенных сапогах на босу ногу, и моего ребенка, которого несли за моей спиной в сером одеяле, накрыв с головой, а он молчал под крышкой и не шевелился, словно замерев. В чумном бараке его унесли очень быстро, а мои мучения продолжались теперь в палате, где лежали инфекционные больные то ли с нарывами, то ли с температурой, и где лежала уже и тетя Паня, опроставшаяся, пустая, и принимала огромное количество лекарств и от сердца, и от заражения крови, поскольку ей уже сделали аборт, разрезали живот, но шов загноился: все в том научно-исследовательском институте, видимо, было заражено. Но тетя

Паня, убийца, сама теперь была на грани смерти и выкарабкивалась с трудом, а родильный дом закрывали на ремонт из-за страшной стафилококковой инфекции. Больные говорили, что сжечь его надо, сжечь, да что толку в разговорах.

Я плакала все дни, мне нужно было сцеживать молоко, чтобы оно не пропало, но руки были заразные, а ходить нас не выпускали в коридор, умываться я не могла. Я боялась заразить молоко и просила хотя бы спирту протереть руки, раза три сестра мне приносила ватки, а потом бросила, спирту на руки не напасешься. Тетя Паня молчаливо слушала, как я рыдаю со своими грязными руками, у нее были собственные дела для размышлений, у нее была высокая температура, которая не снижалась, и наконец пришел доктор Володя, убийца. Он положил руку на лоб тети Пани, осмотрел ее шов и вдруг велел принести лед: у тети Пани пришло молоко для ее убитого ребенка, в этом и была причина температуры.

Наконец настало время, мои муки кончились, и после долгих переговоров мне принесли ребенка, который за неделю разлуки разучился сосать. Жалкий, худой, прозрачный, он ничего не мог поделать, раскрывал и закрывал рот, а я плакала над ним, пока он кричал.

А убийца тетя Паня начала вставать и ходить, держась за стенку, потому что у нее шла речь о выписке. Она объяснила, что тренируется, от станции до стройки пешком двенадцать километров, но ее выписали через два дня, не вникая в подробности, и она ушла своим ходом, как могла, на вокзал.

А мой ребенок окреп, начал бойко сосать, и через два дня мы должны были выходить на Божий свет из чумного барака, как вдруг случилось происшествие. В палату привели новую пациентку – высокая температура, неизвестный диагноз. Привели и положили в опустевшую палату, где торчала одна только я, ожидая очередного кормления. Моя новая соседка сильно кашляла, на вопросы не отвечала, и я тут же энергично отправилась к дежурной детской сестре и заявила, что туда, где больной человек, нельзя приносить ребенка и т. д. Хорошо, приносить перестали, но теперь я уже знала, где он лежит, где его детская, и стояла под дверью, а он кричал криком. Он был один в детской, как я была одна в своей палате, каждой палате соответствовала своя детская, и я теперь знала, что этот одинокий визг есть визг моего голодного ребенка, и стояла под дверью.

И вдруг добрая медсестра сжалилась надо мной, дала мне белый халат, шапочку и марлевую маску и ввела в детскую кормить. Я села в угол кормить моего дорогого ребенка, он тут же успокоился, а я стала разглядывать детскую. Это была белая, чистая комнатка с четырьмя отделениями, в каждом из которых стояло по кроватке, по числу коек во взрослой палате.

Все кровати пустовали – у новой пришелицы с температурой еще никто не родился, и только под стеной стоял инкубатор, мощное сооружение, накрытое прозрачным колпаком, и в инкубаторе лежало маленькое дитя, тихо спало, смеживши глазки, совсем как большое. Я кормила своего, любила своего, но дикая жалость к чужому существу вдруг пронзила меня.

Это явно была девочка, аккуратные ушки, спокойное, милое лицо величиной с некрупное яблоко – мальчишки рождаются аляповатыми, я уже нагляделась, и только девочки появляются на свет в таком аккуратном, изящном виде.

У вошедшей сестры я спросила: «Девочка?» – и она кивнула и с любовью сказала: «Она у нас уже из пипетки пьет».

Я вернулась в палату, пошли часы кормлений, на следующий день мы с ребенком вымелись из этой больницы прочь, на волю, а меня все мучает вопрос: а не дочь ли тети Пани лежала там, в инкубаторе? Ведь это была детская нашей палаты, и доктор Володя почему так тянул с тетей Паней – уж не хотел ли этот мученик науки дорастить ребенка хотя бы до семи месяцев, до правильного развития?

Все эти вопросы терзают меня, забивают мне голову, и жалкая тетя Паня в который раз на моих глазах пробирается по стеночке, тренируется, чтобы идти домой, и все видится мне доктор Володя, положивший ей руку на лоб, но как не вяжется тетя Паня с тем существом,

которое так мирно спало тогда под крышкой инкубатора, завернутое в розовую пеленку, так тихо дышало, закрыв глаза, и так пронизывало все сердца, кроме бедного сердца тети Пани, сторожихи и инвалида.

Милая дама

История была весьма и весьма плачевной как с точки зрения того, каков был состав действующих в этой истории лиц, так и с точки зрения того, насколько эта история была банальна, и оттого странным могло бы показаться, что она все-таки повторилась и разыгралась как по нотам, от смехотворного ловушечного, ничем не подозрительного начала и до конца, в котором было буквально все как бы заранее предусмотрено – и отчаянные взгляды, и как будто бы невинные рукопожатия, с той только особенностью, что последний отчаянный взгляд послал не кто иной, как человек шестидесяти с лишком лет, и послал он его из окошка такси, широко улыбаясь и помахивая рукой в адрес остающихся, а среди остающихся находилась молодая женщина, двадцати с чем-то лет, и именно ей и была послана отчаянная, оскаленная улыбка откуда-то снизу, с сиденья машины, уже наглухо запертой и готовой отъехать.

Таким образом, оба героя нашей истории уже внешне очерчены, и этого достаточно, поскольку ничто не играло в этой истории такой роли, как именно разница в возрасте, тем более что по всем другим статьям они подходили друг другу как нельзя лучше, и в иных обстоятельствах, при других возрастных соотношениях, у них мог бы получиться классический роман с участием многих действующих лиц – ее мужа, например, или немолодой жены нашего героя, и, возможно, получилась бы трагедия и мало ли что еще. Однако, как это принято говорить, она несколько опоздала родиться, то есть Земля и звезды повернулись непоправимое число раз, прежде чем она соизволила явиться на свет, а он уже давно тут пребывал. Никакими другими, никакими другими причинами, кроме этих нескольких оборотов Земли и звезд, нельзя объяснить, почему он так отчаянно скалился, сидя внизу в такси и готовясь отбыть навсегда, навеки, и повторяя, что зачем же так прощаться, если послезавтра он снова будет тут, вернется, у него тут, на даче, всякие дела.

Впрочем, возможно, что и он строил какие-то свои радужные планы и что-то вымерял и высчитывал, выкраивал какое-то время на дальнейшее, чтобы продолжать вести эти беспредметные разговоры со своей избранницей, со своей милой дамой, которая теперь оставалась на даче доживать неделю ради маленького ребенка – и несколько раз кивнула головой в ответ на его слова о скором возвращении, кивнула головой в беспечной уверенности, что так оно и будет.

Возможно, что и он в этом был уверен, когда уезжал, наглухо запертый в машине, – и возможно, что этому его возвращению помешали отнюдь не высшие соображения о бесплодных круговращениях Земли и звезд в те времена, когда он жил без нее, без своей милой дамы, поскольку ее даже не было на свете, и отнюдь не соображения, что теперь все карты спутаны этим ее поздним приходом на Землю, излишне, чрезмерно поздним. Возможно, что он о таких материях даже не помышлял и думал только о своих запутанных делах, которые ему предстояли в городе, где начиналась суровая повседневная жизнь, отличная от беспечных каникул на даче, от всех этих бесед при свете солнца и прогулок при ночных туманах. И весьма возможно, что городские дела поглотили его без остатка, когда он после сладкого дачного воздуха нырнул в атмосферу города, сидя на заднем сиденье обшарпанного низкого такси.

Однако может быть и так, что и высшие соображения обрушились на него, как только он сел, погрузился на низкое сиденье такси и оттуда, снизу, из-под крыши, стал делать ответственные знаки рукой и улыбаться своей милой даме.

Вместе с ним уезжала и его жена, и она тоже улыбалась, отчаянно оскалившись при этом, и это у них с мужем оказалась совершенно одинаковая улыбка, которая, в частности, возникла на лице жены сразу же, как только муж представил ей свою милую даму, соседку по даче и спутницу прогулок. Жена, правда, приехала внезапно, нагрянула как снег на голову, хотя ей ничто не угрожало, но она приехала, совершенно ни за чем, взяла отгул на работе и приехала без повода и причины. Они провели вместе, втроем, десять-пятнадцать минут, причем, разумеется, вначале наступило некоторое замешательство, поскольку жена с отчаянной улыбкой смотрела на милую даму и наконец сказала, что прикидывает в уме разницу в возрасте. «Небольшая», – пошутила милая дама, и разговор потек дальше, безумный разговор о каких-то супах, которые муж вынужден был здесь есть, и о синтетических супах вообще. Жена, вероятно, чрезвычайно волновалась во время этого разговора, и вдруг в разговоре наступила пауза, однако присутствовавшая тут же хозяйка дома повела с этой женой отдельную беседу, и наконец те другие двое получили возможность поговорить еще раз, в последний раз, на сей раз в таком опасном окружении. И они стали говорить о каких-то пустяках, буквально перебивая друг друга и действительно забыв обо всем на свете.

А затем пришла машина, заказанная заранее, и все кончилось, и исчезла проблема слишком позднего появления на Земле ее и слишком раннего его – и все исчезло, пропало в круговороте звезд, словно ничего и не было.

Темная судьба

Вот кто она была: незамужняя женщина тридцати с гаком лет, и она уговорила, умолила свою мать уехать на ночь куда угодно, и мать, как это ни странно, покорилась и куда-то делась, и она привела, что называется, домой мужика. Он был уже старый, плешивый, полный, имел какие-то запутанные отношения с женой и мамой, то жил, то не жил, то там, то здесь, брюзжал и был недоволен своей ситуацией на службе, хотя иногда самоуверенно восклицал, что будет, как ты думаешь, завлабом. Как ты думаешь, буду я завлабом? Так восклицал он, наивный мальчик сорока двух лет, конченный человек, отягченный семьей, растущей дочерью, которая выросла ни с того ни с сего большой бабой в четырнадцать лет и довольна собой, в то время как уже девки во дворе ее собирались побить за одного парня, и так далее. Он шел на приключение как-то очень деловито, по дороге они остановились и купили торт, он был известен на работе как любитель пирожных, вина, еды, хороших сигарет, на всех банкетах он жрал и жрал, а виной всему был его диабет и непреходящая жажда еды и жидкости, все то, что и мешало и помешало ему в его карьере. Неприятный внешний вид, и всё. Расстегнутая куртка, расстегнутый воротник, бледная безволосая грудь. Перхоть на плечах, плешь. Очки с толстыми стеклами. Вот какое сокровище вела к себе в однокомнатную квартиру эта женщина, решившая раз и навсегда покончить с одиночеством и со всем этим делом, но не деловито, а с черным отчаянием в душе, внешне проявившимся как большая человеческая любовь, то есть претензиями, упреками, уговорами сказать, что любит, на что он говорил: «Да, да, я согласен». В общем, ничего хорошего не было в том, как шли, как пришли, как она тряслась, поворачивая ключ в замке, тряслась насчет матери, но все обошлось. Поставили чайник, откупорили вино, нарезали торт, съели часть, выпили вино. Он развалился в кресле и посматривал на торт, не съесть ли еще, но живот не пускал. Он смотрел и смотрел, наконец взял пальцами зеленую розу из середины, донес до рта благополучно, съел, оближал щепоть языком, как собака.

Потом посмотрел на часы, снял часы, положил на стул, снял с себя все до белья. Неожиданно очень белое оказалось белье, чистый и ухоженный толстый ребенок, он сидел в майке и трусиках на краю тахты, снимал носки, вытер носками ступни. Снял очки наконец. Лег рядом с ней на чистую, белую постель, сделал свое дело, потом они поговорили, и он стал

прощаться, опять твердил: как ты думаешь, будет он завлабом? На пороге, уже одетый, заболтался, вернулся, сел к торту и съел с ножа опять большой кусок.

Она даже не пошла его провожать, а он, кажется, даже этого не заметил, приветливо и по-доброму чмокнул ее в лоб, подхватил свой портфель, пересчитал деньги на пороге, ахнул, попросил разменять трешку, ответа не получил и пошел себе со своим толстым животом, детским разумом и запахом чистого, ухоженного чужого тела, совершенно даже не подумав, что тут ему дан от ворот поворот на веки вечные, что он проиграл, прошляпил, ничего ему больше тут не выгорит. Он этого не понял, ссыпался вниз на лифте вместе со своей мелочью, трешками и носовым платком.

По счастью, они работали не вместе, в разных корпусах, она на следующий день не пошла в их общую столовую, а проторчала за своим столом весь обеденный перерыв. Вечером предстояла встреча с матерью, вечером начиналась опять та, настоящая жизнь, и неожиданно для себя эта женщина вдруг заявила своей сослуживице: «Ну как, ты нашла уже себе хахалю?» – «Нет», – ответила эта сослуживица стесненно, поскольку ее недавно бросил муж и она переживала свой позор в одиночку: никого из подруг не пускала в опустевшую квартиру и никого ни о чем не уведомляла. «Нет, а ты?» – спросила сослуживица. «Я – да», – ответила она со слезами счастья и вдруг поняла, что попалась бесповоротно, на те же веки вечные, что будет теперь ее трясти, ломать, что она будет торчать у телефонов-автоматов, не зная, куда звонить, жене или матери или на службу: у ее суженого был ненормированный рабочий день, так что его свободно могло не быть ни там, ни здесь. Вот что ее ожидало, и ее ожидал еще позор как то лицо, которое все бесплодно звонит ему по телефону все одним и тем же голосом в добавление к тем голосам, которые уже до того бесплодно звонили этому ускользающему человеку, наверное, предмету любви многих женщин, испуганно бегавшему ото всех и, наверное, всех спрашивающему все одно и то же все в тех же ситуациях: будет ли он завлабом?

Все было понятно в его случае, суженый был прозрачен, глуп, не тонок, а ее впереди ждала темная судьба, а на глазах стояли слезы счастья.

По дороге бога Эроса

Маленькая пухлая немолодая женщина, обремененная заботами, ушедшая в свое тело как в раковину, именно ушедшая решительно и самостоятельно и очень рано, как только ее дочери начали выходить замуж, – так вот, рано располневшая немолодая женщина однажды вечером долго не уходила с работы, а когда ушла, то двинулась не по привычному маршруту, а по дороге бога Эроса, на первый случай по дороге к своей сослуживице, женщине тоже не особенно молодой, но яростно сопротивлявшейся возрасту, – или она была таковой по природе, вечно юной, как она выражалась, «у меня греческая щитовидка», и всё.

Вечно молодая сослуживица праздновала день рождения и ни с того ни с сего пригласила к себе эту Пульхерию (как они на работе называли ее по имени гоголевского персонажа, верной пожилой жены своего мужа), а могли бы ее называть также и Бавкидой по заложенным в нее природой данным быть верной, бессловесной, твердой как камень и преданной женой, но Господь Бог судил иначе, и Пульхерия осталась очень рано в единственном числе с двумя дочерьми. Она-то была верной, но этого для жизни мало, как выяснилось, и у ее мужа завелась после санатория знакомая, были звонки, даже угрозы, что кто-то «примет газ» и так далее, а затем Пульхерия, как известно, осталась одна и мгновенно, как только младшая дочь вышла замуж и забеременела, она тоже как бы забеременела ожиданием, ушла в себя, спряталась в свое пухлое маленькое тело, в щеки, спрятала глаза, когда-то большие и, судя по фотографиям, прекрасные (одну из таких фотографий Пульхерия как-то нашла на своем пороге с выколотыми зрачками, понятно чьи дела), – но прежде всего Пульхерия

спрятала душу, бессмертную душу юного гения, каким его рисуют – с крыльями, бесплотного, с кудрями и сверкающими лаской и слезой глазами. Все это Пульхерия быстро спрятала, быстро обросла брэнной плотью, кудри обвисли. Но этот гений добра не исчез, как мы увидим дальше, и иногда сверкал в ней, подобно озарению. На работе она так болела за свое маленькое порученное ей судьбой дело, что в буквальном смысле болела, когда, к примеру, назначили некомпетентную начальницу, злобную и никчемную, которая уничтожала все предыдущее и накопленное со злорадством беса, перекроила уже приготовленную к отправке выставку, заставила писать новые тексты, и вот тут Пульхерия и ее молодая еще ровесница Оля спелись и сдружились.

Люди быстро объединяются на почве общего негодования, забыв все свои взаимные чувства, и ничего хорошего из этого, как правило, не возникает. Так вышло и в нашем случае. Сухая и самолюбивая Оля возненавидела начальницу люто, вся жизнь Оли была в работе, поскольку дома у нее происходили какие-то неурядицы и проживал тяжелобольной муж, поэтому были регулярные поездки к нему в больницу и мучения с ним дома, затем имелся сын, который быстро женился и хотел привести прямо в дом к маме какую-то ловкую бабу старше себя, и Оля потемнела лицом на глазах у сослуживцев, но потом все-таки она поселила парочку у новоявленной жены в тесной комнатке плюс родился ребенок, а у Оли с мужем были хоромы.

Вот в эти хоромы Пульхерия и поплыла по житейскому морю, предварительно поручив на один вечер все дела дочери, но болея душой за нее, как она справится с малышом одна, оставшись со своим суровым, но бестолковым юным мужем.

Пульхерия, таким образом, оттолкнулась от житейского берега и взмахнула веслами, чтобы уже никогда больше не возвращаться в прежнюю жизнь. Все произошло так мгновенно и все так переменялось, что уже назавтра Пульхерия не помнила ни себя, ни, страшно сказать, свою семью, она как бы впала в сон, а некоторые считали, что она слегка повредила в разуме, например та же Оля.

Итак, приехав на место, Пульхерия сразу затерялась, засунула свое брэнное пухлое тельце в какой-то угол и там затихла, наблюдая утомленными, заплывшими глазами за хлопотами и приготовлениями Оли, не такой скорбно-значительной, как всегда на работе, а простой и домашней, в кружевном старинном фартучке. Оля была очень мила, ей помогали какие-то женщины-подруги с прическами, а в большой комнате (сколько комнат было вообще, Пульхерия не посмотрела) курили у телевизора мужчины – для Пульхерии этот высший свет, этот шикарный мир людей со свободным временем не существовал, и Пульхерия даже и не подумала предложить свою помощь, она просто сидела и отдыхала в кои-то веки.

Пульхерия очень хорошо и с некоторой неловкостью всегда понимала истинные побуждения людей, и в этом случае она тоже понимала, что Оля хочет окончательно подавить ее, Пульхерию, своим великолепием и затем с ней, подавленной, выступить единым фронтом, три человека в отделе, пойти в наступление на начальницу, скинуть ее и затем заступить на это место самой.

Пульхерия с досадой думала о своей всегдашней мягкотелости и уступчивости, что поехала в эти гости, где все чужое и малоинтересное, но у маленькой Пульхерии тоже весьма накопело на душе против начальницы, которая плевать хотела на огромную многолетнюю работу по обработке фондов и хотела все перевести на другие рельсы, на рельсы самоокупаемости, в том числе в русло пикантных разоблачений кто с кем жил и какие есть письма и доносы.

Начальницу быстро называли «Шахиня» и поняли, что она хочет на чужих плечах сделать докторскую, для того она и въехала сюда на плечах мужа, замдиректора родственного НИИ, а он взял на работу кого-то из детей их директора, тоже порядочного проходимца,

похожего на артиста в роли архиерея. Всё всем было известно и всех брала тоска, но что делать!

Таким образом, Пульхерия сидела в гостях тихо и безучастно, выключившись полностью, отдыхая от своих бесконечных трудов, уйдя в свою личину толстенкой тихой бабушки и чуть ли не древней старушки – притом что Пульхерия была старше Оли всего на два месяца. Однако заметим, для будущего это важно, – Пульхерия расценивала свою внешность как несуществующую и знала про себя, что настанет момент, и она из куколки, из кокона обратится обратно в бабочку. Она как бы играла сама с собой в старость в том возрасте, когда другие еще очень и очень возрождаются и поддерживают в себе тонус, – и сама не знала, что оттуда уже нет выхода таким как она. Оле был выход, а ей – нет.

Тем не менее Пульхерия иронически приглядывалась к Олиной вечной молодости и расценивала все ее гимнастики, диеты, корты и лыжи как легкий сдвиг. Пульхерия к себе относилась легкомысленно, а Оля даже сделала небольшую косметическую операцию за ушами и стала еще моложе, а во рту у нее полыхал голубоватый фарфор, но Пульхерия стеснялась смотреть на Олю в ее затянутое лицо выше уровня рта. Она, что называется, смотрела Оле «в рот», что Оля принимала за ее приниженность.

Оля вся была как на ладони, а Пульхерия носила в своей душе маленького, но крепкого и иронического ангела-спасителя, который всё про всех понимал, и Пульхерия в ответ на все иронические замечания Камиллы, третьей сотрудницы, молодой женщины божьего типа из художественной среды, вечно в свитере, джинсах, кольцах и браслетах, – в ответ на ее иронию в адрес молодящейся Оли Пульхерия только вздыхала. А Оля решила полностью опереться на приниженную Пульхерию и именно ее пригласила в гости в дом на день рождения, а Камиллу инстинктивно оставила без внимания, поскольку Камилла на работе томила, начальнице грубила и просто так бы поддержала любое деструктивное, то есть разрушительное, начинание в адрес существующего положения вещей. Камилла могла бы, кстати, и не пойти в гости к старому бабью, да и Оля могла опасаться ее подлинной без натяжки юности. Так что оставалась безопасная Пульхерия, а у Камиллы были другие мечты и другие дела, и на этом мы ее оставим. Камилла тоже была не просто так с улицы взята на работу, у нее имелись непростые родственники.

Пульхерия сидела сиднем, потом стронулась с места как все, будучи приглашенной к столу, села и расплылась, растаяла, как бы не существовала уже, вела скромную и тихую, как обычно, жизнь, что-то попивала, ела салаты, пока вдруг не поняла, что рядом спрашивают, как ее зовут. Это был мужчина, сидевший справа. Пульхерия ответила, завязался разговор, речь шла о том ученом, архивом которого много лет занималась Пульхерия. Ученый был уже разоблачен, свергнут, забыт и упоминался только в юмористическом и разоблачительном плане, а Пульхерия знала всю его жизнь и все его взаимоотношения с великими мира сего, любила его, как энтомолог любит особую разновидность, допустим, мелкого жучка, признанного вредоносным, но открытого собственноручно. Поэтому она возражала, как ей казалось, обывательскому тону в вопросах этого соседа и тихо и немногословно отвергла общепринятую точку зрения. У вредного старца была надежная защита в лице кроткой Пульхерии!

Сосед начал ниспровергать и горячиться, а она не стала продолжать разговор, снисходительно помалкивая. Сосед приводил общепринятые и истасканные факты, давно обнародованные, а Пульхерия знала многое другое, но, как специалист, не снисходила до спора с невеждой, а только вздыхала. Один раз она поправила его, и он с изумлением посмотрел на Пульхерию, настолько изящным и точным было ее возражение. Пульхерия тоже впервые посмотрела на своего соседа и увидела как в тумане красноватое худое лицо, седые всклокоченные волосы, недостаток одного зуба впереди и воспаленные, часто моргающие, очень

светлые глаза. Пульхерия увидела, однако, не совсем то, а увидела мальчика, увидела ушедшее в высокие миры существо, прикрывшееся для виду седой гривой и красной кожей.

Сосед глядел на Пульхерию и мягко улыбался. Он, видимо, вообще улыбался всегда, есть такие люди с определенной мимикой, они всегда улыбаются и в этом их обаяние, но улыбка эта не означает ровным счетом ничего, и многие люди ошибаются, приняв ее на свой счет. Сосед, однако, улыбался Пульхерии как восхищенный ее разумом, покоренный соседник, и Пульхерия тут же полюбила его жалостливой, щемящей любовью, такой получился результат.

То есть она сама еще не знала этого, а просто как бы освободилась, расцвела, и ее гений послал сияющий луч доброты в адрес соседа справа, и дело было завершено. Пульхерия тихо и со вздохами, но твердо и обоснованно рассказала о предмете своих исследований – то, чего она никому бы не рассказывала, но важен был не предмет, а сущность разговора. Сущность же была в том, что эти двое нашли друг друга за пиршественным столом, где вино лилось рекой и дым стоял коромыслом, а хозяйка, раскрасневшись до лилового румянца на своей новенькой коже, необыкновенно похорошев и подобрев, бегала из кухни в комнату, но на одном из своих путей она, приостановившись и принагнувшись, сказала соседу Пульхерии что-то громко на ухо. Громко и на ухо в основном говорят обидные, язвительные вещи, рассчитанные на чужой слух и на оскорбление адресата, но Пульхерия не поняла ничего, и Оля удалилась, а беседа продолжалась. Сосед затем проводил засобиравшуюся Пульхерию до двери и вдруг заторопился, надел зимние сапоги (он был почему-то в домашних тапках), оделся и пошел провожать Пульхерию вон из дому. Они отправились по морозцу пешком до метро, и Пульхерия не стеснялась ни своего легкого старого пальтеца с висящими кое-где нитками, ни своей шапки, бывшей меховой, еще со времен молодости. Кудри Пульхерии обрамляли ее милое пухлое лицо, глаза раскрылись, румянец проступил на бледных щеках, короче говоря, ее гений, ее ангел-хранитель вознесся сквозь толщу плоти, уже готовый к старости.

Пульхерия была доведена до метро, затем до вагона, затем провожатый влез вместе с ней в поезд и еще долго вел Пульхерию до самого ее дома, до подъезда, где прощание было церемонным и галантным, так как Пульхерии была поцелована ее пухлая маленькая рука, кстати, очень красивая. Ни о каком номере телефона и речи не было, Пульхерия даже не узнала имени своего любимого человека и так, согбенно и скромно, скрылась во тьме подъезда, ни о чем не думая.

Однако червь отчаяния начал глотать ее уже ночью. Пульхерия знала себя и знала, что не спросит никакую Олю о том, кто это был этот сосед справа. На работе Оля вела себя обычно, все силы занял у нее очередной конфликт с начальницей, которая, сидя в той же комнате что и Оля, попросила Олю достать ей из шкафа нужную папку. Оля вспылила и предложила начальнице самой прогуляться до шкафа, и завязался свистящий разговор о перечне служебных обязанностей.

Пульхерия из соседней проходной комнатухи, где она обреталась в архивной пыли и не спеша обрабатывала очередную папку писем, слышала всю беседу соперниц, но – удивительно – она настолько была занята своими мечтаниями и мыслями о Неизвестном, что все это пролетело мимо нее. И на обеденном перерыве, стоя в очереди, она слышала, как Оля, вся кипя, с мнимым юмором рассказывала кому-то инцидент, поправляя его довольно грубо в свою пользу, но Пульхерия, опять-таки равнодушно, пропустила это мимо ушей. Оля тоже как бы сторонилась Пульхерии, не пригласила ее как обычно идти в столовую вместе, а пролетела словно фурия, не глядя по сторонам. То ли она не одобряла все, что произошло вчера, то ли равнодушие Пульхерии дало о себе знать – ведь иногда, Пульхерия это давно заметила, ты думаешь, что к тебе начали относиться плохо, а на самом деле просто это ты уже плохо начал думать о человеке. Все люди внутри остались животными и без слов чув-

ствуют всё, что происходит, ни одно душевное движение не остается без ответа, и более всего равнодушие.

Равнодушная Пульхерия, однако, отстояв очередь до кассы, к своему удивлению, двинулась с подносом к столику, за которым уже сидела взбешенная Оля совершенно одна. Пульхерия твердо решила ни о чем не спрашивать Олю и спросила:

– Ну как вы вчера?

– Что вчера? – резко ответила Оля.

– Я ушла раньше...

– А, какое кому дело до мытья посуды, – едко ответила Оля. – Нет, вы видели эту хамку, она меня просила написать объяснительную записку. Кто она? Жена она, и всё! Она же жена этого идиота, друга нашего идиота! А знаешь какая у нее была диссертация? Особенно-сти морфологии суффиксов ачк-ячк и ушк-юшк! Ушки-юшки! И идет после этого без стыда работать к нам!

Оля еще долго говорила, что у нее тоже есть связи со времен института, такие связи, что боже мой. В президиуме, сказала Оля своим свистящим голосом, так что за соседними столами явно слышали. И что ей стоит только позвонить. Что ее мужа тоже ценят и уважают как математика, и неважно, чей муж где работает и что один болен, а другой здоров как бугай, но полное ничто как ученый. Важно как кого уважают! И когда муж болен, слышали бы вы, какие люди звонят и спрашивают, как он чувствует!

– А что с ним? – неожиданно для себя спросила Пульхерия, чтобы только перевести разговор поближе к своей теме, к событиям в доме Оли, к своему Неизвестному.

– Не спрашивай, – ответила Оля. – Шизофрения. Вот так!

Пульхерия должна была бы страшно пожалеть бедную Олю, от всей души, с содрогнувшимся сердцем, но она почему-то осталась вполне спокойной.

– Я этим диагнозам не доверяю, – сказала Пульхерия.

– И он старше меня на десяток добрый лет, я не знала и вышла замуж.

– А ты не верь.

– И выяснилось недавно, что это уже давно. Все желудок, желудок, худел, все ссорился на работе. Вроде бы ему не дают заниматься прямым делом. Зарезали докторскую.

– И что же в этом ненормального? – спокойно сказала Пульхерия. – Это обычно.

– Он так бил кулаком в больнице по стене, все думали от боли, а потом стали спрашивать меня, я все рассказала. Говорят: как хорошо, что вы пришли, он все звал вас, пусть придет Аня. Аня, представляешь?

– Аня? – спросила сбита с толку Пульхерия. Она еще не понимала, что вся ее последующая жизнь обрисована была Олей в этом разговоре. Пульхерия ничего не понимала, но слушала прилежно, с бьющимся сердцем. Оля явно что-то ей хотела сообщить, что-то внушить.

– Сказали: он все звал вас, позовите Аню, позовите Аню!

– Аню?..

– А сам никому не нужен, кроме меня. Хорошо у нас в отделе я не дала ему телефон, а на той работе звонил по десять раз в день. Ревнует. Сумасшедший.

– А как же ты? – сказала Пульхерия вполне бессмысленно.

– А вот так. Хорошо еще, что он в постели пока слава богу, а то бы я вообще повесилась. Ты рассмотрела, какие у меня гости были мужики?

Пульхерия не ответила, только воззрилась на Олю, ничего не понимая.

Оля сказала:

– Какие мужики, и все мои любовники, я их всех собрала с женами, жены тоже все мои подруги. Что-то же надо делать с начальницей!

Ошеломленная Пульхерия заткнулась на этом, вопросов больше не задавала, Оля отвлеклась на новый рассказ о событии, а Пульхерия пила компот, неожиданно для себя ощущая жар в щеках.

Мыслей о разговоре с Олей хватило Пульхерии на всю вторую половину рабочего дня, Пульхерия должна была честно признать, что есть какая-то область жизни, совершенно непонятная, но именно там на пороге могут лежать фотографии с проколотыми глазами. Эти соображения перемежались у Пульхерии волнами страшной тоски. Внешне же это выглядело так, что Пульхерия углубилась в чтение все одного и того же пыльного старинного письма.

Тем же вечером, возвращаясь с работы с тяжелыми сумками, Пульхерия увидела у подъезда в сумерках фигуру с непокрытой седой головой. Как само собой разумеющееся, возникло перед ней то, о чем она тосковала все последние сутки, и теперь душа Пульхерии успокоилась. Она повела гостя к себе в квартиру, где на кухне сушились пеленки, в большой комнате у молодых была тишина, то ли они гуляли с ребенком, то ли спали все вдвоем перед бессонной ночью: ребенок часто плакал между тремя и пятью утра. Пульхерия завела гостя к себе в маленькую комнату, где было чисто и просто, диванчик (Пульхерия смотрела на все новыми глазами, как бы со стороны), круглый столик еще бабушки, кресло – все рухлядь и старье, но старье старинное, в том числе два маленьких книжных шкафа и старые книги в них. Гость сразу стал рыться в книгах, Пульхерия принесла чай и жареную картошку с кухни, поели в молчании, потому что гость весь ушел в книгу, потом он сказал, что ему пора, и удалился. Пульхерия, не прикоснувшись к нему рукой в этом тесном пространстве, после его ухода взяла книгу, которую он смотрел, и прижала ее к груди, закрывши глаза. Так она сидела в полной прострации, пока не загремело на лестнице, это молодые, везя коляску, ворвались в квартиру с шумом, громко разговаривая, забегали, затопали, полилась вода в ванной, закричал ребеночек, а Пульхерия сидела, не в силах выйти из комнаты, и думала, что хорошо, что их не было дома, – и думала, что же это с ней происходит!

Теперь каждый вечер она семенила домой, на работе сидела как во сне и как во сне бывала дома, делала все то же, то есть стирала, убирала, готовила, бегала по магазинам, но все в полной отключке, потому что каждый вечер приходил Он – то на час, то на пятнадцать минут, сидел, что-то говорил, приносил все время одни и те же пирожные «картошка», они ели, пили чай, он читал ей иногда вслух, иногда писал в тетрадке цифры типа формул, потом исчезал. Пульхерия сильно похудела, все вещички с нее сваливались, она почти ничего не ела, с работы старалась улепетнуть как можно быстрее и незаметней. Еще большую роль играло то, что Пульхерия жила сравнительно недалеко от работы – она как будто придавала огромное значение тому, что именно в назначенное время, минута в минуту он должен был появиться, и пропустить это время было нельзя. Молодежь очень быстро привыкла к гостю, его не стеснялись, хотя и никаких бесед не происходило, только здоровались и прощались, если он попадался им на своем целеустремленном пути, а вид у него был именно целеустремленный, такой же как у Пульхерии, когда она торопилась домой.

На работе Пульхерия очень много трудилась, почти не поднимая головы, и Оля к ней быстро охладела, тем более что она внезапно как бы набралась сил (какие-то результаты закулисных переговоров), объединилась вдруг с начальницей, и они обе совместно стали выживать с работы молодую Камиллу, которая действительно и опаздывала, и брала часто бюллетень, и грубила, хотя работа ее продвигалась, статью она написала, и очень дельную. Но все разрешилось на том, что Камилла, как выяснилось, уйти с работы не имела права, она, это выяснилось, ждала ребенка, муж привозил ее на машине и раньше времени увозил. Результат был такой, что начальница и Оля еще при наличии Камиллы начали активно искать ей замену прямо в ее присутствии, и Камилла грубила им обоим еще с большим чувством, но пухла и увеличивалась на глазах и уже с трудом таскала ноги. Кто-то им всегда был нужен

как предмет борьбы, и хорошо, что это была Камилла, однако Пульхерия чувствовала, что недалек и ее час. По институту прошел слух, что у Пульхерии не все в порядке с головой: Пульхерия явно опаздывала со сдачей в срок ежегодного листажа, на обед не ходила, а бегала по магазинам. Никто не знал, что все ее время занимает Он, каждый вечер к ней приходил ее Каменный гость и неслышно сидел как камень, и не могла же она при нем писать свои труды! Она и делала это по ночам, а утром тащилась на работу, ничего не успевая, и там сидела сиднем и что-то корябала на своих карточках, не видя в своих занятиях смысла.

Дело разрешилось на том, что спустя два месяца такой жизни ее гость пропал. Проживши три ужасных дня, Пульхерия опять пошла обедать в институтскую столовую и села за столик, где восседали начальница и Оля. Они-то встретили ее радушно, посоветовали обратиться к хорошему врачу (Оля вызвалась даже устроить консультацию), начальница похвалила статью Пульхерии, наконец-то сданную, Оля похвалила Пульхерину фигурку («у тебя что, диета»), и затем они продолжили свой разговор, от которого Пульхерия оцепенела.

– Значит, завтра до обеда меня не будет, – сказала Оля значительно.

– Как скажет ваша милость, – сказала начальница шутливо. – Можешь быть уверена.

– Положили в беспокойное отделение, – сказала Оля. – Это буйное отделение. Там его убить запросто могут. Да те же санитары. Надо переводить его во второе, как обычно. Там его знают, там его любят. А то в этом беспокойном его заколют совсем, вообще больным придет дебилом или импотентом.

Начальница при этом сделала рот как для поцелуя и пошлепала сочувственно губами:

– В буйном да, сделают.

– А очень просто, – сказала Оля. – Я когда вызвала психоперевозку, он начал скандальничать, не шел, а от этого зависит. На улице кричал громко «помогите!» и извивался. Санитары прямым ходом отвезли в беспокойное.

– Это кто? – спросила Пульхерия.

– Мой, – ответила Оля. Щеки у нее были сизо-алые. – Ведь что кричал? Что я его враг, додумался! Типичный бред. Кидался в окно, разбил стекло головой, весь порезался, все было залито кровью, еще кошка эта поганая пришла, я его держу, как Иван Грозный, а она лижет с пола... Веником выгнала, нализалась человеческой крови, как людоед!

– А с чего это началось? – спросила Пульхерия участливо. Сердце ее стучало.

– Опять начал пропадать из дома на сутки, на двое, возвращался ободранный... Голодный, грязный...

«Врет», – подумала лихорадочно Пульхерия.

– Еще что: ну как это у них, не спал, ни с кем не разговаривал, одичал... На работу, слава тебе господи, он вообще раз в неделю ходит... Одну статью в год пишет, они и рады... Одну статью, а они после этой статьи диссертации защищают... А он до сих пор кандидат... Конечно, он гений. Доморощенный. Я на работу, обратите на странности поведения, они отвечают, директор, спасибо, ему надо отдохнуть, дадим путевку... А он тут же бросается из окна головой в стекло... Я одна, я одна только знаю... Присосались к нему какие-то пиявки опять.

– Ну ты подумай, – вставила начальница.

– Не работал, ни одной формулы, я смотрела, обычно он исписывает пачками бумагу...

Пульхерия вспомнила, что Он иногда писал что-то в тетрадке. «Опять врет», – подумала она.

Оля вытирала со щек щедрые слезы, не обращая ни на кого внимания.

Пульхерия теперь все знала. Оставалось выяснить, в какой больнице он лежит.

Как-то все сразу соединилось, встало на свои места. Огонь горел в Пульхерии чуть выше желудка, как будто зажгли лампочку и именно на том месте, где обычно ухаёт, когда человек проваливается или видит чужую рану.

– Ничего, пройдет, – сказала она. – У меня брат лежал в Кашенко, ничего, выпустили.

– В Кашенко мы не лежали, – ответила Оля задумчиво. – Мы лежали в своей, там его знают с первого раза, с этой Ани начиная. Чуть не кирпич из стены выпал, так он бил по стене кулаком.

– Ничего, выйдет и опять все путем, – сказала начальница.

– Но сколько можно на одного человека! – воскликнула Оля. – Сколько можно! Эта его девушка, я имею в виду сына, опять она его подсылает разменять квартиру! Настрополила сына подавать в суд! Ему же говорят языком: она получит квартиру, которую мы тебе дадим, сами останемся на бобах с психически больным отцом, и она тебя сразу же погонит. Отдай сыну квартиру, не будет ни сына, ни квартиры!

И дальше потекла ее речь одинокого в своей огромной квартире человека, всех раскидавшего, безудержного, страстного и непобедимого.

Пульхерия сидела окаменев за этим столом над пустыми грязными тарелками.

– Главное, – продолжала Оля, – всегда находятся бабы, которые на него клюют. Вечно навещают его в больнице, носят ему домашние пирожки с капустой, передают бульоны, черта-дьявола. Я говорю нянечке: никаких передач, кроме меня, мало ли они ему намешают в тот бульон. Чтобы не тревожили его, не беспокоили. Слава богу, сейчас в больницах карантин, вообще никого не пускают из-за гриппа. Так только, передачи принимают или письма. Он ведь там, где его держат, он ничего не ест.

– Как моего брата, – сказала Пульхерия задумчиво. – Но его брали как диссидента, он голодовку объявил. Кормили через зонд.

– Уж не знаю, – раздраженно сказала Оля, – через что его там кормят. Врач сказала, что у шизофреников это такая форма самоизлечения, все эти голодовки. И не надо вмешиваться в организм. Но голодовка именно в буйном – это страшно. Они там не церемонятся, сразу пускают электрошок. Как через электрический стул проводят, только электрический стул это раз и навсегда, а тут повторяют.

Пульхерия держалась изо всех сил, она понимала, что Оля вызывает ее на реакцию, что Оля за ней наблюдает, как за подопытным животным.

На этом обед завершился, Пульхерия вернулась за свой стол в проходную комнату, теперь кончились, как ни странно, ее страдания на протяжении всех этих трех суток, проведенных абсолютно без сна, теперь начались только его страдания, его жизнь там, в тюрьме, его одиночество в толпе буйных зверей. Страдания брошенной женщины превратились в страдания насильно разлученной женщины, а это разные вещи, как разные вещи горе вдовы и горе покинутой, подумала Пульхерия, наблюдая за собой. Лихорадка, знакомое еще со времен проколотых фотографий чувство, оставила ее. Пульхерия даже с некоторым торжеством думала о покинутой Оле, о победительнице, не нужной никому.

– И если бы не мои любовники, я бы вообще повесилась, – сказала Оля, входя последней в отдел.

– Ой, не говори, – откликнулась из комнаты начальница Шахиня. – Иной раз любой хорош.

– Нет, я этим брезгую, у меня люди преданные, семейные, я всех собираю на день рождения и на всех смотрю.

Так сказала Оля, задерживаясь за стулом Пульхерии.

Так она пыталась уменьшить победу Пульхерии, и Пульхерия все поняла и осталась спокойна.

Она размышляла. Тоска еще не захлестнула ее, не накрыла с головой, Пульхерия отдыхала после смертельного ужаса, и волны любви и преданности носили ее над этим грязным полом, над стулом, над столом, голова кружилась, Пульхерия как бы шептала что-то о своей любви над пыльными письмами, старалась послать всеми силами Ему поддержку.

Когда-то Его страдания должны будут кончиться, надо будет Ему помочь, надо будет действовать с предельной осторожностью, передать весточку: надо будет жить, все рассчитав, до полной победы, до освобождения, до свободы, хотя опыт Пульхерии с ее братом-диссидентом подсказывал, что все очень непросто, и яростным усилием освободить человека это еще не все. И дело не в формальностях, не в правах человека, грубо нарушенных и потому легко восстановимых. Стронуть человека с его места, даже с такого места, это большой риск, думала пока что спокойно, как шахматист в начале партии, Пульхерия. Нельзя трогать человека, думала Пульхерия, нельзя, нельзя, он все должен сделать сам. Все, кто до сих пор его освобождали, все эти переносчицы пирожков и бульонов, ушли в тень, исчезли, а Пульхерия знала, что должна остаться в его жизни – остаться верной, преданной, смиренной, жалкой и слабенькой немолодой женой, Бавкидой.

Пульхерия за одну секунду превратилась в какого-то полководца, знающего силу отступления, ухода в тень, силу молчания. Надо будет ждать. Он вернется, думала Пульхерия. Он сам прорвет эти цепи. Он сильный. И слишком велико беззаконие, ему помогут. Ему поможет сын. Победа придет, но без меня. О ужас, ужас, подумала Пульхерия, не видеть его, ничего не знать.

– Ты не желаешь поехать со мной в больницу? – подошла сбоку к ней Оля. – Ты ведь за столом, помнишь, с ним сидела, вы так мило толковали, забыв прямо обо всех!

– Это был твой муж? – ровным голосом спросила Пульхерия.

– Ты что! Он ведь тебя поехал домой провожать, я ведь его попросила, помнишь? Перед чаем.

– Он проводил, да, до автобуса, – сказала Пульхерия, – я ведь откуда знала, что он больной. Я их боюсь после брата, я и брату в Америку редко пишу.

– Интересно, – сказала Оля и вся как-то затуманилась, выпрямилась, взор ее обратился вдаль, упершись в грязные обои над Пульхериным столом. – Интересно, какие бывают суки, приманивают больного человека.

– Я не приманивала, – холодно ответила Пульхерия, – он сам меня пошел провожать. Там пять минут ходьбы, автобус сразу подъехал, у меня и никаких подозрений не было, что он больной.

– Ну, поехали со мной? Лидочка нас отпустит. Мне одной страшно.

– Ты извини, у меня ведь внук...

– Так это в рабочее время!

– Ты извини, мне как-то неудобно, кто я такая.

– Да он меньше на меня орать будет при постороннем человеке, – сказала Оля.

– Ой, да я боюсь, – ответила Пульхерия и достала из ящика очередной пакет писем.

– Слушай, – как-то медленно заговорила Оля. – Ты не видела, в какую он потом сторону пошел?

– Откуда я видела, я не смотрела. И потом в автобусе стекла замерзли. И буду я проверять, зачем мне это!

– С кем-то он все это время жил. Со мной лично он не спал, – так же задумчиво сказала Оля.

– Ну, – отвечала на это Пульхерия довольно холодно, – это от меня не зависит. Он мне такого наговорил про деда, – Пульхерия показала на портрет объекта своих исследований, находящийся под стеклом в виде то ли Ворошилова, то ли Гитлера, с пучком волос под носом и в пенсне, как у Берии, такая была мода у руководителей той эпохи. – Он сказал, что я вообще работаю напрасно, гну спину.

– Это он умеет, оскорбить, унижить, задеть, – сказала Оля. – Это у него главное в личности. Он сам гений, все же остальные сямки. Это квартира, где проживает гений, все ему принадлежит, а нет! Вот нет! Это его инициатива разминивать квартиру, а ее дали на нас

всех! Мне сын сам проболтался, что он хотел сыну двухкомнатную квартиру, себе квартиру, а мне, как последней спице в колеснице, что останется. Но не вышло! Он психически больной и вообще недееспособный. А как сын-то разорвался кричал! Наследственность. Надо его показать психиатру. Отец, видите ли, всё ему подписал, все бумаги на размен квартиры! А я оформляю над отцом опеку, он ненормальный и недееспособный! И всё! Квартиру ему! Да не ему, а этой! (Она добавила еще слова.)

Неожиданно Пульхерия покраснела, но она сидела читала, и такая же раскрасневшаяся Оля стояла и не видела ее лица, не вглядывалась, ее несло как на крыльях, она проклинала, угрожала, сулила чертей, и все напрасно.

– А ты возьми с собой Лиду, Шахию, – сказала Пульхерия.

– Да хорошо, хорошо, никто мне не нужен, первый раз, что ли, – сказала выдохшись Оля и удалилась к себе.

Пульхерия, прошедшая с честью проверку Оли, продолжала корпеть над своими пыльными бумажками в тесноватой проходной комнате без окна, дело шло к марту, и Пульхерия работала в большой тоске. Она знала, что теперь надо только положиться на судьбу, набраться мужества и ждать терпеливо, скрываясь...

Ибо одно было то, что ничего не стоило вспугнуть Олю. Узнав правду, она способна была бы поджечь квартиру Пульхерии, убить мужа каким-нибудь легким способом – санитары в буйном отделении тоже люди, и сколько ни надейся, там могут найтись преступники и взяточники.

И второе было то, что Он, Каменный гость, мог уже забыть свою Бавкиду, свою Пульхерию, ибо любовь – это игра и ничего больше, она боится взаимности, привязчивости, преданности, боится платить долги и любит загадку и ложные пути.

Гость ценил недоговоренность, внезапность, свободу и нападал только из-за угла.

Возможно, в нынешних обстоятельствах ему было уже не до игры. Возможно, он и обвинял Пульхерию, проклинал эту нелепую пухлую старушку.

И Пульхерия залегла на дно, и единственно что с ней произошло – она побарахталась и тихо перебралась в другой отдел и на этом пути похудела, осунулась и каждый день, возвращаясь домой, чуть не теряла сознание.

И только в конце июня Пульхерия, поздно идя домой из библиотеки, увидела у подъезда на скамейке знакомую фигуру, сидящую в свободной позе нога на ногу, фигуру в сером, с седыми волосами.

Гость медленно встал, открыл перед ней дверь, Пульхерия прошла, позорно споткнувшись, – он поддержал ее под локоть, как даму, и повел к лифту.

Из цикла «Жизнь это театр»

Мост Ватерлоо

Ее уже все называли кто «бабуля», кто «мамаша», в транспорте и на улице.

В общем, она и была баба Оля для своих внуков, а дочь ее, взрослый географ в школе, полная, большая, все еще жила вместе с матерью, а муж дочери, ничтожный фотограф из ателье (неравный брак курортного происхождения), – муж этот то приходил, а то и не являлся.

Баба Оля сама жила без мужа давным-давно, он все уезжал в командировки, а затем вернулся, но не домой, плюнул, бросил все, имущество, костюмы, обувь и книги по кино; все осталось бабе Оле неизвестно зачем.

Они так и поникли вдвоем с дочерью и ничего не делали, чтобы вернуть ушельцу вещи, было больно куда-то звонить, кого-то искать и тем более с кем-то встречаться.

Папаша, видно, и сам не хотел, было, видимо, неудобно – счастливым молодоженом, имеющим маленького сына, являться за имуществом в квартиру, где гнездились его внуки и жена-бабушка.

Может быть, считала баба Оля, ТА его жена сказала: плюнь на все, что надо утром купим.

Может быть, она была богатая, в отличие от бабы Оли, которая привыкла к винегрету и постному маслу, ботинки покупала в ортопедической мастерской для бедных инвалидов, как бы детские, на шнурках и шире обычного: из-за шишек.

Облезлая была баба Оля, кроткий выпученный взгляд из-под очков, перья на головке, тучный стан, широкая нога.

Баба Оля была, однако, удивительно доброе существо, вечно о ком-то хлопотала, таскалась с сумками по всяким заплесневелым родственникам, шастала по больницам, даже могилки ездила приводить в порядок, причем одна.

Дочь ее географ в этом мамашу не поддерживала, хотя сама была готова расшибиться в лепешку для своих так называемых подруг, их кормила, их слушала, но не бабу Олю, отнюдь.

Короче, баба Оля легко улепетывала из дому, настряпав винегретов и нажарив дешевой рыбешки, а дочь-географ, малоподвижная, как многие семейные люди, зазывала подруг к себе, шло широкое обсуждение жизни с привлечением примеров из личной практики.

Муж географа обычно отсутствовал, этот муж из фотоателье привычно вел побочное существование при красном свете в фотолаборатории, и мало ли что у него там происходило, сама дочь-географ прошла когда-то через этот красный свет, вернувшись с курорта в обалделом виде, юная очкастая дылда с припухшими глазами и как будто замороженным ртом, а потом она и привела домой фотоработника (к тому же алиментщика и без жилья) к порядочной маме и тогда еще папе в их маленькую трехкомнатную профессорскую квартиру, дура.

Дело прошлое, много воды утекло, а баба Оля, оставшись и сама без ничего после ухода профессора, ни рабочего стажа, ни перспектив на пенсию и ни копейки в зубы, а также в проходной комнате (фотограф с географом быстро заняли изолированную после ухода отца, так называемый кабинет, раньше они с детьми жили в запроходной, теперь пошли на расширение, что способствует семейной жизни, а баба Оля как спала на диване в гостиной, так там и застряла), она теперь по своей новой профессии много топала и шлепала по лужам, будучи страховым агентом, колотилась у чужих дверей, просилась внутрь, оформляла на кухнях страховые полисы, вечно с пухлым портфелем, добрая; нос потный, зоб как у гуся-матери.

Некрасивая, болтливая, преданная, вызывающая у посторонних людей полное доверие и дружелюбие (но не у своей дочери, которая ни в грош не ставила мать и полностью оправдывала ушедшего папу) – такова была баба Оля и совсем не жила для себя, забывая голову чужими делами и попутно тут же при знакомстве рассказывая свою историю блестящей певицы из консерватории, которая вышла замуж и уехала с мужем по его распределению в заповедник Тьмутаракань, он там делал диссертацию, а она родила и т. д., в доказательство чего баба Оля даже исполняла фразу из романса «Мой голос для тебя и ласковый и томный», хохоча вместе с изумленными слушателями, которые не ожидали такого эффекта, поскольку в буфете начинали звенеть стаканы, а с подоконника срывались голуби.

Дочь-то, разумеется, а также и внуки не выносили бабы Олиного пения, поскольку из бабы Оли в консерватории растили оперную, а не комнатную певицу, причем редкого тембра драматическое сопрано.

Однако и на старуху бывает проруха, и в данном случае баба Оля как-то не выдержала бремени и хлопот от бесплодных звонков по чужим подворотням и вдруг заваялась в кино лично для себя: там тепло, буфет, картина иностранная и, что интересно, множество сверстниц у входа, таких же теток с сумками.

Какой-то как бы шабаш творился у дверей маленького кинотеатра, и баба Оля, кривя душой и уговаривая себя хоть немного отдохнуть, потопала неудержимо, влекомая странными чувствами, к кассе, купила себе билет и вошла в чужое теплое фойе.

У буфета толпились люди, была и молодежь парочками, и баба Оля тоже взяла себе какой-то сомнительной сладкой водички, бутерброд и якобы пирожное за бешеные деньги, гулять так гулять, а затем, утершись клетчатым платком мужа, в непонятном волнении она вместе с толпой вошла в зал, села, сняла с себя меховую кубанку на резиночке, шарф, растянула зимнее обдерганное пальто, когда-то шикарное, синий габардин и чернобурка, в зеркало лучше не смотреться, – и тут погас свет и возник рай.

Баба Оля увидела на экране все свои мечты, себя молоденькую, тоненькую как тростинка в заповеднике, с чистым личиком, а также увидела своего мужа, каким он должен быть, и ту жизнь, которую она почему-то не прожила.

Жизнь была полна любви, героиня умирала, как мы все умрем, в бедности и болезнях, но по дороге был вальс при свечах.

В конце баба Оля плакала, и все вокруг сморкались, и потом, еле перебирая ногами, баба Оля отправилась снова собирать дань как трудовая пчела, опять поцеловала две закрытые двери и, сломавшись на профессиональном поприще, поползла домой.

Автобус со слезящимися стеклами, парное метро, одна остановка пешком, третий этаж, густой домашний запах, детские голосишки в кухне, родное, любимое, знакомое – стоп.

И вдруг баба Оля, как наяву, увидела перед собой полное нежности и заботы лицо Роберта Тейлора.

Назавтра она опять мчалась в тот район пораньше с утра, застала клиентов на дому, собрала с них деньги, завязала еще несколько знакомств на кухнях в тех же коммуналках, приглашая людей выгодно застраховать жизнь и еще по дороге в качестве приза получить компенсацию за все ушибы, переломы и операции, что самое заманчивое, и люди охотно ее слушали, задумывались о судьбе, дело продвигалось, и затем баба Оля опрометью кинулась в знакомый кинотеатр на утренний сеанс.

Там, однако, шел уже другой фильм, детский.

Тем не менее у кассы баба Оля застала одно полузнакомое лицо, вчерашнюю бабульку в каракулевой папаше, еще довольно молодую, бабулька тоже прилетела в этот кинотеатр с утра пораньше и теперь, обездоленная, спрашивала, где висит киноафиша, явно чтобы пробраться в другое кино, где демонстрируется любимая картина.

Баба Оля насторожила ушки, переспросила, поняла суть вопроса и назавтра – только назавтра – в одиночестве засемила на свидание с любимым и опять вернулась в тот волшебный мир своей другой жизни.

При этом она уже меньше стеснялась других бабулек и в том числе себя и на выходе видела счастливые заплаканные лица и сама утиралась большим мужским носовым платком, оставшимся ей на память, как осталось ей на память мужское шерстяное белье, так называемое егерское белье, и она поддевала это белье в морозы, а также и кальсоны на ночь, а дочь носила в школу папины клетчатые рубашки под сарафан: надо жить!

– О господи, – думала честная и чистая как горный хрусталь баба Оля, – что со мной, какое-то наваждение. И главное, эти старухи бегают с сеанса на сеанс, кошмар...

Сама она себя старухой не чувствовала, у нее еще многое было впереди, мало ли: бабу Олю ценили на работе, уважали клиенты, она содержала теперь семью и даже купила детям аквариум и ездила с ними на птичий рынок за рыбками, надеясь забыть ТО, главное (баба Оля умела управлять своими страстями, умела жертвовать собой, в Тьмутаракани например).

Однако ни фи́га не вышло, говорила себе баба Оля после очередного посещения клиентов на дому: о чем бы ни говорили, она обязательно снова и снова вворачивала любимое имя, Роберт, название фильма («Мост Ватерлоо») и подробности жизни актеров.

Люди пытались рассказывать ей о своем, а баба Оля опять упоминала, допустим, позавчерашний сеанс и в каком кинотеатре дальше пойдет картина.

Она уже сама чувствовала, что скатывается куда-то вниз, особенно в глазах клиентов, что она уже не так прилежно внимает всем этим историям, не так заинтересованно, как раньше, обсуждает их квартирные интриги, суды, измены, планы, а что она уже слушает все это как бы машинально, кивая и хлюпая носом в поисках носового платка, но что сквозь всю эту дребедень, накипь, пену жизни просвечивает то, главное, муки ЕГО. И, попутно, муки ЕЕ.

И наконец баба Оля окончательно определилась в жизни.

Она плюнула на все условности.

И главнейшей своей задачей баба Оля почитала теперь не страхование и не сбор взносов, а внушение погруженным в персть земную клиентам, именно что внушение мысли, что есть иная жизнь, другая, неземная, высшая, сеансы, допустим, девятнадцать и двадцать один, кинотеатр «Экран жизни», Садово-Каретная.

Глаза ее при этом сияли сквозь толстые очки.

Зачем и почему она это делает, баба Оля не знала, но ей было необходимо теперь нести людям счастье, новое счастье, нужно было вербовать еще и еще сторонников «Робика», и она испытывала к редким новобранцам (новобранкам) нежность матери – но, с другой стороны, и строгость матери, была их проводником в том мире и охранителем от них правил и традиций. У нее уже имела толстая тетрадка с переписанными из газет статьями о Роберте Тейлоре и Вивьен Ли.

Там же были вклеены портреты и кадры из фильма, тут поработал никуда не годный зять под красным фонарем в своей сомнительной фотолаборатории: с паршивой овцы!

Худо было то, что орды теток и бабок слетались на священнодействия, это уже был какой-то содом и гоморра, рыдания, истерики, ходили по рукам поэмы.

Был установлен день рождения «Робика», и они отмечали это свое рождество в фойе кинотеатров, пили кагор и беленькую, шумели перед сеансом, а баба Оля, как строгий жрец, праздновала одна дома на кухне.

Встречаясь, они рассказывали друг другу как *было*, баба Оля же не допускала до себя эти их пустяки, хранила свою тайну, но в тиши ночей сама писала стихи и потом неудержимо поверяла их своим клиентам, выбрав момент.

Не бабулькам же декламировать, им прочтешь, они тут же читают тебе в отместку доморощенные глупости типа «И много девушек так сладко перешупал», тьфу!

Баба Оля проборматывала свои возвышенные стихи особо избранным клиентам. Она торопилась, шмурыгала носом, очки заплывали слезой.

Слушатели маялись, глядели в сторону, как тогда, когда она, расчувствовавшись, пела в полную мощь, и баба Оля понимала всю неловкость своего положения, но ничего не могла с собой поделать.

Где, когда и как постигает человека страсть, он не замечает и затем не способен себя контролировать, судить, вникать в последствия, а радостно подчиняется, наконец найдя свой путь, каким бы он ни был.

«Это безобидно, – твердила себе баба Оля, счастливо засыпая, – я умная женщина, а это никого не касается, это, наконец, только мое дело».

И она вплывала в сновидения, где один раз даже проехала с Робертом Тейлором на открытой машине, оба они сидели на заднем сиденье, больше в ЛАНДО никого не было, даже шофера, и ОН полуобнимал плечи бабы Оли и преданно сидел рядом.

Вот кому расскажешь такое!

Однажды только был позорный момент, потому что не шляйся ночами (как сказала дочь-географ)!

Баба Оля шла развинченной походкой после сеанса где-то у черта на куличках, чуть ли не у Заставы Ильича – охота пуще неволи, – и ее обогнал молодой мужчина, высокий, полный, в шапке-ушанке с опущенными ушами (а баба Оля шла по-молодому, кубанка набе-крень, и чуть ли не пела в мороз, напевала «Растворил я окно»), и этот молодой человек на ходу, обогнав бабу Олю, заметил:

– Какая у вас маленькая нога!

– Шшто? – переспросила баба Оля.

Он приостановился и задал вопрос:

– Размер ноги какой?

– Тридцать девять, – удивленно ответила баба Оля.

– Маленькая, – печально откликнулся молодой человек, и тут баба Оля ринулась мимо него домой, домой, к трамваю, хлопая портфелем.

Но затем, ночью, уже по трезвом размышлении, жалкий и больной вид молодого человека, его шаркающие подошвы, небритый, запущенный облик и тем более темные усики смутили бедную бабу Олю: кто это был?

Она пыталась сочинять о нем известные истории типа мама умерла, нервное потрясение, уволился, сестра с семьей не заботится и гонит и так далее, но что-то тут не совпадало.

Баба Оля, несмотря на упреждающие крики дочери, следующим вечером опять поехала на фильм туда же, на тот же сеанс.

И она начала понимать, посмотрев еще раз на Тейлора, кто встретился ей на темной улице после кино, кто это шел больной и запущенный, тоскующий, небритый, но с усиками.

И действительно, если подумать, кто еще мог таскаться искать свою любимую, когда о ней забыли в целом мире, кто мог бродить по такому месту, как Застава Ильича в 1954 году, какой бедный и больной призрак в маловатом пальто, брошенный всеми, бродил, чтобы явиться на мосту Ватерлоо самой последней душе, забытой всеми, брошенной, используемой как тряпка или половик, да еще и на буквально последнем шагу жизни, на отлете...

В детстве

Что же это было? Мальчик перестал ходить в школу, то есть он ходил, уезжал, ехал на метро, потом на маршрутном такси и дальше две остановки на троллейбусе (трудный путь). А потом, оказывается, прогуливал.

Возвращаться надо было тем же образом, три вида транспорта и десять минут пешком – такова была цена перехода в новую хорошую школу. Туда пошел учиться обожаемый старший друг мальчика, еще с детского садика. И ребенок возроптал, что тоже пойдет туда же. Плакал всю весну.

Родители похлопотали, особенно мать. Она написала письмо просвещенному директору этой школы, все по-честному.

В прежней школе что-то не заладилось, начали придирааться, классная руководительница звонила, новая математичка вообще стала сеять двойки, как пахарь в поле, широким жестом. И дорога была только в новую школу с гуманитарным уклоном.

Мальчик, кроме того, ездил в музыкальную школу на метро плюс две остановки на автобусе и две на троллейбусе. Дважды в неделю. Вот там было все хорошо, красивая и любимая учительница по сольфеджио, которая собралась сочинять с детьми оперу. И там мальчик получил роль и написал две арии Козла, они с мамой планировали сделать шапочку с рогами и приделать бороду на резинке! Репетиции были веселые, смешные, дети просто бесились от радости. Все думали о декорациях, о костюмах.

И мальчик, легко возбудимая натура, невыносимо был счастлив на этих уроках, больше всех прыгал и кричал, как-то даже забывая про основной предмет, про сольфеджио, и настолько не схватывал материал (довольно сложный), не мог усидеть и понять, что в результате писал музыкальные диктанты кое-как. И у учительницы терпение лопнуло. Она просто взяла и выгнала ребенка из своего класса. Всё.

Его взяла другая преподавательница, умная, без этих наполеоновских планов прославиться на весь район. Спокойная, средняя, не слишком красивая (та, предыдущая, была просто прелестна, с чувством юмора, педагогический талант).

Новая учительница не требовала от детей сверхнапряжения. Обычные диктанты, небыстрый темп (той было всегда некогда, основное – опера). Пение, двухголосие по учебнику.

Мальчик плакал, ночами начал кричать. Он очень любил их оперу и свою партию, которую сочинял в муках и получал всегда похвалы.

Теперь ничего этого не было.

Утром его долго будил отец, уговаривал. Мальчик выходил из дому, чтобы ехать в зимней темноте на трех видах транспорта в новую школу, где был как бы гуманитарный уклон и где теперь учился друг с детского садика.

Мальчик все перемены проводил с классом этого друга – а они были на год старше, серьезные восьмиклассники. Мальчик строил горячие планы перескочить год, сдать экзамены и учиться вместе с ними. Он их обожал!

Но этот друг стал как-то холодновато к нему относиться, стеснялся посещений младшеклассника. И даже один раз высмеял его при всех. И в коридоре стукнул. Вообще стал гнать. Че опять пришел. Вали отсюда, ты.

Тем более что собственный класс мальчика, седьмой, был еще безо всякого гуманитарного уклона, так, сборная окрестных дворов, ребята неграмотные и не понимающие алгебры. Спорт, драки, вино. Плевки, тумачи, мат. Тугие соображения насчет химии и физики.

Мальчика живо начали бить, унижать, смеялись над ним. Новенький всегда проходит этот путь. Он должен за себя постоять. Это дорога настоящего мужчины.

Мальчик не умел и не хотел драться. Они сразу это поняли.

Они отнимали у него все деньги. В туалет на перемене нечего было и соваться.

Мальчик ничего не говорил никому, маме и тем более отцу.

Утром он выходил из дому, потом исчезал на целый день, возвращался вечером из музыкальной школы. Ужинал. Садился за уроки. Ложился спать. В одиннадцать начинал страшно кричать во сне.

И вот что: перед сном он несколько раз предупреждал маму: «Мне очень трудно ходить». – «Болят ноги?» – «Нет». Ему, видите ли, трудно ходить, сказала мама отцу. Что это значит? Ну трудно и всё, говорит. Глупости.

Затем поступил звонок из музыкальной школы – ребенок пропустил уже неделю, что, заболел? Звонила педагог по фортепьяно, заботливая и милая женщина.

И из той, продвинутой и почти гуманитарной школки тоже позвонили: заболел? Не посещает.

Мальчик ответил:

– Я же тебе говорил, что мне трудно ходить. Я не могу ходить.

– Ноги болят?

– Нет. Не могу ходить.

Мама немного была раздражена такой новостью.

– Что это значит, не могу ходить? Ты же ходишь по квартире? Ты просто не хочешь ходить в школу?

– Нет. Просто не могу ходить.

Был поздний вечер, мальчик лежал в кровати, вымытый, в пижамке. Его небольшие глаза блестели. Зрачки были огромные.

Маме какой-то холод заполз под кожу, предчувствие чего-то ужасного. Сознание грядущих перемен, тяжелых, нелогичных, беспричинных изменений.

Но здравый смысл – он всегда бдит и не верит неоспоримому и неожиданному, только что свалившемуся на голову несчастью.

– Ты что, не хочешь больше ходить в эту школу? Там же твой Костик! Ты же рвался туда! Я письмо писала, унижалась! Просила!

– Мне трудно ходить, – прошелестел ответ.

– погоди. Не притворяйся.

Еще была какая-то надежда, что это простая лень. Усталость, которую можно перебороть.

– Все люди устают!

Огромные черные зрачки блестели во тьме. Рот у ребенка был сухой, и из него просочились слова:

– Я больше не могу ходить.

– Глупости! Что значит «не могу»? Ноги не болят, так что же?

Опять шелест:

– Не знаю. Ты понимаешь, я не могу.

Он не плакал.

Два черных пятнышка блестели, как блестят глаза животного, оленя, допустим. Оленя, который страшно боится, но не может скакнуть в сторону и убежать.

Окаменевшее лицо было обращено к матери.

Мать все еще пыталась логически бороться с подступающим будущим:

– Да глупости! Что это такое? У тебя ноги-то ходят! Ты же, в конце концов, явился сегодня домой?

– Я шел четыре часа.

– Как четыре?

– Я шел четыре часа.

– Но ты же отсутствовал двенадцать часов! И ты не был ни в одной школе! Мне звонили! И Наталья Петровна, и та новая классная руководительница! Что ты врешь-то?

Застывшее лицо.

– Я шел два часа до метро.

– До метро? Не смеши меня. Там пятнадцать минут!

– Я шел два часа до метро.

– И что?

– Там я катался.

– Ну.

– И потом два часа шел домой.

– Так. От метро, не притворяйся, тихим шагом пятнадцать минут. Километр! Два часа шел один километр? Что ты врешь?

– Шел.

– И он, видите ли, катался! Хорошенькое дело. Все бы так, на работу не ходить, не учиться, а вместо того кататься. Восемь часов подряд, это что?

Блестят глаза. Молчание. Ни шепота, ни единого слова. Оправдываться нечем, никакой логики.

– Вот что. Завтра ты пойдешь в школу. Хватит. Завтра у тебя что, алгебра? Нельзя пропускать, ты что! Алгебра! Мне алгебра после школы много лет снилась, что я пропускаю. Что три месяца пропустила. Это же такой ужас охватывал (засмеялась). Потом еще у тебя физика небось. Стихи учить. Как догонишь? Нет, дорогой. Каждый день это шесть-семь уроков! Нельзя, нельзя.

На это никаких возражений.

– Так что вот. Всё, спи.

Опять то же самое:

– Я не могу ходить.

– Завтра встанешь и пойдешь как миленький. Не надо мне тут притворяться. Такие пропуски будут, что потом не разгребемся. В твоих же интересах, пойми.

Молчание. Лицо худело прямо на глазах, обтянулось.

– Ну что с тобой? Ну что? Ну надо, надо, понимаешь?

Девочка в углу в своей кровати молчала, притаилась. Явно тоже не спала. А ей в детский сад завтра.

– Мы с тобой Лизе мешаем. Она же тоже с утра должна на работу, да, Лиза? Все ведь встают и идут. Надо.

Ни звука из угла.

– Ну что, ну что? Что ты? Ну, спокойной вам ночи, приятного сна.

Не откликнулись. Обычно хором продолжали: «Желаем вам видеть осла и козла».

Поцеловала их. Холодный влажный лоб у него и теплый, потный у девочки.

Влажный холодный лоб. Ледяной.

Опять присела к нему на тахту.

– Завтра кататься на метро не будешь, хорошо?

Молчит.

Только бы не ответил это свое: «Я не могу ходить».

– Знаешь, вот. Завтра встанем и вместе поедem в школу. Ты увидишь, что все нормально, что ты все придумал. Я прослежу. Тебе, скажи, просто не нравится эта школа?

– Не знаю, – тихо просвистело в ответ.

– Ну там же твой Костик! Ты же так хотел туда! Слушай, давай пригласим его в гости, как раньше! Или сходите куда-нибудь вместе!

Он шевельнулся, как помотал головой едва-едва.

– Ну хорошо, сейчас ты устал. Завтра все будет нормально, вот ты увидишь.

Опять то же движение.

– Тебе что, там плохо?

Он открыл рот, потек его шелест:

– Сснаешь... Я когда опаздываю, там в две-ряххх... Дежурные стоят ребята... Они меня не пускают, иди откуда пришел... Потом вызывают других дежурных...

– Что, бьют?

– Иногда.

– Часто?

– Каждый день.

Так. Не давать ходу этому ужасу. Не воспринимать его! Как будто ничего нет.

Лучшая защита ребенка – это нападение на него.

– А ты почему опаздываешь? Ты же вовремя выходишь! У нас с тобой было все расчитано! Ты сам виноват! Нечего на ребят сваливать! Они, конечно, будут издеваться, если каждый день ты опаздываешь!

– Я... Я говорил. Я больше не могу ходить.

– Выдумал. Чтобы оправдать опоздание. Я все поняла!

– Не могу.

– Всё, всё. Завтра мы поедem с тобой, я послежу, как ты идешь. Спи.

Он взял ее руку и беспомощно поцеловал. Губы сухие, как корка.

Она вышла, оставив дверь приоткрытой. В коридоре по заведенному порядку горел свет (чтобы им не было страшно).

Через час он начал страшно орать, не просыпаясь. Какой-то леденящий душу звериный вой.

Она его разбудила, дала попить воды, прижала к себе.

Лиза лежала тихо.

Что-то случилось ужасное.

Мальчик был средним ребенком в семье. Существовал уже печальный опыт со старшим мальчиком в школах. Приходилось ходить на родительские собрания и отвечать учительницам. Ребенка ненавидели. Его старались сбавить, и дело докатилось до рабочего района и самой отпетой школы. Нигде не было спасу. Били, обижали, обвиняли (так виделось матери). Но он безропотно таскался туда, где его ожидали эти муки. Драться так и не научился. Не умел отметелить. Учителя обвиняли его, как ни странно, в том, что он слишком умный, видите ли. Старший тоже ходил в музыкальную школу, только по классу виолончели. Вот там его очень любили и прочили ему блестящее будущее. Туда он ездил охотно со своей бандурой, в толпе на троллейбусе. Справлялся сам. В конце концов как-то научился ладить с одноклассниками. Похоже было, что школьные бандиты его не очень терзали. Как-то он даже похвастался, что по чужим дворам может ходить безнаказанно, он знает таких людей, только назови имя, и т. д.

Но на это ушли годы. Чужак, чужак он был.

Была надежда, что и этот справится.

Младшего ведь тоже очень любили в музыкалке, у него тоже был абсолютный слух, артистизм и тэ дэ. Только лень. И этот конфликт с сольфеджио...

Маленькая брякала на пианино, пребывая пока в нулевке.

Утром (а уже была почти что весна, так что рассвело) все поднялись, старший уехал сам, маленькую повез отец, а мать с ребенком поехала избывать его маршрут.

Прошли полтора км до метро более-менее сносно. Спустились в метро. Вышли на Лубянке. Подождали маршрутку. Сели. Она все время хотела сказать: «Вот видишь? Все ты можешь. Но не хочешь же ты, чтобы я тебя как маленького возила?» Но она молчала.

– Ну вот. Успеваем. Видишь? – воскликнула она, когда они вышли из маршрутного такси. Надо было немного пройти и сесть на троллейбус.

– Ну и вот. Видишь? – повторила она, оборачиваясь к ребенку. Она уже немного ушла вперед.

Остановилась, застыла.

Мальчик стоял на месте, как-то тайно, про себя, легкомысленно и преступно улыбаясь. Как пойманный вор. Встречные прохожие внимательно на него смотрели, проходили, потом оглядывались.

Он стоял как на эшафоте.

Вернее, он не стоял, а шел на одном месте. Он перебирал ногами, не отрывая носков от земли, странно улыбаясь, с видом осужденного, который без слов убеждает всех, что совершенно невиновен.

Он улыбался как человек, над которым все издеваются.

Мать, похолодев, вернулась к нему:

– А ну давай возьми меня под руку!

Зацепился за нее своей скрюченной конечностью.

Пошли кое-как.

Он низко опустил голову, внимательно изучая асфальт. Он высоко, как цапля, поднимал каждую ногу, прежде чем ее поставить. Он как будто чего-то опасался и то тормозил, застывал, а то скакал вперед одним прыжком. И снова застывал.

Извиняющаяся улыбка, дрожащая рука, цепляющаяся за мать.

Опять огромные зрачки.

– Ой, ну пошли. Ну ведь опоздаем же! Совсем немного! Вот троллейбус идет!

Неровные шаги, торможение, полный ступор, потом прыжок.

– Ну опять встали. Ну сколько можно, – твердила она, похолодев. – Ну давай.

Он полностью застыл, глядя вниз. Она тоже посмотрела:

– Ну что, ну что...

Оказалось, он стоит над трещиной в асфальте. В асфальте змеилась большая трещина, опутанная сетью мелких. Он не знал, куда ступить. Он не хотел ошибиться.

Мать догадалась. С ней в детстве было то же самое.

– Ты не можешь наступать на трещины? Да? Да?

Он, дрожа, кивнул.

Он стоял, мелко дрожа, не двигаясь. Вернее, он слегка покачивался.

– Ну и ничего! Не страшно! Мы сейчас перепрыгнем ее. Вон, смотри, целенькое место.

Прыгнули вдвоем.

Опять прыжок.

Переступили еще несколько.

Асфальт был буквально весь в трещинах. Как сухая глина.

На цыпочках, мелко переступая, ходом коня, оглядываясь, прыжками и перескоками они достигли троллейбусной остановки.

Сели в транспорт.

Надо было ехать две остановки.

– Ой, у меня тоже в детстве так было, – оживленно говорила мама, – я тебе расскажу про это. Я читала книжку. Это один польский врач написал. Она называется «Ритм жизни». Кемпиньски его фамилия.

Он слушал невнимательно.

– Понимаешь, он много страдал. Он все испытал, он сидел в немецком концлагере. Потом он руководил клиникой. А потом он начал умирать от почек. Лежал в своей больнице и писал последние два года своей жизни книги. Одна называется «Страх». Вот та, о которой я говорю, это «Ритм жизни».

Мальчик смотрел себе под ноги и иронически улыбался. Он как бы говорил: «Вот сейчас смотрите, что будет».

– Вот я сейчас разгадаю, о чем ты думаешь, когда не хочешь наступать на трещины.

Он взглянул на нее своими маленькими больными глазами.

– Ты думаешь что? Что если ты попадешь ногой на трещину, то мама умрет.

Он подумал и кивнул. Он не смутился, хотя это была его тайна. Сейчас он был занят своим ближайшим будущим.

– Знаешь, – продолжала она, – я тоже всегда так думала, что мама умрет, если я буду наступать на трещины. Я тоже в детстве была такая! И очень многие дети так думают!

Он отвернулся. Ничто не могло его утешить.

Сошли с троллейбуса, попрыгали по асфальту, испещренному зигзагами, молниями, ущельями и провалами. Семенили, делали широкие шаги.

Собственно, это было нарушением всех законов – ведь тайна требовала, чтобы никто не знал, почему нельзя наступать на трещины. А тут мама сама, живая, и она тоже прыгает. Мальчик был сбит с толку. Цель ритуала ускользала, становилась пустой игрой. Посторонний не имел права вмешиваться в порядок действий!

Мама это делала, как бы соглашаясь с ребенком: хочешь так – будем делать так.

И попирала все основы жизни! Это было не ее дело.

Прыгать через трещины – это серьезное занятие, это единственное спасение, но смысл его уходил, если посторонний тоже принимал в нем участие. А уж тем более мама, которой было все посвящено.

Мальчик чувствовал себя обманутым. Он прыгал как по принуждению. Как взрослый, который вынужден играть с маленькими и повторять их движения. Ему уже это начинало надоедать.

– Опоздаем, – вдруг сказал он, остановившись.

– Ну и ничего! Дошли же! Наша главная задача – оказаться в школе и не пропускать уроков, так? И мы добрались почти что. Давай прыгай.

Он не двигался. Он покачивал головой, как бы сомневаясь, есть ли смысл в этих прыжках.

– Вон туда. Прыгай!

Он шагнул.

Впереди были школьные двери. Возможно, что в окно могли его увидеть. Он шагнул еще раз, еще.

– Ты иди вперед, иди. Ну пока. Опоздал не страшно, на пять минут.

Она остановилась, повернула и зашла за киоск.

Когда мальчик добрался до дверей, открыл их и исчез, она помчалась на помощь.

Тихо вошла.

Он уже миновал холл и стоял у дверей. Путь ему преграждала толпа возбужденных ребят. На рукавах у них были красные повязки.

Мама спряталась, но они ее и не заметили. Все их внимание было приковано к мальчику.

Они загоготали. Несколько кулаков ткнуло в лицо.

Он терпел, прятал голову, согнувшись, как больное животное. Заслонялся сумкой.

Двинули ногой, целясь в пах.

Он увернулся, прикрыл сумкой живот.

Стали отнимать сумку. Били по голове. Пыхтели, матерились.

– Вот тебе ща... Вот тебе ща покажем... как опаздывать.

Смеялись сдавленным смехом.

Мама подскочила к дверям.

Рожи, улыбающиеся, красные, не успели трансформироваться и так и застыли осклабившись.

– Так, – сказала она. – Избиваете? Я свидетель. В милицию захотели?

Они не отвечали, часто дыша.

Их прервали на самом интересном месте.

– А сейчас я иду к директору. Ты сможешь их опознать? – спросила она у ребенка. – Их выстроят, ты узнаешь?

Он отвернулся.

– Да я тоже вас опознаю, – сказала она в бешенстве и показала кулак ближайшей роже.

Рожа отпрянула и загудела: «А че!»

– А то! Я вас найду и вычислю в любой толпе! Вас пятеро.

Из клубка кто-то тихо исчез.

– Ты ушел, но я тебя вычислю! Отвалите все. Иду к директору. Пойдем.

Дежурные распались, отпрянули.

Мама с сыном вошли в школу.

Он двигался опять как осужденный на казнь.

Все было понятно. Ему это припомнят. Он уже не просто боялся, его душа обмерла.

Мама вошла в директорский предбанник, со словами «избили мальчика» оставила его около секретарши (та привстала) и ринулась к директору.

Она накричала на него. Она употребила слова «дедовщина» и «зона». Она также упомянула о ежедневном грабеже денег.

Директор (а именно его она просила принять ребенка год назад и тоже в этом же кабинете) пытался контратаковать («Регулярные опоздания». – «А, вы в курсе! Но за это не бьют по лицу!» – «Никто не бьет!» – «Я свидетель, я специально спряталась!» – «Вы не можете быть свидетелем! Вы заинтересованы». – «Тут что, судебный процесс?» – «Я повторяю, он опаздывает каждый день! Срывает уроки мне, понимаешь!» – «А он боится приходить!» – «Я вас предупреждал, моя школа не панацея от ваших проблем! Это у вас проблемы!» – «Ваша школа? Это государственная школа!»).

И так далее.

– Это вы, вы должны его отучать от опозданий!

– В школе должна быть другая атмосфера! Тогда ребенок не будет опаздывать.

– Мои методы к этому направлены именно! Педагогические.

– И вы видите, к чему приводят ваши методы. К воровству и избиению! Я запомнила лица этих садистов, которые били ногами в пах! Какой класс сегодня дежурит?

– Ой, я за такими пустяками должен следить? Я не этим занимаюсь.

– А, вы их выгораживаете сами. Вы на их стороне! Они вам классово близкие, да?

– А что я могу? Я вас предупреждал, что седьмые классы у меня дворовые, мне их навязали! Это не мой гуманитарный уклон. Половина из них сядет! Уже сейчас они на учете. Их и дежурить ставят, чтобы как-то дисциплинировать самих! Это моя головная боль. Ну вы пойдете в милицию, и что? Они все там давно в детской комнате в списках. Им не страшно. Они считают, что через зону прошедший – он как герой.

– Господи, ребята едут сюда со всех концов как в лучшую школу, издалека! В лучшую!

– Да вас не держат тут, в конце концов. Вы меня сами умоляли.

– Едут в школу! А школа – это не директор. Не вы тут священная корова!

Директор, опытный руководитель, усмехнулся:

– Ну-ну. Жаловаться будете. Знаете, сколько таких жалоб? На меня именно. У меня два уже микроинфаркта. Да.

И тут директор, быстрый разумом человек, нажал кнопку громкой связи:

– Галина Петровна. Принесите нам чаю с сушками... Вы с лимоном?

Мама ответила:

– Да. Да.

– С утра ни глотка во рту не было. Эти ребята, один еще ходит в школу, но его уже будут судить. Подписка о невыезде. В колонию будут отправлять. Ограбление квартиры. Ходит вот, сидит на уроках. Надеется, что малолетку не осудят. Старается. Матери нет, отец пьет с бабкой. Есть нечего. Оформили бесплатное питание. Двенадцать лет ему. Вы добавьте, его сразу упекут.

– Слушайте, они все такие здоровенные!

– Да показалось вам.

– А что тогда творится в уборных? – спохватилась мама.

– А что? Все то же. Они и в туалетах господствуют. Мы уже разрешаем детям выходить во время уроков. В буфете они никому не дают пройти, вырывают деньги у младших... Ну что, милицию ставить? А мне этих ребят навязывают. Должны получать образование.

Они поговорили, выпили чаю.

Все это время мальчик простоял за дверью, секретарь его удалила.

Затем его повели в класс – мама и директор. В коридорах было пусто. Он вошел с директором. Прозвучали какие-то слова, типа «дежурные зайдут ко мне после уроков».

Зайдут, да. Но не те.

Мама решила встретить ребенка после школы.

Она долго гуляла по улицам, надо же, солнышко. Купила сдобу в булочной.

А мальчика в школе ждали обычные неприятности.

На него сыпались оплеухи, щелчки, у него обшарили карманы, отобрали сумку (он нашел ее на другом этаже в конце уроков).

Ему поставили тройку и двойку.

В туалет он отпросился во время урока.

Тут же поднялась рука самого страшного, Дудина:

– Можно выйти?

Хохот.

– И мне!

Рев. Стучали ногами.

Но он, уже ученый, зайцем помчался в учительский туалет на первый этаж.

Мама караулила его у выхода, где уже стояла небольшая группа парней постарше, видимо бывших учеников.

Мальчик вышел, сопровождаемый чьим-то пинком.

– Пить хочешь? Булочку дать?

Он сказал, что нет. Не хочет. Отправились в обратный путь. Тронулись медленно. На глазах у детей он шел спотыкаясь, опустив голову. До остановки дотащились за полчаса.

Когда вылезли из троллейбуса, чтобы пересест на маршрутку, дела уже были совсем плохи.

Перед ними расстился чистый, солнечный, весенний проспект. Асфальт, исчерченный, исполосованный линиями.

Мальчик долго перебирался к стене дома и встал там, понурившись. Дом был огромный, ухоженный. Явно тут квартировали иностранцы. За углом располагалась их автостоянка со сторожкой в виде стеклянной будки.

Машин за шлагбаумом было не так много.

Сын не мог больше двигаться. Он опирался о стену возле телефона-автомата. Почти падал. Причем со все той же растерянной улыбкой.

Мама как окаменела сама. Странное, вязкое, ледяное чувство стояло поперек груди, постепенно распространяясь на руки. В ногах как будто бегали пузырьки газированной воды. Лопались, перемещались.

Больше уже не будет прежней жизни.

Неожиданно для себя она засмеялась:

– А я – это ты! Я теперь – это ты! Я тоже никуда не могу уехать! Не могу никуда уехать отсюда!

Он поднял голову. Это и было нужно.

Она в полном оцепении стала поворачиваться на месте.

– Я кружусь и не могу остановиться!

Мальчик, как пятно, маячил в отдалении. Неподвижный, прижавшийся к стене.

Она закричала:

– А! Я знаю! Мне надо потрогать всё!

И она пляшущим шагом подошла к дому, тронула его одним касанием, потом подкружилась к телефонной будке, ударила ее легкой рукой (в голове было пусто-пусто!), следующим пунктом был шлагбаум, она подлетела к нему в три прыжка, постучала в нескольких местах, каждый раз поворачиваясь вокруг своей оси, и все это с окаменевшей, вынужденной улыбкой на лице.

(Он отклеился от стены, сделал шаг.)

Из стеклянной будки за ней наблюдал посерьезневший охранник. Стукнула дверь.

Мальчик громко заплакал.

Мама кружилась как безумная, с легкомысленным видом и застывшей на каменном лице усмешкой, подпрыгивала, а туловище давно уже одеревенело, только дергалось в разные стороны.

Она собой не владела, на нее с небес, с солнечного свода, сошло какое-то очень важное состояние, она без передышки бормотала, трогала машины, причем должна была одолеть все четыре колеса с разных сторон, а по дороге попались еще и урна для мусора, ограда из цепей (каждое звено, каждое!).

Охранник вышел из своей будки. На руке его висела крепко схваченная дубинка.

Она ускользнула за машину, присела, потрогала резину, обод.

Второе колесо.

Раздался тонкий детский крик.

Охранник оглянулся и тронулся к ней издали.

Но и мальчик оторвался от стены, рыдая и приговаривая: «Мамочка, ну что ты, мамочка!»

И он сначала замедленно, а потом все быстрее начал перебирать ногами (охранник приближался).

Мальчик с трудом двигался вдоль дома, шел, шел, передвигаясь, как опутанный веревкой. Всклипывал.

Охранник мелькнул среди машин.

Мальчик ускорил свое движение, закричал:

– Мамочка!

Он захлебнулся слезами, потому что мама вскочила от колес и кинулась к соседней машине, кружась на месте, приговаривая:

– А вот еще! Вот еще тронуть надо!

Охранник шел, все оглядываясь по сторонам, как будто думал найти свидетелей или помощников, что-то надо было делать, он потрясал дубинкой. Но и мальчик неуклонно продвигался вперед, почти бежал, хотя дело происходило как в замедленном фильме или в воде.

Тем не менее он рванулся и добежал первым, схватил маму за локоть (она вырвала рукав с каменно-шаловливым выражением лица), но он опять зацепился за плащ и стал умолять, плача:

– Мамочка, ну пойдем, мамочка, ну пойдем! Пойдем отсюда!

Она побежала еще к одной машине, бормоча «Все надо потрогать», и тут сын ее крепко обнял и повел назад, повторяя «Ну мамочка, ну успокойся!».

Он плакал, шмыгая носом, и волок маму на улицу.

Не стал вести ее к троллейбусу, почему-то ему было неудобно перед людьми на остановке, а повел подальше, причем как можно быстрее (охранник остался на стоянке).

У нее было совершенно каменное, негибкое туловище. Она перебирала ногами. Несколько раз она пыталась вырваться, но он вел ее, вцепившись, как клещами, в рукава.

Бормотал все время, как заклинание: «Мамочка, мамочка».

Дошли пешком до метро. Спустились. Молчали оба.

Когда сели в вагон, мама забеспокоилась и заплакала.

– Что ты, что ты, перестань! – пряча лицо, повторял он. – Что ты!

– Лиза, – наконец выговорила она. – Надо ехать за Лизой. Она одна осталась в группе! Что делать, что делать!

Он покумекал, посмотрел на схему, вывел ее через две остановки, перешли на другую станцию, поехали. Поднялись на поверхность, сели в троллейбус. Доехали до Лизы, взяли ее (ребенок действительно сидел один, только уборщица грохотала в туалете ведром).

Лиза не плакала, но каждый ребенок боится и ждет, что его бросят. Лиза сидела и боялась.

Дома девочка капризничала, расплакалась наконец, потянулась к маме на ручки.

Но мама готовила обед. Лиза стала приставать к брату. Он на нее рывкнул. Лиза заныла. Поели.

Сын сел делать уроки. Но он что-то не успел записать, звонил какой-то девочке из класса, болтал, узнавал задание.

Лизу удалось усадить за пианино. Она побрякала.

Все вернулись, тихо поужинали.

Потом младший мальчик пошел в душ.

Мама выкупала Лизу.

Дети легли.

Папа почитал им детскую Библию, кляня носом. Поставил, как всегда, пластинку Моцарта, открыл дверь в коридор, включил там свет.

Мама пришла, все дружно произнесли: «Спокойной вам ночи, приятного сна». Перецеловались.

В эту ночь мальчик не кричал.

* * *

Через год был день рождения у его друга. Ребята хохотали, гомонили за детским столом в отдельной комнате. Мама из-за двери, машинально разговаривая с соседями по застолью, прислушивалась к тому, как ее сын весело рассказывает, что с ним было в прошлом году. Что он не мог переступить через трещины!

И вдруг все дети загалдели, обрадовавшись, и начали рассказывать, что с ними происходило то же самое! Мама же сидела и никому не говорила о том, как в детстве она должна

была, покружившись, всё потрогать – стены, асфальт, каждую скамейку, мусорную урну, перила, всё – только чтобы мама осталась жива. Чтобы все были живы.

Музыка ада

Как это бывает: неудачная любовь – тогда сел в поезд и поехал. Кроме неудачной любви: никуда не устроилась работать, буквально последние деньги в кармане, и, как это тоже бывает: двадцать три года, рубеж, ощущение конца.

Итак, девушка, которая закончила учебу в университете, истфак, безработная, одинокая, потерпевшая полный крах во всем: плюс отношения с матерью (тоже, глядите, молодая женщина номер два и покупает два платья, одинаковых, но разных: розовое хорошенькое с незабудками по полю себе и коричневое в полоску мешковатое дочери, почему: потому что эта мать выходит замуж). Таким образом, взаимоотношения с матерью, в результате чего двадцатитрехлетняя дочь решает уйти. Уйти. Уйти можно к кому-то или куда-то. Можно уйти ночью, рыдая на улице, и поехать к подруге, встать заплаканной на пороге, без слов лечь на раскладушку и переночевать, и утром за кофе выдавить из себя несколько слов; но не жить же у подруги: у нее ребенок, теснота, муж, у нее полно других подруг, кстати. Мало ли кто захочет ночевать. Дружбу надо беречь.

И вот эта двадцатитрехлетняя бездомная садится в поезд.

Надо особо сказать и о поезде: вагоны, в которых возили арестантов или телят, тридцать человек или семь лошадей. Пустой вагон, в начале и конце нары, посередине раздвижные двери как ворота. На нарах вещи и матрацы: университет едет работать в степи Казахстана на три месяца, такой трудовой семестр. Так называемые стройотряды, причем явка студентов обязательна, на дворе шестидесятые годы двадцатого столетия. Кто не едет, идет на исключение из комсомола и т. д.

Чем не выход из положения, даром что наша девушка уже закончила университет только что, две недели назад. Чем не выход, бросить все, забыть, уехать, отодвинуть на три месяца: мама, мамин кавалер с чемоданчиком как у слесаря, позор. Ужас. Жених, познакомились – сошлись. Познакомились, можно догадаться, в парке Горького, а что мама? Ей сорок три, но она как первоклассница: дядя сказал пошли, дам конфетку, у меня спрятано в сарае. Ни страха, ни стыда, только видно, что нравится, когда гладят по голове и целуют, и вообще обратили внимание на сиротку. Первый попавшийся, головенка кувалдой, рост как полагается у слесаря и наружность тоже, чемоданчик в руке, так и ходит по женщинам с чемоданчиком, слесарь с инструментом чинить прохудившиеся краны.

У мамы прохудился кран, и дочь, плача, съехала вон. Мама стала какая-то ненормальная, кидается на каждый телефонный звонок, похудела, глаза какие-то фальшивые, без конца поет, а смотря в зеркало, ощеривает зубы (дочь наблюдает со стороны) и делает постороннее лицо, как-то выпятив нижнюю губу, ей кажется, так красивей. Противно разговаривает по телефону, тихо и в нос, тайно. Часто смеется по телефону же.

Таким образом, дочь пришла на сборный пункт к университету, села в автобус ехать на вокзал и с тем же коллективом автобуса села в вагон. Даже сдала последние деньги на питание руководителю, полный крах! Прощай, любимый город, прощай, любимый ОН, прощай, невеста мать-слесариха, прощай жених матери, взятый с улицы, прощай развал и позор, начинается новая жизнь без любви.

Так она думала, а между тем продолжение той же темы не заставило себя долго ждать, и первым проявлением данного полового вопроса было то, что когда укладывались на нарах ночевать (девочки в конце, мальчики в голове вагона), то под боком у Нины (наша дочь матери-невесты) оказалась девушка в очках, которая, вздохнув, прижалась головой к Нинину плечу, как дядька-слесарь к своей невесте, которой он был ниже ровно на ту же голову.

Прижалась наивно, совершенно по-детски, поскольку младшие школьницы вообще склонны обожать выпускниц (подумала Нина, поворачиваясь на другой бок), а я для нее как десяти-классница для пятого класса. Нина перекатилась подальше, матрацы были постланы по всем нарам, полная свобода, вагон трясло, и старые неотвязные мысли посетили бедную голову Нины, вопрос как возвращаться встал над ней в бледных сумерках вагона.

Как возвращаться домой к слесарю-папе и слесарихе-маме, которая совершенно потеряла всякую самостоятельность и резко хохочет у них в комнате за закрытой дверью в компании своей кувалды и бутылки водки. Мама огрубела явно, опростилась, бросила свою дочь, в отсутствие жениха тревожилась, бросалась к телефону как тигр к добыче, боясь, что дочь нагрубит и вообще не позовет.

Так прошла ночь и еще двое суток, за раздвижными воротами вагона проехала целая страна, а затем поезд стали разгружать в городке, который сверкал почти непрерывными лужами, и повсюду, как в первый день творения, лежала жирная грязь. Дул прохладный сильный ветер, перепадали дожди, городок был олицетворение беспробудной тоски, такой местный ад, какой устраивают себе русские люди на пустом месте.

Открылось перед всеми, как вывороченное, огромное степное небо с идущими лохматыми, драными тучами, было прохладно до озноба, сыро, ветрено, изредка сверкало в лужах солнце, студентов погрузили на автобус и повезли по ухабистой дороге куда-то еще дальше, в степь. Коллектив курса пел студенческие песни каким-то скачущим, плавающим звуком (мешали рытвины), а Нина глядела в окно, где степь проваливалась и возникала, кочковатая степь, и Нина закрыла глаза, все исчезло, осталась только огромная скука, пространная как небеса, скука ветра в поле.

Ночь переночевали в общежитии дальнего совхоза под дивной картиной с моряком и девушкой в лодке, на картине стоял уютный розовый закат, за рекой черной полосой лежал какой-то лесной массив, и весь глупый студенческий народ приходил смеяться над этой картиной, а Нине было так хорошо под ней, даже хотелось украсть ее. На картине был вечерний покой и царила гармония, а вокруг в голых окнах виднелась грязь до горизонта со вкраплениями проржавевшей техники и каких-то прошлогодних не-запаханных кустов репейника. Жить в этом общежитии было нельзя, среди металлических кроватей и стен, выкрашенных серо-зеленой масляной краской, частично облупившейся как раз над картиной. Наивный пейзаж наивно прикрывал протечку на стене, в этом был первый след разумной деятельности человека по украшению безобразия.

Здесь даже грустить было неуместно, здесь все было ни к чему, и только воспоминание о последнем разговоре с любимым человеком, а также о чемоданчике слесаря и о резком смехе матери заставляло девушку Нину говорить себе: нет. Нет возврата к прошлому. Детство оказалось поругано и предано, юность тоже, все совместные с мамой тихие мечты об отдельной квартире без соседки-хулиганки, вся счастливая история с получением этой квартиры, с украшением ее, все страшные сны о смерти мамы, после которых просыпаешься в слезах и с облегчением, что мама тут, теплая, родная, любимая, живая – все это было помято и оборвано, народное выражение. Кстати, Нина находилась в положении как раз Гамлета в связи с замужеством Гертруды, и это не сулило ничего хорошего, думала девушка, глядя в пустое грязное окно на рассвете.

Что касается мыслей о собственной любви, то тут надо оговориться, что Нина любила разбитного молодого художника, хулигана с губами как у вампира, который (художник) рисовать Ниночку рисовал, водил ее по всяким теплым компаниям и мастерским и гулял с нею в парке того же Горького, только в более уединенных кустах – это когда родители сидели по домам, как куры в гнезде. Когда же куры уходили на работу, тут начинался полный дебош, любовь и разврат, валялись то у Нины, то у художника по кроватям, делали что хотели. Художник-то был еще студент, жениться он явно не собирался и брал, видимо, Нину во вре-

менное пользование, имея обширные планы на жизнь. Уезжая в телятнике, Нина позвонила другу и простилась с ним «навсегда», на что он ей ответил «приедешь, звони». С улыбкой, кстати. Ответил как рабу на веревке, явно усмехаясь.

Далее, глава вторая нашего повествования трактует о том, что и в этом общежитии данных студентов не оставили, среди цивилизации, грязи и кустов репейника, а запузыхали отряд вместе с казенными тюфяками и консервами в дальнейшую степь, в абсолютную пустоту среди травянистой земли, где в центре мира стояло три вагончика жилые и четвертый вагончик кухня, и единственное, что напоминало о современности, были столбы с проводами, уходившие за край земли в виде разнообразно торчащих спичек.

Эта земля, покрытая после дождей травкой, как-то звенела, звенели птички, провода, дул постоянный теплый ветер, небо разверзлось до бесконечности, светило солнце. В виду всего этого Нина ушла, легла навзничь в траву и стала смотреть в пустые небеса, с тоской любви вспоминая о своем художнике: все-таки это счастье у нее было, вспоминать и любить.

Тем не менее вскоре стало не до тоски и не до мыслей вообще: началась великая местная стройка коммунизма, возведение зернохранилища, уже был всажен в почву фундамент (по легенде, года три назад руками армян-шарашников), были завезены горы бута (крупных камней) и насыпи щебенки, затем на заре заскрежетала бетономешалка, похожая на вращающуюся ржавую бочку, и дело пошло.

Всех рассортировал начальник отряда, аспирант Витя, и отныне, повязавшись белыми платками, девочки стали грузчицами, а мальчики каменщиками. Девочки таскали на носилках камни, цемент и щебенку, а мальчики возводили стены.

Воцарилась египетская рабовладельческая жара, воды не было вообще, ее возил к ним, солоноватую в бочке, казах на кривоногой местной кобыле. Работа начиналась в шесть утра по холодку и кончалась в шесть вечера с перерывом на макароны, украшенные крупными кусками бараньего жира. Каторга с ее законами, с жесткой дисциплиной перебивала все мысли, всяческие печали, ревности и воспоминания. Нина быстро стала как выючное животное и засыпала за секунду, завалившись рядом с носилками, когда другие девочки их загружали. Сна было полминуты.

Вечерами, однако, как все молодые щенята, студенты заводили костры, ночь впереди казалась бесконечной, раздавались песни под гитару. Возбужденные мнимой ночной свободой, рабы не спали, пили чай, угощали друг дружку консервами и пряниками, завезенными из Москвы (Нина ничего не взяла с собой), воровали с кухни толстые теплые огурцы, гуляли по черной степи под огромными звездами и дышали дивным ароматом ночных трав, и вот тут начались разнообразные тонкости каторги.

Собственно говоря, странный народ были эти юные студенты какого-то там факультета точных наук. Между мальчиками и девочками не образовалось никаких отношений, как это бывает на воздухе по ночам. Особенные были мальчики и особенные тоже девочки. Мальчики почему-то сторонились девочек, Нина это увидела сразу. Правда, девочки были неказистые математические чувырлы в очках или тети Моти с толстыми плечами, будущие училки. Мальчикам же и полагалось в этом возрасте быть цыплячьим молодняком, в семнадцать-то лет, но все это, Нина заметила, был какой-то брак природы, умнейшие из умных, но без сил, без воли к воспроизведению себе подобных. Из них не перла бугром страсть, не возбухала сперма – как сомнамбулы, оставшись без своих книг и приборов, они торчали на стройке, ворочая камни, укладывая их наиболее рационально.

Стройка уже напоминала руины вконец разрушенного Колизея благодаря стараниям мальчиков-каменщиков, которые иронически встречали каждый раз очередных двух верблюдов-девочек, несущих им глыбы. Ирония царила в стане мальчиков и в стане девочек. Девочки тоже сторонились мальчиков. Странные, даже не платонические взаимоотношения полов царили на этой каторге, но Нине было не до наблюдений: кое-как привыкнув к труду,

она снова затосковала и начала мысленно писать письма далекому рабовладельцу, никогда ни строчки матери!

Но в целом Нина, видимо, тяжело переживала свое преобразование в каторжанку, болела, слабела, затем началась спасительная температура, и месяц спустя Нина блаженно завалилась на тюфяк за железной печкой в углу вагончика, в жару и полубреду в раскаленной духоте. На воле, в степи, было еще горячее.

Внимание, глава третья начинается с того, что начальник Витя съездил на центральную усадьбу совхоза и купил кому что: зубной пасты, конфет-подушечек, сигарет, конвертов и школьных тетрадок в клеточку и в зеленых обложках, как раз писать письма.

Денег все еще не выдавали, царил настоящий коммунизм, Витя сказал, что цену купленного потом вычтут из какой-то неизвестно какой зарплаты, ладно. Плюс к тому всем привезли рабочую одежду, подарок морского флота, списанные тельняшки и белые матросские клеши из ткани, близкой к брезенту. Все радостно переоделись в одинаковое, работа кипела, а Нина слонялась еле-еле, держась в вагончике за нары, и все ее существо (вот парадокс природы) было охвачено любовью к далекому обормоту, живому, красивому и теплomu, хотя и закоренелому эгоисту, скуповатому и себе на умишке.

Однако на фоне тех цыплячьих теней, которые возводили Колизей, тех сугубых интеллигентов в очках, которые торчали как пугала во всем матросском на крепостных стенах, Нине ее милый казался чудом природы. Реальное, грубое и плотское здесь, на этой каторге математиков, выглядело как нечто недостижимое, как идеал и элегическая мечта.

Опять-таки тетрадка в клеточку, наконец-то обретенная, манила писать неотправляемые письма, в которых Нина тоже давала волю иронии и самоиронии, описывая с большим юмором весь этот балет невылупившихся цыплят и свою болезнь среди этого довольно жизнеспособного, не заболевшего ничем народа.

Нина вообще-то в прежние времена, на воле, слышала со всех сторон о том, что она красotka (пришел со своей красоткой, говорили друзья художнику), она была, что называется, в стиле времени, маленькое тело фордиком, длинные ноги, общая хрупкая конструкция, но на каторге именно изящные красотки быстро иссыхают даже в юном возрасте, и Нина, махнув на себя рукой, худела, чернела, превращалась в скелетик, носила белую, как все, бабью косынку от солнца – на всех девочек разделили три простыни – и в болезни стала выкарабкиваться на божий свет в виде старушки матросского происхождения, в платочке, тельняшке и грязно-белых штанах. Маленькое зеркальце на стене вагончика отражало запавшие черные глазищи и, отдельно, потрескавшиеся губы, когда-то пухлые.

Куревое-то было, это освещало всю обстановку, вносило хоть какую-то долю плотского удовольствия, и, задумчиво дымя, сидя в короткой тени вагончика и глядя на раскаленную степь, Нина вспоминала далекого коварного друга и этим держалась.

Тут ее однажды, придя с обеда, застала одна из девочек, чудовище в очках, та, восхищенные взгляды которой ловила на себе наша героиня еще с первой ночи в вагоне на тюфяке.

Чудовище звали как-то сложно, типа Глюмдальклич, что-то азиатское, и откуда она вынырнула, Нине было неизвестно. Эта Г. видала виды, о чем уважительно говорили девочки в вагончике. Сама Г. ночевала на воздухе в палатке среди особо доверенных подруг и в компании туберкулезной Маши. Насчет Машиного туберкулеза все знали, Маша сама, блестя зубами, тугими красными щеками и маленькими черными глазами, рассказывала: обманула комиссию, взяв чистый бланк у медсестры, и заполнила его как выписку из истории болезни – Маша была ветеран туберкулезного движения, она знала все термины не хуже любого медработника. Маша все время радостно хохотала, вид у нее был цветущий и румяный, торчащие щеки, тугая черная коса и кожа как молоко. Однако Машу командир отряда Витя поставил не на погрузку, а к поварихе на кухню подальше от камней и носилок. Результат был такой, что Маша вставала раньше всех, в четыре утра, а еще долго после ужина драила котлы

как ненормальная, выскребая сало, иногда и до одиннадцати: ребенок оказался энтузиаст, а может, она так натосковалась по больницам, что жизнь в труде казалась ей раем, все может быть. Так что она сверкала темным румянцем и спала на земляном полу в палатке, пока командир Витя, бледный ученый стебелек, аспирант без права отцовства (студенты говорили, что он ищет вдову с двумя детьми, именно вдову по неким причинам, и обязательно уже с готовыми мальчиком и девочкой, чтобы решить вопрос раз и навсегда, студенты все знали) – так вот, бездетный, бесплодный и бесплодный Витя как-то раз днем заставил Машу померить температуру, и Маша тут же уехала в Москву на попутке, все так же смеясь и блестя багровым румянцем: родители семнадцатилетней сбежавшей Маши предъявили на факультет подлинные анализы, и Маше теперь лежала дорога напрямую в больницу.

И, поскольку таких добровольцев среди каторжан было всего-то двое, Маша и Нина-в-депрессии, то теперь Нина осталась в одиночестве как энтузиаст далекой стройки.

Глава следующая, что в палатке единственно кто остался – это Глюмдальклич и ее подружки, которые, кстати, звали ее Гуля. И теперь в связи с отъездом единственного постороннего лица и освободившимся тюфяком начались крупные интриги. Палатка и девичий вагончик кипели. Туда шли, туда рвались, оттуда возвращались как побитые, и вечерами Глюмдальклич пела у костра песни под гитару, а все девочки в полном упоении подпевали, окрашенные в ярко-розовый цвет отблесками костра, уставившись в огонь красными глазами, в которых мигало пламя.

Нина оставалась в стороне от событий, печальная особа с потрескавшимися губами и в низко повязанном белом платочке, и один Витя посматривал в ее сторону с явной любовью и тревогой. Правда, он так смотрел на всех своих детей, и Нине даже не приходило в голову тряхнуть стариной и оживиться при виде заинтересованного мужчины. Она все носилась со своей печалью о далеком возлюбленном, изменчивом коте с вкрадчивой походкой и неприлично темным ртом. Горе, горе.

И вот тут-то Гуля, слегка похожая на очкастого лягушонка, настигла грустную Нину в тени вагончика, когда та писала в зеленой тетрадке очередное неотправленное письмо. Глюмдальклич сразу приступила к делу. Она сказала уверенно:

– Ты можешь меня любить?

Нина ответила, как учительница, что шла бы ты подальше со своими шуточками. И без тебя тошно. «Ну-у, – протянула эта Гуля, подсымкнув очки указательным пальцем, – а если я хочу, чтобы ты меня полюбила?»

– Выходи за меня замуж, – затем сказала Глюмдальклич, глядя в степь своими выпуклыми очками. Вылитый лягушонок.

– Я тебе не пятиклассница, играть в эти игрушки, – ответила Нина.

При этом у нее что-то вдруг ухнуло в области желудка. Нина испугалась, как люди пугаются сумасшедших.

– Нет, почему в пятом, – активно возразила Гуля. – И напрасно ты меня не любишь.

С этими словами она встала и пошла вон, т. е. за угол вагончика, грязненькая, в обвислых парусиновых штанцах, на тонких кривых ногах, держа окурки большим и указательным пальцем.

– Да откуда ты взяла, – вяло ответила Нина, подумав, что эта психбольная не даром там в вагоне подваливалась ей под бочок.

Нина продолжала писать свое бесконечное письмо, в котором ни единого слова не было о любви. Она вдруг вспомнила этот теплый московский мирок, мастерские, пьянки, гулянки по паркам, все эти дни рождения друзей на затхлых подмосковных дачах, все эти поздние такси, вечерний мятый снежок на бульварах под фонарями, яблочно-зеленые небеса по ночам, уличные поцелуи до головокружения, когда не было места приткнуться, бездом-

ность, грязные лавки, на которых они сидели, приткнувшись сверху, как воробы на жердочках.

Несколько дней спустя Нина вдруг с ужасом обнаружила, что потеряла свою зеленую тетрадку в клеточку, в которой писала письма. Планомерно и лихорадочно, с трясущимися руками (а вдруг они прочли), Нина обшаривала вагончик, пока все были на работе – у Нины держалась температура, и Витя не пускал ее на стройку.

Итак, обшарив свое отделение вагончика, Нина перебралась в соседнее и там, прямо на подоконнике, обнаружила наконец свою тетрадку, охнула, схватила ее и метнулась к себе. И только там она уже раскрыла тетрадь и тут же, на первой странице, прочла нечто не свое и невообразимое, полстраницы непристойного вопля о любви, скрежета и воя: она меня не любит, она меня забыла, меня, свою Таню, теперь у нее Валентина и т. д. О Гуля, Гуля и т. д.

Нина вернула тетрадь на то же место на подоконник, легла обратно за холодную печку и все обдумала. Да, палатка – теперь понятно, что это гарем Глюмдальклич. Да, они плачут и ссорятся, эти девочки. Теперь Нина припомнила, что одна студенточка, единственная хорошенькая здесь, типичный младенец в кудрях, вылитая головка Грёза, у костра рассказывала, как Глюмдальклич выселяли из ее комнаты в общежитии и, когда их подняли с ее, младенца, постели, она, младенец, демонстративно тоже ушла в ночь вместе с Гулькой и сидела с ней вдвоем за компанию всю ночь где-то у запертого подъезда на ступенях, и потом пришлось лечь в больницу из-за воспаления придатков, простудилась сидя зимой на каменных ступенях, доверчиво рассказывал младенец.

Все они, думала Нина, все они как одна такие, кроме разве что рыжей девочки, которая что ни ночь покидала вагончик и проваливалась во тьму, чтобы встречаться, Нина это знала не хуже других, со своим мальчиком, с единственным Казановой в отряде, который имел внешность молодого аиста, ходил вечно в черных очках, задравши нос к небу, и носил всем напоказ бледное поэтическое лицо, которое, правда, скоро почернело и обветрилось от степного солнца, но осталось надменным, он тоже жил как бы в стороне от всех мальчиков, не играл с ними в шахматы и в китайскую игру «го», не говорил как все одними презрительными шуточками в адрес недостижимых девочек: у него девочка была, эта самая рыженькая, и каждую ночь он встречался с ней в крошечной ночной степи.

Ненависть и презрение рисовались на лицах мальчиков, никаких контактов с девочками, никаких диалогов за кухней, с глазу на глаз.

Нина все поняла.

Поняла-то она поняла, а вот Гуля каждый вечер бросала свой гарем и подсаживалась к одинокой Нине, заводила с ней разговоры о любви как таковой, дарила ей огурцы и сигареты, говорила о желании умереть, говорила, что ничего ей в этом мире не дорого, я одна, одна, из общаги поперли, снимать комнату денег нет, ушла от матери, учиться надо из последних сил, это единственный шанс, а работать где? Не цемент разгружать же, как ребята ходят на Москву-товарную, сил таких нет.

Нина слушала все это, не гнала Гулю, не обижала, боялась как тогда, а теперь еще боялась обидеть ненормального человека, хотя Гуля вела себя нормально. Не приставала, не хамила, не трогала, сидела грустная, взъерошенная, нищая, сильная как скала, убежденная в своем праве любить кого хочется. Один вечер Нина просидела одна, Гуля не явилась за вагончик, прошли и растаяли во тьме Казанова и рыженькая, вдали горели стога, над горизонтом стояло зарево. Каждую ночь табунщики жгли солому, чтобы дать лошадям отдохнуть от слепней.

Писать письмо было темно, в вагончиках уже устраивались на ночь, в фанерную стенку за спиной Нины все время стучали, ударялись, видимо, коленями и локтями, стеля постели и ворочаясь на узких нарах.

Было как-то особенно пусто и печально, и Нина пошла в свой вагончик. По дороге она увидела палатку, там горела, видимо, коптилка, палатка светилась изнутри уютным розовым светом, и там тихо смеялись, что-то брякало, посуда, наверно: собирались пить чай. Голос Гули произнес негромко «А иди ты, пятачок», и у Нины вдруг оборвалось сердце. Оно так вздрагивало, только когда в телефонной трубке появлялся голос Кота. «Ничего себе как я к ней привыкла, – подумала Нина, – ничего себе!»

Как будто пришло к ней то, что невозможно контролировать, нельзя задавить, нечто не зависящее от воли – что же, скажете вы, обычная каторжная, лагерная привязанность, тяготение людей друг к другу, скажете вы.

Есть вещи, скажете вы, неконтролируемые, такие как страх потерять, обида, такие как ревность и тоска, такие как дружеское расположение, жалость и страсть.

Нина, растерянная, подавленная, лежала за печкой и слушала раздающиеся в ночной тишине приглушенные восклицания и довольный смех девочек в палатке, потом все замолчали, только кто-то специально покашлял, как бы подавая какой-то знак.

Нина поняла, что с ней играют точную игру, что здесь великолепно разработанная психологическая ловушка, сначала шок, потом плавный переход к нормальным человеческим отношениям, успокойтесь, никому вы не нужны, потом идет приручение, теплая дружба, доверие несмотря ни на что, все же люди, мало ли что у кого, а затем безжалостная быстрая разлука, смех с другими, дружба с другими – и готово, зайчик попался! У зайчика бьется сердце от одного звука привычного голоса.

Нина заснула с трудом.

Все, однако, разрешилось на следующий день после обеда: приехал вызванный добряком Витей доктор отряда. Все отсутствовали, Колизей рос и рос вдалеке, а врач, молодой университетский болван из поликлиники, небрежно осмотрел Нину, затем задумался, как бы уцепился за что-то, стал прослушивать и простукивать, уложил на топчан, мял живот, побарабанил по ключицам и сказал «мда».

Нина лежала, слегка задыхаясь, и думала, как это приятно, когда тебя трогают такие независимые, профессиональные мужские руки, так внимательно доискиваются, где же причина, так заботятся вообще, безо всякой собственной цели.

Доктор сказал «полежите пока», ушел, уехал на своем вездеходе, а потом явился Витя, проводивший врача. Нина догадалась, о чем он думает, потому что Витя заговорил о Маше, что ей плохо, у нее в больнице в Москве открылось легочное кровотечение. Видно было, что Витя уже готовый отец, он уже приспособлен для того, чтобы быть отцом чужим детям, любить их, хлопотать о них. Он хлопотал вокруг Нины, принес из своих запасов витамины и антибиотики, а потом побежал на стройку. Когда вечером приползли с работы девочки, они уже всё знали и сообщили Нине, что ее забирают в больницу в Булаево, у нее или плеврит, или пневмония.

Затем явилась Глюмдальклич со своими пустыми словесами, пустая, как шелуха, себя-любивая, корыстная, ненужная как нелюбимый мужчина, который пристаёт, потому что у него нужда, – разряд людей, ненавистный для молодой дамы, которой теперь являлась Нина. Глюмдальклич говорила, говорила, сидя на нарах, опять все те же пустые фразы, одиночество, ночество.

Нина собирала свои вещички, нашла под тюфяком пропавшую тетрадку, которую явно читали посторонние глаза – тетрадка пахла как-то иначе, и иначе, более свободно, разворачивалась, почти разваливалась.

Глюмдальклич, не моргнувши глазом, одиноко и значительно, как мужчина, закурила, помолчала и ушла к себе в палатку, и до глубокой ночи там звенела гитара, и известный голос страстно и плачевно взывал к ушедшей любви, а девочки дружно подхватывали припев: «Скажи ты мне, что любишь меня!» – весь гарем хором. Уже и Виктор что-то бубнил в

палатку, и ему задорно отвечал голос Глюмдальклич, а Нина лежала, задыхаясь, и терпеливо ждала утра, только бы убраться отсюда, не видеть и не слышать.

Девочки из вагончика утром, уходя на стройку, попрощались с Ниной чуть ли не как с покойницей, то есть мрачно, по очереди. Они, физически окрепшие на каторге, оставались, их впереди ждала зарплата, банный день обещали, даже выходной или с поездкой на озеро, или с походом в кино на центральную усадьбу, и мало ли еще что. Часть девочек уже перестала работать грузчицами, их кинули на саман – лепить из глины, соломы и коровьего дерьма кирпичи, и все их разговоры и мечты были о бане. Кроме того, они любили свою Гулю, вокруг была раздольная степь и ничто не мешало маленьким страстям гарема кипеть и разрешаться. А за самовольный отъезд со стройки полагалось исключение, выгоняли ото-всюду – из комсомола и университета сразу, всё.

А Нина отправлялась в собственное странствие, сначала на грузовике, потом ее посадили в маленький местный поезд, она повторяла, видимо, Машин путь, поскольку ее приняли в районной больнице, где Машу помнили, и одна сестра даже сказала: «Шустрая была ваша Маша, дитя помирает, а чести своей не теряет. Смеялась все».

Потом, оказавшись дома, привезенная испуганной, умоляющей матерью, которая пришла забирать ее к поезду, и дома даже и тени не было ни сантехника, ни его чемоданчика – оказавшись дома, Нина вызвала к постели своего милого художника, он явился раз и другой, был заботлив, а потом слинял как обычно. Кот есть Кот.

И вот тут, в октябре, как из преисподней, раздался голос по телефону, голос Глюмдальклич. Пьяная Гуля, не в силах, видимо, забыть, умоляла разрешить приехать, такое одиночество... ночество... Никто не люуубит... уубиит... Как из преисподней, сообщила, что ее выгнали из университета, прямо сказали, что за соvrащение несовершеннолетних, да, и теперь она работает укладывает асфальт... Живет опять в женском общежитии (она невольно хохотнула). Никого у нее нет, никто ее не любит.

Тут же в опровержение вышесказанного в телефонный разговор вмешался посторонний голос, женский, пьяный, лихой, предложивший послать всех на хел, плошу площения. Играла дешевая музычка там, как в аду, заунывная, из подполья. Нина лепетала что-то фальшиво, чтобы окончательно не убить эту несчастную, «болею, болею», на что Глюмдальклич с мужской прямоотой браво отвечала, что это ничего, я не боюсь заразы, зараза к заразе не липнет. И вылечим тебя, бутылка есть – есть, прямо в трубку задудел другой женский голос – плиедем и все, а иди ты к челту (это она адресовалась к Глюмдальклич, сопровождая, видимо, слова локтем). Далее повела свою партию Гуля, она по-мужски откровенно пожаловалась, что переспать-то есть с кем, но – и пьяный голос придвинулся и сказал «есть, есть, плиезжай», – но одиночество, ночество – как всегда, уверенная в своих силах и крепкая как скала, она вела осаду планомерно, неsgiбаемо.

Нина тихо возражала, что приезжать не надо, нет, а в ответ в телефонной трубке гремела дешевая плавающая музыка, там, наверно, шел свой вечный праздник с огнем и дымом, гулянье ничем не хуже других гуляний, однако Глюмдальклич настойчиво твердила об одиночестве и тоске, что нет никого и ничего, что не с кем даже поговорить, и пьяный голос подтвердил вдали, да, не с кем.

Нине тоже не с кем было поговорить, так получилось, совпадение, к подруге ехать не хотелось, полный дом родни – но с Гулей она говорить не хотела совершенно. «Пока», – сказала Нина, когда Глюмдальклич начала бормотать что-то совсем уже кошмарное типа «сделай мне ребенка», хлопнула трубка, ад отключился, все умерло, однако ад не умирает и не сдается, и долгие месяцы потом Нина вынуждена была разговаривать по телефону с Глюмдальклич, все еще стараясь ее не обижать, и выслушивала от нее фразы типа «давай поженимся» и т. д., терпела, чтобы не убить человека, потому что и об этом страшная Гуля уже вела разговор, о том, чтобы уйти, раз я всем мешаю.

Г. звонила отовсюду, с любого увиденного ею телефона, всегда вооруженная монеткой для телефона-автомата, она регулярно покидала свой асфальтоукладчик и мчалась, едва завидев будку (видимо), поскольку звонила по шесть-семь раз за смену. Т. е. ее агрегат полз со скоростью шесть-семь телефонных будок за смену. Она, как было понятно, упорствовала, надеясь на случай и на отчаяние. Она говорила о нищете и о том, что пьяные ремонтники ее изнасиловали в обед в вагончике (решили проверить, сообщила она с усмешкой), Г. сама часто бывала пьяной, дай я тебе заплачу, у меня аванс на руках, только выйди, спустись ко мне, выйди, я тебя повидею, скажи ты мне, что любишь меня.

Следующая глава у нас могла бы начинаться с предположения, каково могло быть Нинино будущее. Молодые умирают гораздо чаще чем мы думаем, больницы полны юными смертниками, которые сидят за двойными стеклами и не могут выбраться на волю, только во двор погулять, иногда во внешний мир парочками, как это проделывала смешливая Маша, прежде чем Нина узнала от Глюмдальклич, что Машу-то схоронили. Весь курс был, все пришли. Все ее уважали. Г. по этому поводу была пьяна и говорила, что Машка-то... Машка-то... маленький малыш, я ее не трогала... она больная была, все знали. Она обманула врачей, думала, что земля ее излечит, тяжелый труд на воздухе, спала на земле, чуть ли не ела эту землю... Боролась Маша, да. Витя тоже был на похоронах, аспирант, куратор курса, он, оказывается, женился, нашел разведенную женщину-врача с тремя маленькими детьми. Гудки, конец связи.

Нина свободно могла бы быть на месте Маши, могла бы и попасть в санаторное отделение психбольницы им. Соловьева, как советовала маме мамина подруга, глядя, что здоровая девка сидит и держит телефон на коленях, ожидая (бесплодно) звонка, подошел и ее черед, она не спит, не ест и не устраивается на работу, хотя денег у матери не хватает даже на еду; Нина, затем, могла бы свободно оказаться в положении Глюмдальклич, если бы сбежала от материнских наставлений работать на завод с предоставлением общежития; но судьба распорядилась иначе, спустя год мы уже застаем Нину на службе (редактор многотиражки одного из институтов), вокруг полно мальчиков вполне земного вида, в том числе и один Николай, выпускник, младше Нины на три года, но это незаметно, поскольку она-то худенькая, а он крупнее и выше, ходит как тень за Ниной, дежурит в редакции, провожает ее домой, пригласил на день рождения домой к папе и маме, все, планка падает, рубеж взят. Нина невеста, мама вся прямо поникла, когда Нина ей это сказала, восприняла как удар судьбы: почему, спрашивается? И покраснела. То ли вспомнила, как сама была невестой? Короче, они расстаются, мама с дочкой. Нина будет жить у мужа. Мамино розовое в незабудках платье висит в шкафу, она его бережет на случай появления Кого-то (с большой буквы). Вопрос типа «у тебя Кто-то?» она задавала этой своей подруге по телефону однажды, когда та не хотела с ней говорить.

Нина – продолжение нашего разговора – как-то возвращалась из города Балашихи домой, дымным зимним вечером, вскочила в автобус, и вдруг сердце у нее дрогнуло от ужаса: ей послышался совершенно явно голос Глюмдальклич. Источник голоса, по виду небольшой мужчина в замасленной кроликовой шапке, стоял впереди, спиной к Нине. Речь у Глюмдальклич шла о том, что почему ты (имелась в виду ее собеседница, молоденькая женщина тоже в кроликовой шапке, но поновей) – почему ты вышла замуж тогда и ни разу не зашла ко мне, а эта собеседница, милое личико под шапкой, светлые честные глазки, плюс к тому нечистые, спутанные кудряшки из-под меха – она радостно возражала, что уже все, уже развод, все, я от него ушла. – «Но ты меня бросила, – приглушенно гудела Глюмдальклич, – меня выселили из общаги, я голодала прямо». – «Все, все, – горячо и убежденно твердили светлые глазки и кудряшки, – теперь все, ты увидишь!» – «Увижу, – упрямо и обиженно тянет Глюмдальклич. – Предала, теперь все».

Они внезапно стали пробиваться к выходу вперед и сошли, обе небольшие, худые, и Глюмдальклич, в костюме рабочего и в промасленной ушанке, мелькнула в проеме и пропала.

Это тоже была Нинина остановка, и она осторожно выглянула из задней двери. Путь оказался свободен, можно было выбираться из автобуса. Далеко впереди Глюмдальклич шла широким шагом, сцепившись об руку с подругой в тесный нищенский узел.

Нина шла за ними, как преследуемый за охотником, то есть замедляя шаги.

Парочка провалилась в подземелье метро и пропала.

– Скажи ты мне, что любишь меня, – тихо запела на морозе Нина (люди иногда поют для себя на улице) – и вдруг она заплакала, вспомнив своего милого Кота и эту пору безумной любви, когда она сидела у телефона в ожидании, а вместо Кота звонила надоедкая Глюмдальклич в сопровождении хора под гитару, все звонила и звонила, сквозь дым костра своего ада.

– Скажи ты мне... Что любишь меня... – пела, захлебываясь слезами, Нина.

Донна Анна, печной горшок

Она была все время как бы тайно занята (секрет без разгадки: никакого знака наружу не поступало). Огонь, желтый, землистый, пробивался с ее лица, выдавал себя то в зенице глаза, то в цвете щек, то в запекшихся губах.

Она знала, что за ней все время неустанно наблюдают многие, выдававшие себя (тоже было заметно) как-то особенно вывороченными белками глаз. Мелькало это белое и то темно-желтое, белое охотилось за желтым, желтое пряталось, темно-желтое, повторяю, цвета желтой глины.

Как печной горшок, осторожно передвигала она свою голову, охраняя тайны этого горшка, заключающиеся (очень просто) в том, что надо было этот горшок налить до краев водкой. Причем владелица горшка все время, двигая свой горшок в том или ином направлении, жила не в углу под лестницей, не в каморке, а в огромной квартире среди собственной семьи, среди детей, при наличии мужа и кучи знакомых, подруг и друзей: приходящие усаживались за стол, выставлялись бутылки, какая-никакая закуска, добрые лица выставлялись над столом как пустые бутылки, и печной горшок сиял добротой и своей тайной, целеустремленный темно-желтый горшок; пели песни, курили, спорили об искусстве (оба, и муж и жена, были художники), эти споры были не об искусстве, что как положить какой цвет рядом с каким, не любители сидели тут, а профессионалы, которым смешно обсуждать ремесло; о деньгах шла речь, о выставках, о заграничных идиотах кураторах и галерейщиках, об эмигрантах, которые на многое надеялись и получали вдесятеро больше подлинной цены, а потом гонорары и авторы завяли, поникли – за столом не говорились слова типа «без родной почвы», само собой разумеется. Само собой разумелось, что эмигранты завядали не от предательства, их предавала родная почва, отсылала, уже не держа корешки.

Сидящих за столом родная почва не отсылала, редко отпускала в командировки зарабатывать какие-то деньжонки в марках, франках или фунтах, причем сидящие со смехом обменивались историями, как кого обманули там и там, и печной горшок (звали ее донна Анна неизвестно почему) не отзывался, горя своим теперь уже медным огнем, медью отсвечивали глаза и рот и даже светлые кудри, Анна хорошела на втором стакане – такая стадия – хорошела неотразимо, все вокруг теснее сбивались, пели, кричали, чувствуя свое братство, а потом донна Анна падала. Стукалась медным горшком об стол.

Анну утаскивали, компания продолжала гудеть, ведь оставался еще и муж, добрый и мягкий, хороший брат-товарищ, вечно устраивал выставки, вернисажи со стаканчиками и бутылками, крутились проекты, Шорош давал деньги, знаменитый компьютерщик давал

деньги, у мужа Анны они перетекали через руки, уваживали почву для произрастания кураторов, постмодернистов, концептуалистов и неомилитаристов, кого угодно.

Простой народ входил в темные галереи, где с тарелки на тарелку под светом верхних направленных источников света лилась, допустим, загадочная лента слов, которые надо было бы прочесть, дойдя до конца. Темнота, мрак, светящиеся белизной тарелки и т. д.

Веселые проекты с хохотом представлялись Леопольду (прозвище мужа), за каждым проектом немедленно выстраивался ряд рабочих рук, протянутых за деньгами, затем выстраивался ряд столов на вернисаже, ряд бутылок на столах, ряды стендов, ламп, рам под стеклом, редкие фигуры посетителей, затем проект гас, залы пустовали, а за обеденным столом в доме донны Анны опять шли беседы под звон посуды, Леопольд собирался доставать деньги, и что-то опять начинало закручиваться, а печной горшок заполнялся.

Нельзя сказать, что при этом дом был под паутиной, посуда немытая, а дети голодные, нет. Печной горшок молча действовал по утрам, приходили вереницы подруг, кто-то что-то делал, где много людей, там всегда найдется неприкаянная душа, за ночевку готовая мыть и драить, а уж послать за продуктами было легче легкого, и при этом Леопольдова мать, горемыка (которая не ходила к нему в гости и не могла залучить его к себе, обихаживала сама свой собственный угол, и то слава богу), так вот, эта мать, жалея внучков, засылала к сыну в дом якобы нянь, свою агентуру, няни уживались неподолгу, но дети все-таки реально были обстираны, помыты и накормлены, младшие отведены и приведены, старшие наглажены и снабжены завтраками в рюкзак: такова была установка несчастной высланной бабушки, которая, разумеется, так и не смогла понять смысла этого брака.

Детей было восемь. Старшие двое от первого брака печного горшка, затем остальные через пень-колоду, кто от Леопольда, кто от промежуточного человека, когда Леопольд ушел вон, а этот пришел и сел на гнездо, и вывел своих, за год один родился, второй наметился, но как-то сам собой пришелец умер, донна Анна осталась лежать не вставая, денег не оказалось совсем, и Леопольд вернулся на царство, и деньги потекли.

Анна встала, родила, потом опять родила, стоп.

Итого оказалось их восемь: четверо вроде Леопольдовы, четверо точно от других.

Печной горшок все так же хоронился, чураясь чужих людей, выходил к гостям только к своим, новых не признавал, а уж тем более в те поры, когда Леопольд на зимние каникулы выпроваживал весь сброд в дом отдыха на Клязьму, там они отдыхали много лет, и уж тут горшок всюду прятался от посторонних лежа в номере, редко просверкивая по аллеям парка среди детей, и уж тем более выворачивались глазные белки встречающих, провожая донну Анну, выедавая взорами ее пламенеющее желтым печным загаром лицо, темные, цвета пива, гляделки и темный же запекшийся рот, буквально цвета бурой крови, и прекрасные светлые кудри на фоне снега, и всю ее фигурку, теперь уже точно похожую на таковую же тряпичную куколку старой вокзальной шлюхи, т. е. тонкая нога, слегка отвислый живот, руки жилистые как кленовые листья, общая вогнутость стана и всегдашняя улыбка на устах, какое-то извинение типа реверанса, что я еще живу.

Они оба еще жили, хотя ряд громких скандалов прогремел над головой Леопольдика, какая-то ушедшая за границу и никогда не вернувшаяся ни в каком виде выставка (ни вещей обратно, ни денег за эти вещи), а выставка была не хухры-мухры неопределенной ценности проект типа «коммуналка сороковых», альманах хлама, канализационных труб и старых унитазных седел, проводов с кляксами побелки и с лампочками на конце, кухонных столиков из тонкой засаленной фанерки, крашенных хозяйской лапой вдоль и поперек, чем аляпистей, тем выразительней образ, т. е. собрание того, что еще можно было найти вокруг домов во время капремонта, и за граница этим любовалась, как если бы ей представляли добычу археологов Помпеи, но все это стоило столько, сколько стоила рекламная кампания.

Что же касается описываемого позорного случая, то за границу ушли самоценные вещи, книжная иллюстрация тридцатых годов, гордость нации не хуже золота исчезнувшей Трои.

Бедные частные лица, какие-то старушенции – преемницы прав, какие-то нищие внуки требовали сатисфакции в долларах со многими нулями, Леопольд не мог представить никаких документов, пропали важные бумаги, у него вообще все в доме исчезало, как в Бермудском треугольнике.

Печной горшок долго пребывала в одиночестве, гости как-то повывелись, тень тюремной решетки повисла над домом, старшие дети, женившись, ушли, кто-то учился за границей, двух посторонних средних детей забрали те дед и бабка, осталась какая-то последняя дочка, еще небольшая, для которой не стояло вопроса как поднять мать с полу, донна Анна оставалась лежать где пала. Но появившийся Леопольд опять нашел деньги под какой-то проект, дал есть еще двум десяткам шелкографов, соорудил еще одну и еще одну экспозицию с участием короля и королевы какой-то малой монархии, но тоже был остановлен на полдороге, Шорош не стал финансировать, стоп.

Поехали с младшей девочкой в тот дом отдыха на Клязьму на лето, опять печной горшок прошелся с ребенком по аллее, а потом лег и не встал. Уже девочка бегала в свои четырнадцать лет что-то устраивала, поскольку папу нашли на дороге рано утром, сердце. А кто говорил доза.

Печной же горшок Анна не поднялась даже на похороны, все валялась и валялась, что было странно, уже ведь и водки не было никакой, никто не привозил. Но потом выяснилось, что донну Анну все это время снабжали уборщицы в обмен на одежонку, в том числе и на дочкину.

Т. е. это была догадка подруг и друзей, которые по старой памяти приехали за Анной на машине и не обнаружили чемодана, куда складывать вещи, однако и вещей не нашли.

Донна Анна вышла к машине на закате дня, пламенея под лучами низкого солнца, темная как старая картина, только с копной совершенно седых волос, кутаясь в вязаное пальто художественных расцветок, на ногах дивные мягкие сандалии, местное население не все хватало в обмен на водку, уборщицы не оценили, не взяли.

На этом вроде история кончилась.

Друзья говорили, правда, что все эти годы Леопольд жил с одной женщиной вполне открыто, с прекрасной женщиной, которая ему во всем помогала, и это длилось много лет, она осталась бездетной ради Леопольда, а вся безобразная жизнь донны Анны, бывшей красавицы, протекала на этом позорном фоне. Чуть ли она не пила ли с горя, но пьют всегда находя повод, говорили другие, причем сама Анна никогда ни звука не проронила насчет мужа, терпела свой позор как могла, ни слова обвинения, улыбка треснутого горшка. И не ее вина, что она, как ни торопилась, не поспела первая и осталась вдовой, донна Анна.

Два бога

Как ни странно, но любой подвиг, святое самопожертвование или счастливое совпадение на том же месте не кончаются, как роман или пьеса заканчиваются свадьбой. Жизнь продолжается и после того счастливого совпадения, когда, к примеру, человек опоздал на корабль под названием «Титаник», или после того – в нашем случае – когда женщина родила ребенка одна, без мужа, без семьи, совершенно отчаянно решив спасти тот сгусточек жизни, о котором ей сказала врачиха, да. Тридцать пять лет, полное одиночество, даже крушение, случайная связь с парнишкой двадцати лет, он после армии, и видимо, вся жизнь впереди, веселая пирушка, метро еще работало, но уже без пересадки – а парнишка обитал чуть ли не

в пригороде, это раз; второе, что они танцевали, дурачились все вместе, маленький отдел в пять душ, общим хороводом, и наша Евгения Константиновна тоже взялась плясать, девушка в очках, старший редактор, а Дима-то был курьер. И третье – что Дима по-детски ошарашенно глядел на часы. До дому, до тьмутаракани, на метро и автобусе уже не доехать. Он сказал – ладно, идите, я как-то придумаю. А была ледяная ноябрьская ночь, и вот ее-то Евгения Константиновна (Геня) и Дима провели вместе, то есть вынужденно вместе. Она повела его с собой, да ладно, Дима.

Здесь была предыстория, что квартиру Гене (Евгении Константиновне) построила бабушка, дала денег, ликвидировав свой дом в пригороде. Бабушка вырастила Геню. Спасибо, но на этом дело не кончилось. Бабушка приезжала к Гене когда хотела ее увидеть, всегда неожиданно, у нее были ключи, и оставалась ночевать, если внучка приходила поздно.

И вот, добравшись до своего домашнего очага, Евгения Константиновна (в сопровождении скованного Димы) с ужасом обнаружила в уголку прихожей, за дверью, бабушкину палочку. Приехала!

Они оба засели в кухне. Тихо и аккуратно, чтобы не разбудить бабу, Евгения Константиновна постелила Димке на узком диванчике что нашлось в окрестностях – чистое банное полотенце и скатерть вместо пододеяльника. Красненькую подушечку, которая почему-то валялась на диване в кухне, Е. К. положила ему под голову. Дала еще одно полотенце, послала в душ. Потом пошла в ванну сама. Вернулась. Дима лежал смущенно, подозревая, видимо, нехорошее. Как многие девушки боятся мужчин, так парнишки опасаются взрослых женщин, это правило. То есть Дима скованно лежал на боку, скрюченный как знак доллара, накрывшись желтой льняной скатертью до ушей. Е. К. села в его ногах, потом молча заплакала, опустив голову на обеденный стол. Она ничего не сказала Диме о бабушке. Он мог этого не понять, у него у самого дома жили две бабушки, мама и тетка, он их любил, это все в отделе знали.

Дима привстал, начал утешать Е. К., гладил ее по голове, по плечам. Обычное дело, мальчик рос, видимо, в любви (те две бабушки), его гладили и утешали, и он знал, как посочувствовать, проще простого. Она прижалась к его ладони мокрой щекой. Он ее обнял, как ребенка, заговорил «ну что ты, ну что ты». Дальше гладил по спине, поворачивал к себе, склонял. Сказал священную фразу «ну иди ко мне». Как-то они уместились на диванчике, Дима даже не посмел раздеть Е. К., просто задрал на ней халат. Первый раз все прошло в суматохе, второй раз более торжественно. Дима был недавний дембель и многое знал в теории. Бабка не выходила. Заснули. Рано утром (была суббота) Дима в ужасе вскочил ехать на подготовительные курсы, сонная Е. К. даже не успела напоить его чаем, исчез. Е. К. его не провожала, он нагнулся и поцеловал ее на прощанье легким детским поцелуем, как тетю или маму, всё. Хлопнула дверь. Через восемь с половиной месяцев Е. К. родила сына, причем случай с Димой больше не повторился.

Почему она оставила ребенка, не сделала аборт: во-первых, в тот день, выпавшись, вся разбитая, она отворила дверь в комнату, желая поговорить с бабкой, но никого там не было. Однако палочка в прихожей стояла, и бабушкина большая сумма находилась на обычном месте, на стуле. Е. К. пошла к соседке, и та ей выложила, что вчера вечером, возвращаясь из театра, она увидела на пороге ее квартиры лежащую без сознания бабушку. Вызвали «скорую», пока она ехала час, старенькая совсем уже была плоха, но все-таки увезли ее в больницу живую. Хорошо что выползла на порог. Думали разыскать Е. К., но телефонов никаких не было. «Я ей под голову красненькую подушку положила, из комнаты», – сказала с укором соседка.

Через две недели, уже после похорон бабушки, Е. К. в ее честь решила сохранить ребенка. Для себя, как единственно близкое существо.

Но это всё слова и девизы, а ежедневная жизнь оставляет их без употребления. Дима вскоре ушел из отдела в другой отдел, этажом ниже, и не курьером, а мл. редактором, учился, каждая минута на счету, пробегал мимо, радостно здоровался с Геней как с человеком, который приятен и мил. Как с первой учительницей, которая (ясно) хочет спросить многое, но некогда!

Правда, это выражение на его лице к весне сменилось каким-то преувеличенно-приветливым видом, ибо Е. К. была уже сильно тяжела, шел месяц май. В тот год стояла страшная жара, и Е. К. ходила вот именно что тяжело, даже грузно, но вид имела опрятный, аккуратный, волосы пышные, как всегда, только рот оттопыривался как у негритянки, и в руке всегда был большой, скомканный носовой платок, которым она постоянно вытирала губы.

Итак, Дима, хотя совершенно отстранился от Е. К., но все так же мило ей улыбался, не обращая внимания на ее преображенную внешность. Он вроде бы не понимал, от каких причин что происходит и сколько месяцев (недель) надо считать назад. Он был мальчиком из пригорода, возможно, там, в деревне, у него имелась девочка, однако в отделе этажом выше (где курьером теперь работал другой парнишка, теперь уже шестнадцати лет) – там-то всё все знали и считать умели. У Е. К. не было манеры что-либо скрывать. Ее любили в отделе за что-то, неведомо за что. Так просто, любили и всё, вечно у ее стола толкали кроссворды после обеда, у нее же дома собирались на всякие мелкие сабантуи, короче: Диму известил Артем Михайлович, Тема, солидный дядя, обожавший Е. К. не совсем платонически. То-то и то-то, Дима, знай. У тебя (от тебя) будет ребенок. Дима улыбался как всегда (так рассказывал А. М.), совершенное дитя! Дитя, у тебя будет дитя.

Дима все так же здоровался с Е. К., радостно, и пробегал мимо, а Е. К. уже последний раз мелькнула в буфете как пузатая шхуна под парусами, белое с синим, лицо белое, бледное, синие тени под глазами, платье с белым воротничком. И растаяла. Диме было ни до чего, он сдавал экзамены на курсах и сдал! Весь май его не было, потом он вернулся на работу и опять ушел, кажется, поступать в институт.

В середине августа он появился, и вскоре его остановил в коридоре Артем Михайлович и поневоле укоризненно сказал: «У тебя, между прочим, сын родился. Запиши адрес роддома».

Дима все так же радостно, как debil, закивал, достал ручку и записал все на каком-то клочке.

Отдел в составе троих (заведующая, Тема и некто Даша) с цветами прибыли встречать Геню из роддома. Заведующая, Светлана, выступала с георгинами, тортом и бутылкой (для медсестер). Тема волок большой пакет детского приданого, Даша принесла одежду Е. К., все было как полагается. Наша не хуже других. Сдали имущество нянечке. Расположились покурить на лавочке.

Тут же была небольшая толчея из двух девушек и молодого парня, а также маленькой толпы деревенских родственников – две тетки, бабка в платке, какая-то мятая личность типа «дядя Вася», из водопроводчиков, и – вот так финт – посреди всего этого сиял своей светлой личностью Дима с букетом гладиолусов! Это его родня, возможно, все эти люди!

– Привет, Димочка! – завопила Светлана Аркадьевна и замахала георгинами. Дима, сияя, склонил свою светлую голову. Похудел как цыпленок, видимо, из-за экзаменов.

Затем вышла смущенная Геня, ее встретил у дверей Дима и взял ребенка из рук нянечки. Все честь по чести. Тетки и бабка затолпились, взглянули, дружно сказали «Димкин», заплакали, дядя Вася вытащил из тряпочной сумочки бутылку, пластмассовые стаканчики, всех обнесли, а Геня, расцеловавшись со своей новой родней, приняла дитя на руки и отъехала с какой-то приехавшей в такси подружкой, только сказала «я очень рада, всем позвоню». Дима почему-то сиял. Светлана Аркадьевна, Даша и Тема задумчиво пошли к

метро, вслед за растерянными Димиными родственниками (сам Дима шел как бы тайно улыбаясь, и на вежливый вопрос Светланы, как экзамены, ответил, что все в порядке).

Затем пролетел год. Евгения Константиновна вышла на работу. Настали трудные времена. Она нашла няню, и все деньги уходили на это. Геня пополнела, как полнеют необеспеченные женщины с детьми, от хлеба и картошки, носила, видимо, чьи-то старые вещички, зашитые колготки, стоптанные туфли. В буфет она теперь не ходила, питалась взятыми из дому кусками хлеба с чем-нибудь дешевым. Стала более суровой. Торопилась уйти пораньше.

Дима пасся где-то этажом ниже, сам худой как палочка, при встречах освещался своей детской улыбкой. Он работал и учился по вечерам. Тем не менее (в отделе это знали) Дима раз в неделю посещал Егорушку, приходил по субботам поздно вечером, после занятий в институте, и просто сидел у кровати, неотрывно глядя на ребеночка. Сидел и смотрел. Ночевал на кухне. Денег у него не было совсем, бедная оказалась его семья, дядя Вася пил, брат тоже. Затем дядя Вася за три месяца сгорел, а к моменту, когда Дима закончил свой шестилетний институтский марафон и получил диплом, его брат отравился чем-то, какой-то дрянью, и тоже ушел. Таяла Димкина большая семья, мать уже находилась на исходе дней, бабки не было давно, и вскоре у парня в живых осталась только тетка. Он жил с ней в двухкомнатной квартире в Москве, уже полноправный редактор, работяга с высшим образованием.

К тому времени Геня давно рассталась с финансово непосильной няней и отдала ребеночка в сад на пятидневку. И Дима каждую пятницу приходил к садику и забирал Егорушку, вел его домой к Гене и оставался с ними до понедельника, а в понедельник вел ребеночка рано утром в сад.

Егорушка звал Диму «папа». У мальчика были папа и мама, все как положено. А затем, когда ему уже надо было идти в школу, Дима перевез свое семейство в собственную двухкомнатную квартиру, где еще стоял в уголку костылик тетки, где мирно росли цветы, даже огромная пальма, где полы были старательно помыты, а на них радостно пестрели чистые домотканые половики; где икона висела в красном углу, а стол в кухне красовался под белой скатертью: с праздничком! Только кастрюли оказались гнутые, да посуда разномастная, да и запах стоял соответственный, запах бережливой нищеты, сладкого шерстяного тлена из битком набитых шкафов.

Егорушке понравился его новый дом, его собственная комнатка (там Дима и Геня поклеили новые обои). Папа даже где-то нашел и подколотил, подклеил ему маленькую одноместную парту для уроков, то есть жизнь потекла. Е. К. вскоре стала работать на крытом рынке, торговала цветами в горшках, Дима устроился в аспирантуру в тот институт, который он закончил, начал преподавать, а также нашел себе частные уроки для поступающих. Остался еще домик, домишко в пригороде, семейное гнездо, куда выезжали на выходные и летом и где Геня выращивала цветы и рассаду. Да и свою однокомнатную квартиру Геня сдала.

Все шло тихо, мирно в семье Егорушки, родители никогда не ссорились и дружно вопили на сына, когда он пытался капризничать. Иногда только Дима напивался до бесчувствия, поколения алкоголиков делали свое дело, однако Геня умела выводить мужа из запоя, и – умная женщина – она как-то изловчилась, накопила денег и приобрела для Димы подержанную машину синего цвета, ездить за город. Дима ошалел от счастья, все свободное время возился с этой машиной, доводил ее до кондиции, и они теперь ездили на дачу на своем транспорте, не в электричке и не в битком набитых автобусах с рюкзаками, с сумками на колесиках, с ящиками упакованных цветов в руках, нет, о нет!

Всё? Нет, не всё. Первое: Е. К. так и не вышла замуж за Диму. Второе: суровая жизнь закалила Диму и Геню до состояния стали, а Егорушка рос мягкий, ласковый, как бы безвольный, и уже виделся за горами призрак его возможного будущего, будущего всех мужчин

Диминой семьи, и история зарождения Егорушки сулила также и со стороны матери легкомыслие и случайные связи.

Крепко думали отец с матерью, оценивая внезапно протрезвевшими сердцами свое прошлое и тот грешный момент, когда они сплелись на диванчике полуголые, похотливые, страстные, и ребенок зародился в этот нечестивый, незаконный миг... Светлым, страшным заревом вставала прошлая жизнь их племен и родов, установивших строгие правила совокупления, нужные для воспитания таких же твердых устоев у детей, чтобы все шло без стыда и сомнений, да.

Что из него выйдет, что, трепетали родители и тем суровой относились к своему простенькому, добродушному, вечно сияющему Егорушке, который всем все отдавал, все терял в школе, вечно жаждал друзей, любви, поцелуев и часто плакал, наказанный, в своей комнатке, и опять совался с поцелуями к мамочке и папочке, своим единственным на земле, рыдал и прощал, и тянулся всем существом к двум суровым богам, Диме и Евгении Константиновне, а они всё замирали в предчувствии...

Рай, рай

Так весело жили, сдали большую родительскую квартиру, сняли поменьше, трехкомнатную, раз. Два: тут же начали строить и достроили (на месте дачной развалюшки, курятника с садом, путано-перепутанные кусты и вишни с грушами) – построили на зависть (добрую) соседешек двухэтажный гигант, виллу со всем что надо: холл так холл, во весь почти этаж, с камином, переходящий в кухню, терраса на теплые дни вокруг дома, наверху спальни, ванна. Далее, внимание, небольшой бассейн и – о чудо – теннисный корт! Всё, ребята. Приехали в лучшую жизнь. Деньги должны не лежать, а вкладываться. Закаты, рассветы, здоровье, вот во что вложены должны быть деньги! Цветы высших сортов аккуратно, группами на изумрудном газоне. Кусты остались только повдоль забора, по периметру, в них мощно лазает, продирается чудо-собака, громадный дог, еще щенок. Добрый, участливый, во все ломится грудью, корм ли ему выносят или соседи явились, но так может налететь с приветом, что пошатнется пришелец. Что и требовалось. Не каждый решится, кстати.

Соседи, чтобы посетить, жались за забором пока кто-нибудь не выйдет на звонок – старуха или другая старуха – и не впустит, держа сумасшедшего за ошейник на манер скульптурного персонажа, как древнегреческий герой своего коня. Дог на двух ногах, передними болтает, гарцует в воздухе, красота, группа имени Клодта.

В результате старух на даче оказалось действительно две, одна неприспособленная, интеллигентка под восемьдесят, сухая, высокая когда-то, вечно гостеприимная, но растерянная, ибо пса не способна удержать ни за какие пряники, даже в виду подруг, жмущихся за калиткой. Бормочет «ща-ща» и оглядывается. Явно боится этого милого исполина. Как явно боится и вторую старуху, которая должна явиться, крепкую женщину-няню, нанятую специально (экономка), чтобы готовить и вести хозяйство: изволите видеть, вдова полковника. Какое там хозяйство! – восклицала Елизавета Федоровна (неприспособленная), что, не обойдусь кашей? Что, не подмету? Как всегда подметала? Не постираю после НИХ в машине? И развешу на веревках, да, помаленьку. Я ли не растила Сережу, не держала на себе дом? («Но как, – мысленно возражает невестка, женщина милая, крепкая, деловая и тоже уже около пятидесяти молодка. – Но как, это же вечные легенды про сгоревший уют и будильник в холодильнике!»)

Сами молодые и их дети, девушка старшая и мальчик помоложе, приезжают на выходные, Ксюша и Алик, но тут же ночью, прибывши, хохочут и пьют с гостями внизу в холле, днем у них сон до вечера. Как говорит невестка, они тоже устают, у Алика сессия (к примеру), у Ксюши шеф зверь.

Но проходит бледный июнь, и уже ни у кого из молодежи, видимо, нет сил погружаться в машину и пилить два часа до фазенды в пробках, гари и жаре. Построились бы поближе! Как люди! Надо было к бабушке в деревню громоздиться на даровой участок. Пожалели денег как всегда.

Это то, что в лицах изображает невестка, забежав к добрым соседям в очередные выходные, а соседи передают Елизавете Федоровне, пройдя сквозь пограничный контроль. Сквозь скульптурную древнегреческую группу «отрок укрощает коня», в ролях – буйный дог и вдова полковника. Елизавета Федоровна молча кивает, стараясь не вспоминать свой домик, перепутанные стежки-дорожки, грушу-вишню, вишневый сад, короче.

Итак, корт пустует, бассейн сухой, две старухи ведут дачную партизанскую войну. Одна другой всовывает свои макароны с сардельками (тьфу!), с кетчупом из сельпо. Утром вчерашнее, днем недоеденное, вечером чаю похлебать.

– И чем она кормила там, в своем полку? – кротко роняет старшая старуха, когда соблюден пограничный контроль, гости рассаживаются около камина, а младшая старуха уже отпустила своего клодтовского коня и рысью побежала досматривать гремящий в зимнем саду сериал.

Затем, перекрывая искусственную речь дубляжа, раздается короткий женский рык из зимнего сада, у стекла которого прыгает разочарованный дог.

Доклад: младшая старшина орет на собаку как с цепи съехав (кротко отмечает старшая, неприспособленная).

Собака царапает стекла, роет землю копытом и гавкает с присвистом, младшая старуха гавкает тоже, параллельно из ящика журчит дубляж, неестественные интонации актеров. На этом фоне идет ответ, раздраженный хор четырех такс слева из фазенды и домовитый лай дворняжки Рекса за забором напротив, спасенной щенком от занесенного топорика. Хозяйева ее как раз сидят у Елизаветы Федоровны, сцена у камина.

– Не могу слышать этот дубляж, так наигрывают, так наигрывают! (Елизавета.)

– Там нанимают одну и одного, она проговаривает все женские роли на разные голоса, он все мужские, так дешевле, – поддерживают ее соседи.

Это их вечная тема, они люди театра.

Еще тема – собаки. Там, за забором, собаки любимые – четыре таксы слева и дворняжка напротив. А дог всем оказался посторонний, его побаиваются, хоть и жалеют. Он, простая душа, в своей тоске свалит с ног любого!

Кстати, говорят соседи, лучшей охраны и не найти, слава идет по всему поселку. Мы-то еле пробираемся.

Но все-таки визиты продолжаются, к Елизавете Федоровне не зарастает тропа, люди проторили сюда дорожку еще в былые годы и, как старые кони, все сворачивали к ее бедному домику, к ее вишням и грушам, ныне на виллу. Ходят: хозяйева четырех такс – мама с дочкой и внучкой – и две сестры с той стороны улицы. Все они сослуживцы, ветераны со старой работы, из погорелого театра, Елизавета была женой зав. музыкальной частью, сама сидела в литчасти, сын тоже актер без ангажемента, театральный ребенок, частично сломанная судьба, поскольку их коллектив ликвидировали, всех разогнали, набрали новых на ту же сцену с новым режиссером. Таксина старшая хозяйка и две сестры из оформительского цеха, художники по костюмам, все трое на глубокой пенсии. Молодая таксина хозяйка певица. Всё. Таков состав группы. Все происходит на фоне огромных денег, которые ежемесячно получает невестка за сданную внаем иностранцам квартиру Елизаветы.

Собственно, участники бесед живут тут по четыре месяца в году как в раю. И Елизавета так жила, пока не срубили ее вишневый сад и не приставили к ней старшину (темную силу со сковородкой в одной руке и кетчупом в другой). А четверо Елизаветиных друзей именно живут в раю, ходят по вечерам друг к дружке в гости, когда закончен круг днев-

ных забот, полив-прополка-сбор урожая-готовка-стирка-мытьё посуды, все тоже устают как собаки. Они потихоньку выпивают, закусывают, сплетничают по поводу других участков, отвлекают прекрасную Елизавету от горьких воспоминаний о вишневом саде и от вечного ожидания сына Сережи, который все не едет, вместо него регулярно является невестка.

Соседушки звонят у калитки, рык дога, переходящий затем в сдавленный визг, поскольку – не проходит и пяти минут – он уже висит на поводьях в руках у почти клодтовской вдовы, чему ответом дикий ближний лай четверни такс, также заливистый ответ дворняжки Рекса напротив.

Соседушки ведут с собой своих постоянно меняющихся гостей полюбоваться достижением театрального поселка, виллой; а также Елизаветой, которая может говорить на трех языках. Елизавета угощает невесткиными передачками – печеньем, конфетами, что осталось от прожорливой старшины.

Вилла как маяк над морем возвышается башенкой поверх кудрявых зарослей поселка, но только вблизи ее можно рассмотреть в полном великолепии, со стороны сухого бассейна и теннисного корта. Монолитное стекло, балясины, обзорная площадка наверху.

За всем этим – постоянное кап-кап, текут денежки в ручки невестки, ежемесячно сколько-то тысяч долларов, ибо это шесть комнат в центре! Евроремонт она тоже сделала в паузе между двумя заездами съемщиков – и оправдала его, сдав жилье за цену вдвое! Собственность должна работать! Даже если это три в месяц (с горящими глазами считают соседи), то это тридцать шесть тысяч в год! Мыслимое ли дело! А если три пятьсот в месяц?! Что же это за суммы такие, мечтают нищие пенсионерки, на эти доллары можно и роту солдат нанять охранять Елизавету! Или тот же полк!

Считается (среди невесткиной семьи), что младшая старуха идеально подходит на роль пажа рассеянной Елизаветы. А: жена полковника, т. е. дисциплину знает и режим поэтому будет блюсти. Б: дом в порядке, и что еще нужно (для сына с невесткой).

Но маленький комитет солидарности, горстка живых душ, толкует вечерами, что Елизавету затравила эта армейская вдова. Что Елизавета тайно сосет размоченные сухарики и питается консервами «горбуша в собственном соку», запивая кипятком, только чтобы не глотать макароны из холодильника, которые она выносит (тоже конспиративно) Тиму, догу, благодаря чему Тим раза два ее чуть не забодал от благодарности. Далее, завидев свою старшину, Елизавета во все лопатки ковыляет к себе наверх. Далее: что старшина все дни проводит глядя сериалы в зимнем саду под пальмами, восьмичасовой график, четыре утром, четыре вечером; что она грубит Елизавете, если та о чем-то попросит, а в свободное от сериалов время висит на телефоне, не давая возможности сыну Сереже дозвониться до матери и наоборот. И: к старшине повадился ходить поселковый сторож Андрей, алкоголик, который зимой пьет и грабит дома под видом нападения со стороны. Андрей занят на разных работах у вдов и старушек, берет гонорар водкой, а старшина его поит в прозрачно видимых целях, так рассуждает веселая компания, состоящая из владелиц такс и хозяев спасенного щенком Рекса, спасенного как раз от топорика пьяного Андрея-сторожа. Андрей объяснял свое дикое намерение тем, что кормил два месяца щенка на сало, вот те раз. Собачье сало, оказывается, применяется от туберкулеза, которым болен в лагере брат Андрея Валерка, убийца двух старух в их собственной деревне за линией, которые не дали ему самогона. Валерка тоже ошивался при дачном поселке, тоже на разных работах, и воровал что мог, теперь умирает. «Гарсиа Маркес!» – восклицает Елизавета.

Круг замкнулся: собакоубийца Андрей с убийцей братом Валеркой, и при них террористка вдова полковника по кличке Старшина.

Ох и недаром зачастил Андрей к старшине, он приучает к себе дога! – такая догадка озаряет лица комитета. – Вот-то они ночью обворуют дом!

Затем следующее явление: Елизавета в одиночестве семенит встречать своих гостей к калитке, и напрасно оглядывается, старшина не выходит.

Здрасьте, вдова занята с Андреем, решает квартет по ту сторону забора, а Елизавета еще стоит, уклоняясь от наскоков дога, который в вертикальном виде может общаться с ней на одном уровне, причем кладет копыта ей на хрупкие ключицы. Одной рукой держась за его ошейник и подвергаясь облизыванию, Елизавета другой рукой, шатаясь, отпирает щеколду, и тут же подружки уводят дога вперед, и он счастлив, что с ним разговаривают как обычно разговаривают с собаками, притворно строго и на бранном диалекте.

Елизавета, отдышавшись и обтеревшись, докладывает комитету о новых подвигах своей надзирательницы. На обед та сварганила суп из макарон с жиром от говяжьей тушенки (которую сама слопала!). На второе – запеканку из вчерашних же макарон с творогом, завалявшимся в холодильнике! А себе она принесла помидор, огурчиков и куру! И слив и яблок!

– Ну сволочь, – не удивляются друзья.

И в первый же приезд (через две недели) невестка Елизаветы обретает в лице Большой Четверки движение сопротивления по полной программе.

Невестка, хорошая женщина, полная сил, хотя и изнуренная долгой дорогой, когда приходит навещать двух сестер, хозяйек спасенной дворяжки, то приносит гостинчик, конфет и пряников, и тут же щебечет, что так соскучилась по свежему воздуху, и что Елизавета Федоровна живет просто в раю, в раю, и получает в ответ напряженное молчание. Такой дом, такой чистый кислород! А они все, вся семья, торчат в условиях Москвы, с утра на работу, вечером с работы, да жара (а то дожди), и так дико, дико устают, что в выходные только спят, царство сонных сурков! А квартирка тесная, населенная (четверо в трех комнатухах), вещей немыслимо старья, собранного из шести комнат, и не выбросишь чужое (тут кивок головой вбок и слегка назад, в сторону воображаемой Елизаветы Федоровны). Короче, ад и ад. А тут рай, рай и рай. Только вышла из машины – тихо, аромат, воздух, рай! И на всем готовом (опять легкий выброс головы в сторону). И тихо, одна в доме, тарарам, тиририм, одна и та же песня про вампира Елизавету, которая сосет все соки из семьи. Ей и домработница, и корт с бассейном! Всё для нея!

Тут следующий куплет начинает посторонняя солистка, гостья сестер, пожилая активистка театра, помрежка Лида. Горячая душа. Она гостит у сестер, обсуждая с ними проект письма в инстанции о спасении старого коллектива.

– А у нас другие сведения, – медленно начинает Лида, разворачивая свои пушки для залпа. И залп гремит! Лида выкладывает все что наблюдала за два дня.

– Ой да что вы, да не слушайте вы маму, – (невестка простонародно зовет свекровь мамой) – мама и в раю будет недовольна! Ей всегда нужен конфликт и быть несчастной! Сухарики, чаек, знаем-знаем! Хорошо, я заберу ее в Москву, будет жить (где только?) в жаре и в духоте, и будет опять же недовольна. Это же мама! Это же ее театральное амплуа! Взять Сережу на ручки и быть несчастной! Жалобы турка!

(Елизавета, кстати, так и озаглавливает свои ежедневные донесения: «жалобы турка». Это у них семейное, невестка подхватила.)

– А Сережа не приезжает – он уже сам старый, плохо себя чувствует, что-то с сердцем, он не может ездить так далеко, устает, – добавляет невестка. – Того гляди загремит в больницу.

Потом, через год, вся компания вспомнила эти роковые слова, но тогда им было не до того.

– Нет, – дает следующий залп Лида, цепко глядя на румяную от неудовольствия невестку, нет. Елизавета живет как в тюрьме с надсмотрщиком! А ей не надо никого! Она вас просит. Мы ей что, не сварим, не принесем из магазина?

Тут вступают члены Большой Четверки, что Елизавета в старом домике прекрасно справлялась и жила одна безо всяких нянь и без удобств, кран во дворе и всё. С керосинкой и сыном одна и справлялась!

– Молодая была, – полыхая щеками и все еще улыбаясь, говорит прижатая к стене невестка. – Это же было сорок лет тому!

– Оставили бы старый дом Елизавете, ничего бы этого не было, жалоб, – гремит Лида.

– Были жалобы! – сохраняя улыбку, отвечает невестка, бесстрашная, опытная, умелая, – были бы жалобы! Ну извините!

Тут она уходит, виляя попой, а члены Большой Четверки вкупе с Лидой долго рассуждают на тему о том, что живет вся та семья на деньги от Елизаветиной жилплощади, ее самое выселивши из Москвы, чтобы не мучиться со старухой летние четыре месяца, а полковница...

– Полковница, – режет Лида, – она не Лизу кормит, а дом сторожит, понятно?

Большая Четверка изумлена, но не слишком.

– Сдалась им Елизавета! Они боятся, что она старая, дом ограбят, все вынесут! И эта собака Баскервиль для охраны!

– Нет, Тим добрый, – возражает Большая Четверка.

– Да любой вор побережется войти к такому Тиму за забор! Его, кстати, когда-нибудь берут в дом? Ну в дождь, или на ночь?

Ответ отрицательный.

Полковница исчезает ближе к осени, на даче появляется какая-то дальняя родня, услужливая женщина-секретарь главного врача в отпуске, которая немедленно начинает дружить со всеми, однако лето кончилось, и холодный золотой сентябрь Елизавета доживает в нетерпении, считая дни, когда кончится ее ссылка.

Печаль поселяется в дачном поселке, редуют плодовые заросли, лег туман, зарядили дожди, топят печки, Большая Четверка парится в бане Елизаветиной родни, а на корте вдруг вырастает пучками растительность, как под мышкой у взрослого мужчины.

Елизавета на глазах чахнет, за ней все не едут, вместо того является (причем на электричке якобы) веселая невестка и плетет небылицы о том, что семья работает как волы и всем некогда.

Елизавета больше не жалуется, она молчит так, как будто все кончилось, все надежды, и правда взглянула на нее своими ужасными глазами, и больше уже старушка не шелестит, что никому не нужна и брошена, не поет все эти песни балованных людей. По-настоящему ненужные хорохорятся и обвиняют весь мир, сочиняют травлю, преследования, то есть доказывают свою тесную якобы связь с человечеством. Елизавета на пути к тому.

Она уже помалкивает, сидит румяная и почти не реагирует на аргументы невестки. Копит материал. Потом все будет обдумано.

Однако это последнее лето в деревне у Елизаветы, на собственной вилле, на другой год ситуация изменилась, квартиру (ту, шестикомнатную) уже не сумели сдать, внуки требуют отдельного жилья, семья разъезжается, и на этом фоне умирает Елизаветин единственный сыночек Сережа, ее герой и опора, не старый еще человек.

Вилла пуста на следующее лето, зарос корт, вылезает трава и в бассейне, кто-то приезжает туда, видимо, невестка сдала теперь уже этот дом, и где-то длится Елизаветина жизнь, как-то она еще существует, и Большая Четверка все вспоминает свою победу над полковницей и то счастливое лето, когда всё буйно цвело и давало плоды, и все были живы, когда такс было четверо (теперь их пять, щенка пришлось оставить из-за прикуса) и когда, как оказывается, все складывалось в тихое счастье и действительно рай, рай.

Колыбельная птичьей родины

У юных дев есть такая манера – влюбиться издалека, найти в толпе лицо и облик и смотреть, смотреть. И, допустим, дело происходит на факультетском вечере где-то ближе к Новому году, и все старшекурсники тоже тут. Гомон, тьма, музыка, и, к примеру, вдруг старый джаз, почти цирковой номер, музыканты настроились на лирику: колыбельная птичьей родины, *Луллабай оф бёдленд, луллабай, луллабай*.

У выбранного предмета лицо принца, светлые волосы, он давно уже отмечен в коридорах факультета, где шмыгает юная дева, он герой, звезда, немного плейбой.

Их, этих порочных красавцев, на факультете примерно по одному на курс. На пятом некто Игорь, на четвертом этот, на нашем Олег, кстати, совершенно некрасивый, но характерная черта: в дружбе с первыми девушками курса, это Лина, Алка и Таня. Он с ними в дружбе, а бегаёт за Ниночкой, белым барашком, она удивительная дура. Дура настоящая, без примеси, как в третьем классе, и всем рассказывает про своего мужа Изю, Изюма. Это мама выдала ее замуж за Изюма, в скобках Исаак, он гинеколог мамы, старик лысый, бе, ему тридцать шесть лет. Нинка еще рассказала подружкам (а те всему курсу), что у нее был спазм! Изюм не знал, что поделать! Встал и метался. Он объяснял это тем (а Ниночка объяснила курсу), что недавно умер Нинкин отец от тяжелого продолжительного рака легких, мама Нинки взяла его к себе, хотя они находились давно в разводе. Мама взяла его к себе умирать из больницы, одинокого, и он на высоких подушках лежа кричал. А Изюм настаивал на свадьбе, и вот, когда Ниночка вышла за него замуж сразу после папы, только схоронили, то так все и не получилось ничего, спазм! Нервное потрясение, объяснял Изюм всему курсу. И Изюму пришлось отвезти молодую жену к другому врачу-гинекологу, к коллеге, сделать небольшой надрез, чтобы Нинке не было больно при акции дефлорации. Все люди на курсе это широко обсуждали. Ниночка была дурочка, всего семнадцать лет, не очень красивая, не Линка с Алкой, но все мужики от нее падали. Что они в ней находили? Постороннего лектора привезли на факультет, писателя с двумя женщинами (жены?), так он сам вопросы задавал, и всё Нинке: вот вы, молодежь. Ответьте, вы, вот вы. Я? Вы, вы, да. Жены-старухи, каждой лет по тридцать пять, сидели у него по бокам и тоже опупело смотрели на Ниночку. Она буквально сияла своими светлыми кудряшками посреди аудитории, как ангел, на нее падало солнце из окна сверху. Все были в нее влюблены, лекторы, студенты, прохожие. А Лина, Алка и Таня, три громадные, широкоплечие красавицы, они занимались в секции плавания, и они диктовали моду на факультете: курили на галерке в аудитории, резались в карты и ржали, и все вскоре разошлись с мужьями, в начале второго курса. А девицей считалось быть у них позор. К третьему курсу Олег ходил за Нинкой упорно, как больной, хотя ничего ему перепасть не могло, Ниночка вообще не понимала, зачем он все время рядом как сиа́мский близнец, норовит слиться с ней руками и боками. Терпела, и всё, как лошадь терпит жокея. При этом рассказывала подружкам (всем то есть), что пришлось делать аборт. Изюм занес сперму рукой, вот! (Изюм, оправдываясь, всячески ей объяснял, видимо, все свои действия. Сделает и объяснит. Изюм ей, а она народам.)

Тоже больной на голову, плешивый Исаак встречал каждый день после лекций Ниночку на машине. А в аудитории он заходить не имел права, и там царил Олег и те, Игорь и Владик, с пятого и четвертого курса, похаживали в коридорах со своими свитами, властвовали, оживленные и опасные, сердце уходило в пятки. Наиболее красивым был как раз Владик. Тот самый принц, и наша дева и думать не могла даже близко когда-нибудь к нему подойти, но в тот предновогодний факультетский вечер так было шумно, прекрасно, полутемно, и тут этот старый джаз, «спи, птичий край». Все затопали, зашумели, радость и печаль пронзили бедную душу девушки, она вроде бы увидела чужого принца, он-не-он, скорей

почувствовала по общему облику, что это именно Владик, он стоял метрах в пяти, выделяясь в полутьме своими светлыми волосами. Дева начала на него смотреть во все глаза (попробую, подумала она). Смотрела-то она в туман, ничего не видя, светлое пятно, и всё, она всегда стеснялась надевать очки. Пялилась, целясь в самый центр этого пятна. Подобрала себе подходящий объект и ну глядеть простодушно, просто так, Владик-не-Владик, но как будто бы он. Близорукость снимала все преграды, дева и сама не ведала, что так прямо заглядывает человеку в глаза, так откровенно таращится, не стесняясь ничего. Глядела-то в пятно! И что был у самой девушки за вид при этом, улыбалась ли она или просто так растопыривала свои большие черные глаза из-под черной челки – она не думала об этом, о своих громадных черных глазах, чернеющих просто как две чернильные кляксы! (Видимо.) Ей многие говорили, что у нее за глаза буквально как бездонные колодцы, черные звезды, но не те говорили, неважно кто. Дураки с первого курса.

То есть она смотрела как баран на новые ворота на этого еле видного Владика, и вдруг оно, это пятно, как-то повиновалось неморгающему взгляду, встрепенулось, склонило голову (пятно смазалось) и пошло как по веревке по этому черному лучу.

Она (Маша) не отводила взора от приближающегося белого лица, Владик или нет? Или, не дай бог, какое-нибудь фуфло с первого курса? (Идиоты.)

«Луллабай оф бёдленд» хорошо катилась вперед как смазанный паровоз, тяжело разворачивался джаз, набирая ход.

Лицо подплыло, оказалось Владиком и подхватило Машу в свои совершенно обычные на данный момент объятия, только немного закололо в горле и онемело все тело.

Тем не менее музыка закачала Машу, повела, обволокла, понесла в руках Владика, он приблизил свое (совершенно новое и простое) лицо к Машиному лицу, щеку к щеке, так надо танцевать блюз, свинг, а Маша-то была маленькой девочкой, а Владик был высокий, длинноногий принц, но щеку он понизил свою, чтобы достичь Машиной бледной щеки, ее челки и огромных черных глаз, которые стояли неподвижно как у куклы, буквально торчали (Маша ничего не могла поделать), и Владик именно этим, видимо, и заинтересовался и посмотрел Маше прямо в лицо, как иногда поворачивался и смотрел на Машу с ее колен собственный Машин кот, обернется и поглядит, как бы сам себе не веря.

Владик по ходу разбирательства даже слегка отстранился, издалека заглянул ей в глаза и увидел, вероятно, нечто такое, после чего приходилось только бежать, как видно, – или остаться рядом с такими глазами навеки.

Владик выбрал первое, не желая ничего вечного, серьезного, ему, наверно, хотелось плыть по жизни легко, срывая цветы встречных-поперечных лилий и кувшинок. Вечно скользить в стране птичьих снов. Все ведь еще впереди! То есть Владик отошел, как только закончился этот блюз, знаменитый «край птиц», и дальше мелькал своим крепким кудрявым затылком, широченными плечами, своей мордочкой ребенка где-то там, в стране снов, среди цветущих лужаек, подальше.

Маша провожала взглядом все его передвижения, каждый танец, но уже тихо, не светила своими лучами, не напрягалась, не вела его. Мало того, она была озадачена: как это так, когда они танцевали, не было никакого счастья.

Обыкновенные руки, какой-то серый пиджак с определенным запахом нагретой, потной шерсти, какой-то кадык над распахнутым воротником, глянцевиная щека, светлые глазки, румянец. Подойдя, чудо стало неизвестным простым человеком, и всё. Отошло – опять превратилось в любовь.

Это была, видимо, модель, которая потом не раз повторится в жизни, – то, что уходит в страну птичьих снов, что покидает, не дается, то становится наваждением. Но как только из легкого тумана высовывается простая, крепкая морда, выступает кадык, пиджак, воротник, приближается эта проза, желваки жизни, так мечта довольно быстро упархивает, прощай,

страна птиц. И (думала Маша) если мечту так и удерживать на расстоянии, сколько будет слез, какие чувства, каждое движение Владика станет событием, о любовь (думала трезвая Маша). А вот полюбить живое лицо очень трудно, у юной девы в запасе уже было несколько таких историй, когда симпатяги появлялись, попавшись на свет черных глаз, а затем несли какую-то чепуху, оказывались дураками в конце концов. А раскапывать дальше, искать за банальностями, ерундой чью-то душу, доброту, щедрость, верность – это еще ей предстояло, да и не часто такие вещи попадают в жизни. Доброта! Ее поискать.

Вон проскакал легконогий Олег вслед за тройкой прекрасных пловчих, а Ниночка не ходит на такие вечера, ее Изюм не пускает. Они с лысым Изюмом шляются в гости к таким же чернобровым красавцам вроде Изи, где сидят эти врачи и их жены и расспрашивают!

Маша уже не расходует огонь своих глаз, и так вокруг нее ходят разведчики, желающие стать сиамскими близнецами, но она тихо следует взглядом, как подсолнух за солнцем, за Владиком, поскольку опять попала в страну птичьих снов, опять колыбельная укачивает ее, Владик далеко и намеревается остаться там, вдали, больше он не подойдет никогда, а Маша спустя два года устроится в тот же институт, где он уже работает, и через несколько лет грянет гром: Владик объявлен сумасшедшим. Он как-то присвоил (вроде бы) важные данные и угрожал своему начальнику с глазу на глаз, что если его не сделают руководителем группы, то он уничтожит эти данные! Но с ним поступили как полагается, обещали, начали оформлять, а потом взяли с поличным.

И пошли слухи, все всё узнали, как в случае с Ниночкиным Изюмом, человек стал прозрачным и ничтожным (такова роль слухов), и два месяца сумасшедшего дома дали Владiku возможность избежать судебного процесса за шантаж. Потом он уволился, принц со своими мужскими безумными мечтами.

Серьезные дела, а тут сны в птичьем краю о каком-то новом танце вдвоем в душном, темном зале среди праздничной толпы, когда щека к щеке, сердце к сердцу, одно склоняется, другое подымается на цыпочки, и светлые глаза утопают в черных, губы что-то говорят совсем близко... Колыбельная предполагает младенчика, но уже пролетели птицы над детским сном, спи, птичий край, спи, нет той лунной лужайки для красивых детей Маши и Владика, дети не родились, всё, баю-бай.

Детский праздник

Разгар событий наблюдался на так называемом детском празднике, где собрались как раз взрослые участники события, а именно трое – дед и фальшивые дед и баба. Остальные были статисты, и как раз статисты говорили, разговаривали, ели-пили, встречали и выпроваживали детей к их играм в их комнату, потому что во взрослой комнате шел финал конкурса сказок, дети насочиняли, и жюри (взрослые) должны были распределить призы главным образом так, чтобы никого не забыть. Выписывались почетные грамоты, с шутками и смехом. Подлинный дед молчал. Фальшивые дед и баба тоже.

Но молчание это было разное. Тот, одинокий настоящий дед, молчал как бы присвистывал. Легкомысленно он молчал, несерьезно, как бы скучая в ожидании чего-то подлинного, потягивал водочку, хлебнет, опять хлебнет, как воду, нехотя. Настоящий этот дед был красавец-кудряш, молодец, темные веки, сизые подглазья, очи горячие, брови вразлет: театр, молчал, скучал.

Двое фальшивых, супруги дед с бабой, тоже были довольно молодые, тоже горячие, особенно она: опять-таки глазки с искрой, коричневые веки, блестящие, чуть ли не цыганские, а у ее мужа представительность гусарская, стоял навывтяжку у стула своей жены весь вечер, молча пил вино, и она молча пила. Их детей-то не было тут, на празднике, они выросли. Семнадцать лет и восемнадцать лет, о них речь впереди.

Кругом в меру весело читали детские сочинения, темы были заданы с образовательным смыслом, детям дали заранее купленные фломастеры и альбомы, и конкурсанты должны были сказкой ответить на вопросы. Сказкой и картинкой. Чтобы окончательно не взбесились эти дети, наевшиеся, напившиеся как щенки. Дальше должны были быть крики, беготня по диванам, безумие, ломаная мебель и побитые чашки, плач в результате, чей-то вой, по животу пробежались, именинник бьет детской скамеечкой от плеча. Щенки-то грызутся!

Нет, ничего такого взрослые, воспитатели и руководители своих детей, допустить не желали, уже имелся опыт, и квартира была выбрана для праздника бабушкина, бабушка как раз сидела, наоборот, в квартире своих взрослых детей (без права визита в собственную квартирентку и последующего крика на детей, тех и тех, больших и маленьких), бабушке заткнули рот обещанием, что все будет в порядке, чистота и молчание, чтобы соседи в будущем не вывалили бабушке в лицо свои претензии где-нибудь в лифте неделю спустя, типа «а я вами недовольна».

Уже давно была придумана и введена для детских праздников разумная система призов, поощрительных подарков и т. д., ибо призы были тайной, и вот за эти засекреченные премии дети боролись с бумагой и фломастерами каждый в своем укромном месте, даже загораживаясь локтями. В ход, таким образом, пошел принцип конкуренции и материального, шкурного интереса. То есть, наевшись до тошноты, дети не заорали, не взбесились под лозунгом «хороши животные, сивые и потные» (подлинный текст одного стихотворения конкурсанта в прошлый раз). Они не стали проливать кока-колу на скатерть неверными движениями, не начали ползать под столом и затем лезть руками в торт, а смирно приняли из рук взрослых по пачке фломастеров и по альбому и принялись тупо водить глазами по потолку, т. е. творить. Творчество – это тихое, одинокое дело, особенно творчество на конкурс.

Все было сделано ОК, о'кей. И даже теперь, когда работы обсуждались в комнате взрослых, дети не пошли в загул, не заорали, не задрались, поскольку им погасили верхний свет, включили музыку после небольшого скандала, и они мерно, по объявленному расписанию, стали танцевать у себя в комнате в полутьме, причем некоторые детки просто сели по сторонам, отчужденные и принципиальные (это была не их музыка, и они-то и поорали в знак протеста). Однако и те, за кем осталась победа, танцевали без охоты, не было кайфа, что ли, и они то и дело лезли мордашками в дверь жюри, паслись поблизости. И не прыгали, не дрались, не ревели: ждали.

Ждущее за дверью дитя печально, приятно для глаза, надежда его манит, внимание собрано в кулачок, ребенок тяготеет в такие моменты к источнику своих надежд и не склонен биться детской табуреткой и совать напропалую по морде.

Тем более что взрослые объявили, что будут снимать баллы любым способом, придираясь к мелочам в поведении (причем не уточнили, что имеется в виду, то ли крики, то ли прыжки, то ли мелкие доносы). Это тоже был метод воспитания: озадачить, сбить со следа.

В данном элитарном кругу детьми дорожили как несусветным богатством, с ними занимались, им читали, играли им на гитаре и рисовали рядом (без принуждения заняться музыкой или изо, это важно). Ребенок обучится сам! Если возжаждает. Читка вслух, однако, была обязательной, по вечерам, после ужина. Поневоле дети что-то запомнят. Диким смехом сопровождалось, в частности, чтение (с выражением) «Мертвых душ». Также важно было обучение языкам, тут приходили педагоги. Детей учили по особенной программе летом и косо смотрели в сторону школы зимой.

Плоды этой системы образования сейчас вяло проплывали во тьме соседней комнаты, мелькая в полосе света как сытые рыбки, под какую-то их детскую музыку, о которой они все еще громким шепотом дискутировали. Та-та-та без передышки барабанчик, но энтузиазма в танцах не было даже у победивших.

Как уже отмечалось, все эти прекрасные, бледные от обжорства лица были обращены в сторону взрослой комнаты. Из-за та-та-та им не было слышно работы жюри. Явственно, может быть, раздавался только звонкий, как бы злорадный взрослый смех, смех судей, и судимые беспокоились, проплывая под барабанчик та-та-та в темноте детской.

По трое больших не принимали участия в этом празднике педагогики, в апофеозе родительской мудрости. Они напряженно молчали, не вмешиваясь в разговоры. Жюри искало формулировки, соревновалось в остроумии, а эти деды и бабка как бы были взрослее, их души коснулись подлинного, настоящего горя.

Только молодая бабка время от времени, блестя черными полуприкрытыми веками, вставляла свое очень веское мнение. Она-то была ближе всех тем детям в комнате, она всегда собирала их вокруг себя там, на отдыхе. Она их знала и была к ним равнодушна, и она-то и была тут царицей, главным арбитром во всем, в том числе и в распре между двумя дедами – безмолвно обвиняющим фальшивым и легкомысленно скучающим подлинным.

Поэтому ее муж, ненастоящий дедушка, стоял на страже жены, так весь вечер и простоял, и ничего не было сказано, и говорить было нечего, такая уж создалась тяжелая ситуация, раз хозяева детского праздника пригласили всех друзей по летнему отдыху. Там-то всё, на море, прошлым летом, в августе, и завязалось, но об этом ниже. Ныне шел ноябрь, отметим.

Кругом все всё знали, и совершенно не нарочно были созваны обе стороны, та и другая, просто нельзя никого винить! Все друзья! Все отдыхали, жили по четыре месяца в тех блаженных местах, на берегу моря, и многие годы подряд снимали в одном дворе сарайчики-мазанки, под жилье и мастерские. Ели-пили рядом, писали свои холсты (все подряд художники), пекли керамику, низали бисер, пели-сочиняли песни, а вечером сбывали плоды своих трудов, стоя на путях продвижения шумной денежной толпы отдыхающих. Картинки продавались днем, а бижутерию вечерами. Все платили дань хозяевам курорта, бандитам, все ели хорошо, купались и загорали, ходили в дорогую баню, дети росли на море сильные как рыбки, красивые и свободные, но дисциплинированные, на ночь чтение, после обеда за общим столом изучение языков, вечерами торговля, помощь родителям в деле продажи художественных изделий. Это детям дико нравилось, такая игра в магазин. Родители с трудом уводили их домой.

И правильно, пусть малые идут тем же путем что большие, пусть все знают! Пусть ведают, как художник добывает денежки, денежки на еду, жилье и образование, на уехать-приехать, на все соблазны, мороженое, катера, такси, кепки и надувные матрасы, на ночные шашлыки и маскарады в холмах под звездами, у костра, с фейерверками (там-то, в холмах, все и произошло, но об этом позже).

Правильное воспитание давало правильные плоды, дети помогали родителям и постоянно обретались на виду. Ничто не проходило мимо внимания взрослых, ни один их роман, ни танцы на дискотеке, где все девочки поголовно влюбились в одного таинственного взрослого незнакомца лет четырнадцати и рыскали как разведчицы, узнать как зовут, передать письмо без подписи, затем пригласить на вечерний маскарад! И результатом было то, что незнакомец прямо велел сказать настырным девкам (десять и двенадцать лет): «Только о ширинке думают!» Фразу передал свой мальчик, специально посланный. Плач стоял великий. Родители смеялись смущенно. Пусть девочки пройдут все пути, лишь бы на глазах и искренне все рассказать. Но не рассказали, плакали. Правда выяснилась нелегким путем доноса (тот, свой мальчик) и неназойливого допроса у кровати на ночь. «Боже, сколько еще будет у вас таких, и каждый раз плакать?» – «Потому что я дура, – сказала, рыдая, младшая, – каждый раз плачу!» Старшая же пошла якобы в туалет и сбежала, ее искали до утра все, с фонариками в холмах, на пустых пляжах, искали хоть одежонку, хоть сандалики. Мать то и дело, отойдя в сторону, подвывала как собака. Девочка нашлась уже днем, ночевала у

знакомых на окраине села, наврала им, что родители внезапно уехали. Был великий бум, но быстро-быстро все замяли.

Родители надеялись, что детям с ними интересно жить. Причем семьи торговали дорого, производство было налажено, необработанные камни поступали из дешевого Заира булыжниками, их пилили на пластины, стоял специальный станочек. В ходу были: кожа, самоцветы, серебро, керамика, перламутр. На заработанное семьи жили всю суровую зиму, начиналась школа, автобусы, уроки, и то иногда женщины шли (под праздники) к известным торговым точкам продавать бижутерию, и дети опять-таки помогали.

Но зато летом был кайф! Под звездами, под солнцем, на побережье, среди выжженных холмов, в запахах диких трав и таковых же выгребных ям, среди пестрой толпы, где попадались бандиты с внешностью охранников и наоборот, где из каждого ларька и забегаловки раздавалась своя музыка, и местные подростки в трусах, а также продавщицы пирогов в халатах замедленно проходили сквозь лежбище невинных нудистов, – там, там, на песчаных пляжах, гнездилась жизнь.

Семьи устраивали ночные карнавалы в холмах, под большим секретом делая маски и костюмы, лунная дорожка стояла столбом в черном, тихо кипящем море, веяли ветры, а луна! А крупные звезды! А ночное плаванье нагишом! О счастливейшее детство, о радость родителей, чьи дети хороши, умны, послушны, чувствительны, трудолюбивы и практичны, всем приходят на помощь и способны на преданную дружбу!

И не без романов, как же.

И вот под морскими звездами, в степных холмах, старшие дети и совокупились, не без этого.

Сын бабки и деда затем собрался привести девушку в мазанку к матери, семнадцатилетний привел шестнадцатилетнюю. Мама, я полюбил человека (пауза, мать кивает, подозревая бог весть что). Мама, этот человек беременный (мать кивает чуть ли не с облегчением), мама, у нас будет ребенок – хорошо, хорошо, сынок, воспитаем.

Теперь догадаемся, что тот, скучающий, одинокий, кудрявый дед на детском празднике, который все потягивает водочку, – он и есть отец бывшей шестнадцатилетней девушки.

А те двое, она сидит, а он стоит – это родители бывшего семнадцатилетнего мальчика. То есть к описываемому моменту прошло больше двенадцати месяцев, дети выросли на год и уже родился ребеночек.

Этих дедов и бабки общий внук.

То есть они сначала думали, что внук общий, после того лета взяли юную чету в поезд, привезли нового беременного члена семьи к себе в квартиру и поселили мальчика (своего) и девочку (чужую) вместе как семью. Всё. Ничему не сопротивлялись, пусть будет как сын хочет. Ребенок – и тот и другой – святое дело.

Итак, кудрявый мужик, кто пьет водочку и скучает, – тот отец девушки и настоящий дед.

Те же, которые помалкивают, муж (стоит) и его жена (сидит), те дед и бабка, как оказалось, фальшивые. Они всего только родители мальчика. А с девочками бывает всякое, и она предупредила мальчика как раз, что ее изнасиловали. И показала кто, и сказала, что преследует опять. Мальчик восемнадцати лет, взрослый, из незнакомой семьи. Такие вещи происходят в холмах, летом. Под звездами.

И девочка (16 лет) как раз и была защищена и отбита у этого насильника, с ним хорошо поговорили. (Это мальчик семнадцати лет рассказал матери, потому что все ей рассказывал с детства.)

И мальчик (17 лет) защитил и отбил девочку, спас, привлек и уволок как свою добычу, уволок опять-таки в холмы, потому что в мазанку к маме некуда, а девочка жила в мастерской своего кудрявого отца, там тоже все на виду.

Они, таким образом, оставшуюся часть августа уходили на ночь опять-таки в холмы.

Теперь: от кого она беременна? Такой у взрослых встал вопрос. И девочка не скрывала, что не знает.

Они жили дома у его родителей, жили, наконец родился ребенок, и семья сразу поняла (мать): все правильно, все верно, ребеночек не наш, народная поговорка.

Младенец был привезен из роддома, заранее купили приданое, но мальчик (несостоявшийся, неуспевший отец) проявлял себя в дальнейшем беззаботно. Он, во-первых, учился в серьезном университете, все дни до ночи заняты, во-вторых, у него тоже имелись друзья и случались всякие встречи и дни рождения! Дома он бывал редко, а девочка никуда не ходила, сидела с сыном, кто же будет с ним сидеть. Девочка влачила и влачила свое фальшивое существование в квартире посторонних людей, неизвестно кто будучи им, взятая из милосердия бездомная беременная.

Ибо – теперь уже речь о ее родителях: у ее папы (того, молодого с кудрями) пятая – двадцать пятая жена, тоже молодая. А у мамы той бывшей беременной, у нее вообще нищенское положение, тридцать семь лет, однокомнатная квартирка в провинции плюс сама родила без мужа, пошла по стопам дочери почти синхронно. Разница в две недели, что ли. И жить ей не на что.

А эти, фальшивые дед с бабкой, ни секунды не сомневаются в правильности своих действий, что взяли домой беременную девочку, но вот их сын приходит и уходит так, что его почти не видно (тем временем ему уже восемнадцать).

И встает такое предположение – а что если сделать генетический анализ крови и тому ребенку (18 лет) и этому (0,5 года). И если уж так случится, что дитя родное, то безотносительно к поведению юного отца взять на себя тяжесть бремени воспитания родного семени своего племени.

И вот так они сидят в одной комнате на детском празднике, дед и дед с бабкой, настоящий и фальшивые. И настоящий, подлинный предок совершенно не интересуется ни дочерью ни внуком, богема! Пятая – двадцать пятая жена, еще один новый ребенок, видимо, просится наружу.

А эти двое, порядочные люди, вложившие души и свои жизни в жизнь сына, он вырос отзывчивым к чужой беде, к изнасилованной девушке, и спас ее от того навязчивого парня, спас и привез, но дальше, что дальше? Спасти мало, это один порыв и момент, а спасенную куда теперь девать?

Грамоты уже все подписаны, призы предназначены, детей приглашают как на елку, дети аккуратно входят, моргая после полутьмы, красные, потные юные животные, грациозные, умные, породистые, еще небольшие, но пролетит мгновение – и все, под звездами моря раскроются бутоны, падет семя, завяжутся плоды, начнется судьбина.

Вот они сидят, трое вокруг тех незримых, отсутствующих детей, тоже благородных и прекрасных (18, 17 и 0,5 лет), причем уже всем известно, что 17 и 0,5 исчезли из дому!

Общее молчание.

Девочка 17 лет ушла с ребенком 0,5 года на руках. Ничего не взяла, ни коляски, ни вещичек.

Фальшивые дед с бабкой каменно сидят, кудрявому же деду, может быть, что-нибудь известно?

Но никто ничего не спрашивает. Это же детский праздник!

Все выяснится позже, потом, им позвонят. Им скажут, что девушку (17 лет) забрал тот, первый, тот насильник, признающий ребеночка своим, тоже спас их, сгреб свое достоинство в охапку, свистнул машину и увез домой, к другим деду с бабкой.

Не успели ни генетически проверить шестимесячного, ни решить неразрешимую задачу, куда девать этих двух, 17 и 0,5 лет, и что поделаться с мальчиком (18 лет).

Но всё в мире куда-нибудь деваётся с глаз долой, всё, всё в этом мире, и иногда не найдешь следов, да и кто будет искать. 17 и 0,5 лет, 18 и 19, 12 и 14...

Йоко Оно

И если есть на свете справедливость, то вот она, налицо: сидит девочка, вылитая Йоко Оно, бровки вразлет и лицо в тех же очках, явно косит под Йоко Оно, во всех смыслах косит, выглядит как японка; она и есть хазарка из старинного народа хазар, ее бабка, короче, была хазарка и мать была рождена таковой же от хазарина, а теперь ее нет, этой матери, у девочки Йоко. В семнадцать лет эта мать бросилась с балкона, не бросилась, а перелезла через перила и повисла, медленная смерть через повешение через перила. Мать и сестра прибежали и схватили ее за руки, но тут она решительно выскользнула из их рук, потные у всех были ладони, не удержалось это их тройное сцепление; а ее дочь, девочка Йоко, валялась еще в коляске, так была мала.

Почему она ускользнула из их рук, ясно, обиделась. Она пила со своих четырнадцати лет, а хазарам пить нельзя. Там где русский выживет, остановится, хазарин продолжит до гибели, такое было мнение у пьющих русских, у крепкого окружающего хазар народа, крепкого на выпивку. То есть как (объясняла матери этой погибшей девушки-матери ее взрослая подруга Оля, сама полукровка), то есть как: покоренные сибирские и степные народы как огня должны бояться водки, водка есть истребитель слабого, старинного, древнейшего генофонда, водка это генетический СПИД, посмотри – Африку и Азию косит СПИД, а наши древние народы валит с корня водка.

Погибшую мать нашей Йоко Оно звали Ира (Земфира), и ее как раз скосила водка, а также мать и сестра, мать-то была красавица, умница и талант из элиты этого древнейшего царства, мать занималась искусством и ездила в экспедиции по сбору образцов народного творчества, у нее были то поездки, то конференции, то выставки, то гости ночь за полночь, то переговоры, то стажировки на месяцы в Москву, а муж-хазарин пил и погиб еще раньше, талантливый режиссер; девочки, Ира и Зоря (Зарема), тоже талантливые, рисовали и пели. Но в результате жили одни, в свои одиннадцать и десять, потом четырнадцать и тринадцать лет, и тут начались дворовые компании, на девочек сильно повлияла детская элита микрорайона, самые физически развитые подростки, которые быстро подхватывают образ жизни окружающей среды, т. е. не образ жизни родителей, а общепринятый, общенациональный, общегородской, то есть общий ритм и движение. А ритм такой, что надо веселиться, пока мы молоды, тут гремит музыка, танцуют по телевизору без ничего, в винном отделе ритмично гремят бутылки, все собираются в группы и весело курят и пьют, сочетаются браками здесь же, и только отщепенцы из детей, ботаники, ботаны, ботва, учат уроки, согнувшись над учебниками, а вот умные дети веселятся.

Эти девочки, Ира и Зоря, так и веселились, мать приезжала каждый раз, а дочки дикие, домой ночевать не приходят, и старшая пятнадцатилетняя Ира в одно из таких возвращений матери после первого же ее слова «А почему» вывернулась и уехала в Москву, якобы на зимние каникулы явилась к маминной подруге («Можно к вам, тетя Оля, мама уехала в экспедицию» – «Разумеется, можно, Ирочка») и Ирочка живет, тихо сидит смотрит телевизор, готовит суп, убирает, встречается с работы тетю Олю в фартучке, клеенка накрыта салфеткой, ужин готов, а потом проходит пять-семь дней, и юная Ира просится погулять («Можно я пойду погуляю» – «Конечно, Ирочка, пройдишь по воздуху, в четырех стенах просидела, у тебя каникулы») – и Ира уходит на трое суток и возвращается пьяная, внизу стучит счетчиком такси («Я приехала на такси, тетя Оля, дайте, пожалуйста, столько-то») – а по белому сапогу течет кровь, порезала ногу (и срочно вернулась на такси). Тетя Оля позвонила на всякий случай по межгороду домой матери Иры, и обман и самозванство вскрылись, раз-

гневанная мать потребовала дочь домой. Тетя Оля отвезла обманщицу на вокзал и на свои деньги купила ей билет и проследила, чтобы поезд отошел.

Там, в тот приезд, в Москве, Ира и забеременела и, пребывая на родине, в сентябре родила. Мать Иры, хазарка Катя, после скандала с младшей дочерью, которая в честь рождения племянницы лежала дома пьяная, эта Катя пошла в роддом с запиской «иди куда знаешь», грех, конечно, но теперь дела не поправишь. Катя имела в виду, что пьянство младшей дочери не есть ли результат влияния старшей, которая достучалась до родов в шестнадцать лет.

Ира же, наоборот, не бросила своего младенчика, но и не вышла из роддома, мотивируя это тем, что мать не принимает. Был позор на весь город. Ира самочинно переговорила с юристкой роддома, составила какое-то заявление и сдала через месяц месячную девочку в дом ребенка, сама устроилась в этот же дом санитаркой и вернулась к матери с победой. То есть теперь она работала, ребенка домой не внесла, но и от ребенка не отказалась.

Ира изменилась, стала серьезной, берегла молоко в свободные от дежурства выходные все равно два раза в сутки бегала кормить дочку, а как же. И в питье знала меру.

Тут каким-то образом она позвонила, видимо, в Москву тете Оле все той же, дала один адрес и имя, с кем поговорить и что сказать. Тетя Оля, добрейшее существо, выполнила поручение, и на горизонте хазарской семьи возник московский мальчик двадцати лет, сначала в виде голоса по телефону, а затем и сам приехал жить, ребенка наконец принесли домой, и счастливая, хотя и пьющая молодая семья поселилась у хазарки-матери Кати и даже расписалась.

Катя была рада такому исходу, хотя новый зять нигде не работал, и иметь четверых детей на руках вместо двоих оказалось довольно трудно. Она как-то изворачивалась, все время ездила в командировки, в доме стоял дым коромыслом, дворовые друзья Иры и Зори то и дело сидели в кухне и пили, и вдруг младшая дочь тоже оказалась с пузом, когда младенцу новобрачных исполнилось семь месяцев, то есть катастрофа: тоже будет ребенок и тоже в шестнадцать лет.

Подруга Оля, к которой несчастная Катя, почти дважды бабушка, в очередной раз приехала в командировку и с жалобой на судьбу, эта подруга Оля даже начала сплетать в утешение какую-то хитроумную сеть доказательств, что хазарки выходили замуж-то, то есть воспроизводили генофонд, очень рано раньше – но и русские тоже, вспомним того же Пушкина Евгения Онегина няню Татьяны – она вышла замуж в тринадцать лет, а муж был и того моложе, «мой Ваня».

Вспомнили Пушкина, поплакали за рюмочкой, хотя никакой Пушкин тут ни в какие ворота не лез, объясняй не объясняй разврат хоть старыми обычаями, хоть хазарской наследственностью: еще бы вспомнить слова того же Пушкина о «неразумных хазарах»! Оля и сама признала, что у нее у самой внизу, во дворе, каждый вечер пьют представители русской национальности тоже до упора, молодые в подъезде, старшие у стола где играют в домино. А совсем маленькие, как говорят данные газет, вообще пьют по чердакам и подвалам спрятавшись, хотя, к примеру, сама Оля, музейный работник по этнографии, пила мало в своем хорошем уже возрасте, ссылаясь на головную боль по утрам, у нее туго шло это дело, и семью она так и не завела. То ли дело Катя, которая пить умела и имела вон какую семью.

Кстати, продолжали беседу подруги, и с Пушкиным не все тут совпадало, если взять возраст няни из «Онегина» и ее русскую национальность; т. е. не все русские рожали в тринадцать и не все хазары должны быть неразумными. Катя-то родила в двадцать и в двадцать один, как полагается, причем будучи замужем, и все историко-литературные, а также этнографические оправдания поведения и судьбы не играют никакой роли в каждом отдельном случае, примеры есть и в одну, и в другую сторону.

Так они поговорили над своими рюмочками, а живот Зори рос и рос, и когда мать Катя вернулась домой, то Зоря при всех, плача, закричала, что живет (сожительствоует) с Ириным мужем Ильей и ребенок будет от него. По виду это была истерика беременной после очередного вопля матери насчет нестиранного белья во всех углах, логики не прослеживалось никакой от восклицания до ответа, но сквозь интонации крика Зори прослушивалось еле заметное самодовольство. Тут разразился всеобщий стон, Илья сразу же ушел и уехал в Москву, обиженный до глубины души (а пропадите вы все тут вместе взятые), ушел навеки, муж двоих и отец двоих, и в полной, теперь уже не хазарской, а греческой традиции произошли трагедийные преждевременные роды, т. е. Зоря родила недоношенную девочку, причем с волчьей пастью. Звучит страшно, но суть простая, ребенок не может сосать молоко, у него не заросло что-то во рту, нёбо. В довершение всего дитя было слепое. Зоря оставила дочь в роддоме, и дальнейшая судьба этого младенца канула как капля дождя, безымянно и сразу в почву, в ничто, растворившись среди других судеб брошенных детей-калек; тайна мило-сердно укрыла как могильным дерном все мысли, питание и прогулки слепого ребенка с волчьей пастью, а вот Ирочка не выдержала, бросилась с пятого этажа, перелезла в рыданиях через перила балкона, сначала размышляла, но когда прибежали сестра и мать, тут она и повисла. Руки у всех были потные, стояла хазарская жара, такое объяснение, и Ира ушла из их рук.

Что касается ее дочери-сиротки, то она взрастала у бабушки Кати, для чего эта молодая бабка перебралась в холодную Россию, в Подмоскowie, устроилась работать через подругу Олю в музей, там Катю знали и ценили, и там она и умерла спустя тринадцать лет, то есть не на рабочем месте, а у себя в Подмоскowie, какой-то странной смертью на глазах у внучки, от какого-то гриппа, причем в несколько часов, запретив девочке даже близко подходить (боялась, видимо, заразить).

И внучка послушно не подходила, сидела на кухне, пока в сумерках не затихло хриплое дыхание бабушки Кати, мамы Кати, как звала ее девочка.

Только тогда послушная (или инертная) Йоко Оно испугалась и пошла к соседям.

Эта Йоко Оно теперь живет буквально нигде, у той же тети Оли в однокомнатной квартире, тетя Оля слегка состарилась на своих музейных сквознях, питается одуванчиками, буквально ничем, тронулась в сторону обожаемого буддизма и лечит все болезни тибетским средством из лошадиной мочи.

Они с Йоко прохлопали квартиру, эту жилплощадь по праву наследования первой очереди заняла пьющая Зоря; она вышла замуж как-то лет в семнадцать, разошлась, пропила комнату, жила еще с кем-то и еще с кем-то, в результате приехала за наследством не откуда-нибудь, а из деревни из-под Рязани, вот как. Предъявила свои права.

Маленькой хазарке Йоко Оно почти четырнадцать лет, и если есть справедливость, то вот она: девочка рисует, прекрасно поет, откуда-то знает английский и ходит на работу к тете Оле сидит за компьютером вечерами, играет. Хочет составить свою игру, новую. Тетя Оля с робостью ползает по инстанциям, хочет куда-то пристроить талантливое дитя, в детдом для одаренных сирот, например, хотя девочка наотрез отказывается. Девочка сложная, замкнутая, инертная, всего стесняется, сама для себя чашки воды согреть не может; но ест, слава богу, хорошо, и вот с этим у нищей тети Оли проблемы.

А где-то сидит и пьет в унаследованной квартире молодая тридцатилетняя Зоря, и где-то бродит в вечной тьме ее слепая детдомовская дочь, а еще дальше, в неведомых далях, вернее, в мыслях Оли, витает образ хазарки Кати, которая задает Оле сложный вопрос о судьбах народов и пятнадцатилетних дочерей этих народов, то есть чего ждать для Йоко Оно и существует ли общенациональная судьба, общенациональный путь и некая гибель нации через поведение ее, нации, подростков – или же нет, и можно еще на что-то надеяться.

Шопен и Мендельсон

Одна женщина все жаловалась, каждый вечер за стеной та же музыка, то есть после ужина старики соседи, муж с женой, как по расписанию, как поезд, прибывают к пианино, и жена играет одно и то же, сначала печальное, потом вальс. Каждый вечер шурум-бурум, татати-татата. Эта женщина, соседка стариков, смеясь, всем своим знакомым и на работе рассказывала об этом, а самой ей было не до смеха. Всяко ведь бывает, и голова болит, и просто хочется отдохнуть, невозможно ведь каждый вечер затыкать уши телевизором – а у стариков все одна и та же шарманка, шурум-бурум, татати-татата.

Они, старики, и выходили всегда только вместе, чинно и благородно семенили в магазинчик, тоже по расписанию, раненько утром, когда взрослые, сильные и пьяные находятся на работе или спят, и никто не обидит.

Короче, со временем эта соседка даже узнала их репертуар, спросила довольно грубо, в своем шутовском стиле, столкнувшись с ними (они как раз шли в магазинчик во всем светлом и выглаженном, как на бал, она в поношенной панамке, он в белой кепочке, глазки у обоих радужные, ручки сморщенные) – че это вы все играете, здравствуйте, не пойму – то есть она-то хотела сказать «зачем вы все играете мешаете», а они поняли ровно наоборот, всполошились, заулыбались всеми своими ровными пластмассовыми зубками и сказали, она сказала, старушка: «Песня без слов из цикла Мендельсона и вальс какая-то фантазия Шопена» («тьфу ты», подумала соседка).

Но все на свете кончается, и музыка вдруг кончилась. Соседка вздохнула свободно, запела и завеселилась, она-то была одинокая брошка, то есть брошенная жена, вернее, даже не жена, а так, получила по разъезду однокомнатную квартиру, и кто-то у нее поселился, жил, приколачивал полку на кухне, даже кое-что купил для снаряжения уборной как настоящий хозяин, пришел с седлом в упаковке и поставил его на болты, приговаривая, что что же это за сиденье, сидеть нельзя. А потом вернулся обратно к себе к матери. И тут эта музыка каждый вечер за довольно тонкой, как оказалось, стеной, вальс Шопена и с ошибочкой в одном и том же месте, с запинкой, как у застарелого патефона, можно убиться. Телевизор же стоял у другой стены, а здесь был диван, как раз патефон оказывался каждый вечер под ухом. То есть слух у этой соседки обострился как у летучей мыши, как у слепого, сквозь весь грохот телевизора она различала проклятых Мендельсона и Шопена.

Короче, внезапно все кончилось, два дня музыка молчала, и спокойным образом можно было смотреть телевизор, петь или плясать, правда, кто-то отдаленно как бы плакал, как ребенок пищит выше этажами, но это тоже кончилось. «Ну и слух у меня», – потом сказала на работе эта соседка стариков, когда все выяснилось, то есть что этот писк был писк мужа старушкипианистки, она была найдена не где-нибудь, а под мужем на полу, он уже, оказывается, давно лежал парализованный в кровати («а я-то думала нет, я вроде их встречала, но это было ведь давно?») – сама с собой продолжала этот рассказ молодая соседка), он лежал парализованный, а жена каждый вечер, видимо, играла ему свой репертуар под ухом у соседки, чтобы его, видимо, развеселить, а потом она как-то упала, умерла у его кровати, и он стал сползать, видно, к телефону и в конце концов рухнул на свою жену, и из этого положения все-таки позвонил как-то, квартиру вскрыли, оба они уже были неживые, быстрый исход.

«Ну и слух у меня», – жаловалась их молодая соседка всем подряд по телефону, вспоминая тот отдаленный писк или плач и рассчитывая то время, которое понадобилось (вечер и вся ночь и весь следующий день), чтобы старик дотянулся до телефона, это он пищал, старичок, видимо.

«Ну и слух у меня», – с тревогой думала соседка о будущих соседях и вспоминая про себя с любовью и жалостью Шопена и Мендельсона, – вот это были люди, образованные,

тихие, пятнадцать минут в день шумели, и все, кто придет им на смену? И умерли с разницей в день, как в сказке, жили долго и умерли с разницей в день», – примерно так она думает, оглушенная тишиной, Шопен, Шопен и Мендельсон.

Жизнь это театр

Саша жила осторожно, то есть как осторожно: ни во что не вмешивалась, будучи женщиной без квартиры, – и в тех местах, где приходилось ночевать, даже не подымала голоса, присутствуя, к примеру, при семейных сценах с битьем посуды и угрозами вызвать милицию: затаивалась на своем матрасике, не выказывала признаков жизни, бог знает о чем думая, боясь, вероятно, что все затеяно с целью показать кто тут хозяин и кого сейчас отсюда выгонят – меня, думала, вероятно, Саша (а хозяева стыдились перед нею именно, хотя сдержаться не могли, позорная несдержанность, увы, при посторонних), но сдержаться себя никто не может, если, к примеру, сын хозяев привел ночевать подозрительного парнишку, а хозяйка, к примеру, оставила ночевать вот эту самую Сашу. Тут и скандал, долой парнишку, а про Сашу ни словечка, ты, Саша, лежи.

Короче, Саша передвигалась по городу от квартиры к квартире, от комнаты к комнате, от матраца на полу к раскладушке, и каждое утро, осторожно выбираясь из очередного чужого гнезда, вероятно, хитроумно планировала следующий пункт своего кочевья, пока не откочевала навеки, сунувшись в петлю: но об этом после.

Так она кочевала, все нося с собой аккуратно в сумке, неизвестно где подстирывала, неведомо как наглаживала, но выглядела аккуратно и аккуратнейшим образом жила, никому не надоедая, ни во что не ввязываясь. Жила несвободно, так, как диктовала действительность, локти держала при себе, жесты только кистями и то осторожные, плавные; походочка плавная, хотя слегка утиная, ну да ладно, это прощалось ради одного, что Саша была режиссер. Саша была режиссер с дипломом, ставила спектакли то в одном кружке, то в другом, в малых студиях, никогда в театре, в театр было не пробиться с аккуратной жизнью, с тихим голосом, с этими красивыми очками, специально красивыми, подобранными тщательно – ни за чем так Саша не гонялась как за красивой оправой – и за этой красивой оправой сверкали жидкой голубизной всегда чуть-чуть расширенные глаза, какие бывают у рыженьких: розовые веки, розовые брови, редкие длинные реснички, большие такие голубоватые глаза, но отнюдь не прекрасные, нет. Хотя Саша тщательно и аккуратно красила в парикмахерской бровки и реснички, тоненькие-претоненькие черные на розоватом месте.

Саша-то была некрасива, хотя складная и аккуратистка, осторожная молодая женщина в очках, которая, кстати, совершенно не смущалась своей некрасотой и жила как женщина свободная и желанная, ценная, сама осторожно выбирала кого хотела, иногда любила даже двоих – но нигде не зацеплялась надолго, что-то ее не устраивало там или там, короче, бродила по жизни, имея, видимо, цель изучать жизнь, отсюда таинственность и вечные недомолвки. Изучала, вероятно, все эти свои явки-ночевки, их хозяев, копила в копилочку, собирала своими жидковато блестящими глазами тихо и незаметно: коллекционировала всех, спала с мужиками всякого пошиба, не брезгуя и депутатами из народа в гостиницах, когда брала у них интервью (Саша подрабатывала журналистикой).

Один смешной дядя, какой-то гигант лесопилки из Сибири, даже продиктовал ей наутро свой адресок до востребования, поскольку жена ревнивая: т. е. отнесся серьезно. Саша, тихо посмеиваясь, рассказывала своим подругам о такого рода приключениях, но только как о сборе материала, об изучении жизни во всех проявлениях, – она-то сама давно и прочно была замужем. Но была замужем не в Москве, а где-то в одном из городов Подмосковья, и ездила туда на выходные, а работа у ней была в Москве, вот вся отгадка.

В первый раз именно тогда прозвучала у нее эта формула, я изучаю жизнь.

Так она и жила, мужу своему однажды, правда, сказала, что уходит к любимому человеку (образовался и такой), на что этот несчастный муж ответил, что уходить не надо, (буквально) «люби нас двоих». Саша осталась с мужем по выходным. Он ее всегда поражал своей добротой и порядочностью, он был еврей на заводе, мастер цеха грязного производства, принципиально не хотел делать карьеру, соответствующую его уму и таланту, считал, что черная работа самая важная; работяги его ценили, начальники еще как, ему все время предлагали место главного инженера, а то и директора этого заводика, но Наум не шел ни на какие игры в начальство и оставался там где сидел.

Саша молчаливо поддерживала эту его порядочность и долготерпение, пока не получила в Москве постоянную работу, должность художественного руководителя студии в каком-то профсоюзном клубе, выходила, вытоптала себе все-таки свою маленькую карьеру, еженедельно навещаясь в управление художественной самодеятельности, где сидела подружка, которая заведовала как раз профсоюзными театральными студиями. Причем Саша не специально подружилась с этой полезной подругой, а случайно, на фестивале самодеятельных театров. Сдружились, так как сидели за одним столиком в столовой, вместе садились на обсуждения и т. д. У подруги была сложная семейная ситуация, любила женатого режиссера, да еще и у которого была любовница, его постоянная актриса, а собственный муж у этой Сашиной подруги криком кричал за недомытую тарелку и по всем вопросам и т. д.

Так что когда встал вопрос что делать, репетиции на новом месте работы вечерние и по выходным, не говоря о буднях, т. е. в свой подмосковный городок к мужу дорога Саше была уже закрыта.

А жить без нее Наум тоже не хотел, и опять он пожертвовал собой, своими убеждениями, и принял предложение работать в Москве на среднем управленческом посту, и сразу давали комнату.

Дали комнату в маленькой квартире с одной соседкой, аккуратной тихой женщиной, у которой муж и сын сидели в тюрьме по разным поводам и не в первый раз, а она сама работала на заводе на вредном производстве, хорошо получала, эмалируя кастрюли, худая, тихая, аккуратная, тощая и нищая до последней степени, ибо ее муж и сын, вероятно, активно пропивали все ее заработки, уносили из дома даже мебель, – но теперь, без них, у соседей на глазах, она начала что-то покупать, о чем-то мечтать, притаскивала плюшевые коврики на стенки, какие-то подержанные фанерные шкафчики со стеклянной дверцей, за которой мгновенно оказывалось что-то вроде дешевого хрусталя, рюмки и вазочки.

И каждый раз она вызывала Сашу полюбоваться своим растущим уютом, пока муж и сын в лагерях.

Саша и ее изучала, иначе было не прожить, соседка буквально не давала проходу, приходила, садилась, глаза ее наливались слезами, и, отворачиваясь, она показывала очередное письмо (матом) из мест заключения, а через два дня она опять приволакивала то подушку, то пластмассовые цветы, и прямо в комнату Саши, чтобы она оценила и одобрила.

Вот так изучать жизнь было у Саши, видимо, девизом, жизнь это театр, только этот театр совершенно не годился для переноса на сцену, подруга из управления ни за что бы не разрешила такие дела, зритель бы плевался, во-первых, зачем мне это, я такой театр и дома каждый день вижу. Так что эти наблюдения годились бы только псу под хвост, но Саша благодаря такой позиции наблюдателя аккуратно двигалась по этой жизни, ни на что особенно не реагируя, как внутри предложенной темы.

Однако же и у Саши было одно слабое место, мечта иметь ребеночка, это уже нельзя было наблюдать за собой как бы со стороны, это мучило; Сашу кидало ко всем младенцам, инстинкт явно брал верх над методом наблюдения, и Саша стала ходить по врачам, принимала ванны, подвергалась процедурам и уколам.

Тут немного погода ее настигло следующее событие: в груди явно образовалась опухоль вместо желаемого молока для ребеночка. Кстати, это Саша восприняла спокойнейшим образом и стала тихо двигаться навстречу смерти, ничего не предпринимая, бросила ходить на процедуры, к врачу не пошла. Месячные ее тоже прекратились, временами бедную женщину мучило, уже и вторая грудь раздулась. Саша никак не реагировала и никому ничего не сообщала, только глаза ее стали еще более водянистыми и сверкали по каждому поводу, и еще более порозовели брови и веки; Саша в те поры наблюдала за собой с ледяным спокойствием, за поведением своего подпорченного агрегата, и работала как паровой молот, безостановочно. Это была как бы гонка со смертью – кто кого обойдет: Саша ставила в своем профсоюзном клубике спектакль для детей «Приключения деревянного человечка». Это должен был быть жизнеутверждающий и веселый театр, играли любители, взятые с улицы по объявлению, пришли, правда, одни девушки и женщины. И лиса Алиса была (по замыслу) шлюхой, а кот Базилио ветераном войны с костылем и в гимнастерке, под которой волновались груди исполнительницы.

Саша к генеральной репетиции ходила уже с трудом, видимо, началась водянка, ноги и живот раздуло, однако спектакль двигался полным ходом. И тут близорукий, заваленный работой Наум наконец-то заметил, что творится с Сашей, ноги распухшие, лицо мучнистое и глаза навывкате.

Наум взял отгулы, взял управленческого шофера и повез Сашу в свою министерскую поликлинику, и там хирург сразу направил беднягу Сашу к гинекологу, и Саша вышла оттуда спустя четверть часа со странным выражением на лице. Щеки у нее были мокрые, глаза прикрытые. Наум хмуро встал ей навстречу, и Саша сказала: у меня беременность сроком шесть месяцев.

Тут уж для нее кончились все изучения жизни и пошла сама жизнь, последние репетиции, сдача спектакля накануне родов, победа на московском смотре самодеятельных студий, затем театр пригласили за рубеж в Германию, и там вышла тоже победа.

С ребеночком неделю просидела мать Наума, приехавшая из Белоруссии.

Подруги были в экстазе, театрик, вернувшись, ликовал, профсоюзники выделили всем денежную премию, Саша добавила, и актеры закатали себе и друзьям открытый стол в репетиционном помещении, ура.

А дальше Саше предложили дальнейший путь и место в профессиональном театре, где она и погибла десять лет спустя, не вытерпев этой жизни, как говорится. Но она никому опять-таки ничего не говорила, даже своему Науму, не хотела беречь его честное сердце; перед доченькой она чувствовала себя виноватой, но, видимо, все унижения прошлых лет все-таки не удавалось так просто перевести в разряд жизненных явлений, за которыми можно наблюдать и которые просто надо копить для творчества. Творчества в нормальном театре у Саши не вышло, поставленный ею спектакль прикрыли, никто не защитил. Другого спектакля сделать не дали, Саша стала мелкой помрежкой (помощником режиссера), иногда выходила как актриса в массовке, и дома все было так себе, мама Наума так и осталась проживать вместе с ними, Науму дали квартиру, дочку надо было водить в садик и затем в школу, Саша ходила за продуктами, готовила и стирала и выслушивала замечания свекрови, что Науму ничего не достается из пищи, исхудал, все съедают в этом доме посторонние, имелась в виду, видимо, Саша с ее жалкой зарплатой и дочка. Наум орал на мамашу, не в силах вынести ее старческий маразм, затем орал на Сашу и на дочь и скрывался у себя на работе как в крепости, уже, как видно, не любил их.

И хотя Саша, как было сказано, молчала и молчала, но ответить она должна была, безответно прожить не удалось.

Кому она хотела возразить – театру, как утверждал Наум, или самому Науму, теперь никто не скажет, всё, приехала «скорая», врач прошел в ванную, уже вскрытую соседом, свекровь туда даже не взглянула.

А ведь был выход, был: отнестись ко всему как к мимопроходящему, как к театру (как Шекспир), но что-то, видимо, не дало Саше так легко отнестись к своей жизни, что-то помешало не страдать, не плакать. Что-то толкнуло ответить раз и навсегда, покончить с этим.

Невинные глаза

Вот молодой человек, милый нежный мальчик-девочка, румянец, почти пух на щеках, затем светлые, даже прозрачные большие глаза – т. е. розы и кристаллы – и вдруг этот молодой человек небольшого роста, добрый и верный, он говорит: «А мои дети, Тиша и Тоша, всюду вместе, один еще ползает, а другой уже ходит». Сколько им? «Восемь месяцев и год десять месяцев», – говорит их отец. Потом, сколько-то времени спустя, он рассказывает, что младший уже ходит, но молчит, а Тиша комментирует: «Тося хочет катету» (Тоша хочет конфету). И они встают перед чужим взором как наяву, два сыночка молоденького отца, оба в колготочках, ножки крошечные как у принцев, лица румянянькие и глаза прозрачные как слезинки. И старший, «Тися», все понимает, чего добивается младший, «Тося».

И вот уже им два и три с чем-то, но Тоша, умный крошка, все молчит, а Тиша не прекращает свои комментарии и ходатайства, и, глядя глазами-слезами, прозрачными и блестящими, он объясняет: «Тося пинц». Тоша как раз надел на головушку уголок детского пододояльника и так расхаживает, а за спиной остальной пододояльник как мантия.

– Тося пинц (Тоша принц), – объясняет гостям старшее дитя.

То есть у Тоши на голове корона, а на плечах мантия. Откуда, скажите, у этого ангела знание, как одеваются принцы? Тем не менее, когда к гостям из детской поздно вечером является эта парочка – впереди из тьмы выступают босые ножки, белая маечка (на полагающемся месте трусишки), а на голову нахлобучен углом пододояльник, – то есть когда малюсенький Тоша проявляется в свете ламп, то сзади заботливый Тиша идет и объясняет:

– Тося пинц.

Это, видимо, он сам и нарядил меньшого в костюм. Напялил на него с большими трудами этот пододояльник, сволок с кровати, подвел к закрытой двери и – раз! Они вышли к гостям. Которые обернулись от стола, ласково глядя и улыбаясь, и предлагают конфету.

– Тося пинц! – повторяет «Тися».

Это он объясняет все сразу, и что Тошу нарядили, и во что, и зачем: показать его красоту гостям.

Гости знают, что бедный Тишка не сын молодого отца, они с папой неродные, вот отсюда у сироты Тиши такая жажда быть рядышком с младшим любимейшим ребенком, жажда украшать его, защищать его еще неокрепшую речь, все за него объяснять: Тося хочет катету! Один раз у них получилось, дали обоим по конфете, теперь всё, они выступают. И сам Тиша тоже становится Тошей, немного выравниваясь из своего положения старшего ребенка (обо всем остальном он не знает).

Тиша понимает мало, но его горячая любовь, суета вокруг принца Тоши, жажда похвал (чтобы все Тошу любили) – все это выдает его нежную, ранимую душу. Он даже становится похожим на Тошу, его большие хрустальные глазки под копной белых кудрей так и кажутся посторонним абсолютной копией глаз Толи (отца Тоши).

И все гости и родные это подмечают: «Надо же, как старший похож на Толечку!» Они все это не раз провозглашают, как бы желая сравнять, нивелировать разницу, обидную для старшего, безотцовского Тоши.

И кто-то уже объясняет, что да, женщина инстинктивно выбирает одного и того же мужчину всю жизнь.

То есть тут уже все смотрят на незаметную мать, серую утицу, она несколько старше ангела-мужа, но благодарна ему до святости. Эти двое друг друга любят, зацепились, он не посмотрел, что у нее ребенок от другого (кого-то), раз – и женился! И тут же зародилось это чудо, Антоша, Тоша, «Тося-пинц». И всеобщая любовь повисла над этим гнездом, друзья приходят, серая утица носит еду, тихий и красивый Толя бегают по делам, кормит семью, как-то работает, служит администратором каким-то телегруппам, ни ночи ни дня, а друзья передают друг другу фразы, которые старший, «Тися», переводит с немого языка младшего, и Топтаны фокусы: младший крошка на своих коротких ножках такой оказался умник, что всюду носит с собой маленький детский стульчик: Тиша стоит, куда-то смотрит, а низенький Тоша разом хоп – и встал там же на стульчик и смотрит туда же, уравнившись в росте с большим братом.

Так гром по квартире и перекатывается через все комнаты, стул волочится за Тошей. Какой умный Тоша!

Затем первый стон доносится из того угла, из теплого семейного угла, где все сбиты в плотный комок и откуда две пары глаз, светлых, прозрачных как слеза, наблюдают за миром, а внутри таятся еще два почти черных кружочка, это глаза Толиной жены Екатерины. Раздается стон такого рода: ты возьми меня с собой.

Он, Толя, разумеется, не берет с собой жену, его самого с трудом взяли (та телегруппа) и много работы там, хоть и на море, и летом. Но всего на пять дней! Нет: ты возьми меня с собой, ты всюду, а я нигде, не вижу света белого, не отдыхаю никогда.

Такие речи вдруг раздаются от двух идеальных колыбелек, от гнезда голубей, и просьба обращена в светлые очи молодого отца, безумная просьба, жалоба на жизнь.

Все смущены. Толя отлетает к морю как и предполагалось, там нечто вроде съемок, работа, но пляж, море, солнце, счастье, если посмотреть со стороны.

Он ведь тоже устал. Он рассказывает по секрету приятелям: Катерина требует!

Немедленно среди друзей семьи разносится и этот маленький скандал, и то, как Катерина ставит вопрос: или ты меня берешь, или я уйду с детьми.

Друзья слегка смущены, поскольку Катерина всегда выступает в их узком кругу как пример благодарной самоотверженности, ночь-полночь, приходи кто хочешь, накормит и положит спать. Не жена, а чудо.

Однако же опыт показывает, что такой внезапно распространяющийся слух о чьей-то сверхдобrote и самоотдаче быстро опровергается большим скандалом в тот же адрес, и данная семья здесь не исключение.

Катерина, потерпев еще лето (Толя отъезжал с группой в Берлин) и собрав вещички, вдруг покидает семейное гнездо, квартиру мужа в центре Москвы, и исчезает на окраину, где жила раньше и где у нее маленькая однокомнатная квартира, и теперь уже оба крошки, оба ангела оказываются в одинаково полу сиротском виде, однако еще перед отъездом, еще в Толиной квартире, они начали буян timer, орать неземными голосами, драться. Двое мальчиков, два бойца.

Кончился «Тося пинц», заволокло слезами ясные глазные хрустали, больше не выступают из тьмы крошечные босые ножки, наивные ходатаи за конфетой.

И тут уже крик и драки, плач, оба активные нормальные парни трех и четырех с гаком лет, дети одинокой матери, дети печальной, тоскующей матери. Теперь, говорят, она ходит сама по гостям, дети то ли с подружкой сидят, то ли одни бесятся, она же ходит в гости, не отказывается, танцует и беседует по углам, такие доходят вести. Но кто ее осудит?

Да, должна была терпеть, тихо сидеть над колыбелями, раз уж полюбила и берегла мужа от всего, и колыбели должны были тихо качаться под вечную сказку про «Тосю-пинца»

и сиять хрустальными из тьмы, пока вокруг идет активная жизнь, гульба, поездки, фестивали, съемки.

Но всё. Эти трое тихих убралась в глушь как милостыню просить, гордо канули как в воду, никому ничем не обязанные, не хочешь не надо, ушли в песок туда, в однокомнатную квартиренту на окраине, переселились из просторных комнат в тесноту и бедность, в одиночество.

Над колыбелями просто, бедно и шумно. Сидит ни вдова ни замужняя, надомный редактор детективов за копейки, переписывает сверху донизу эти идиотские тексты, а рядом ее вопрошают прозрачные глаза – где та жизнь, где мальчик-принц и его верный режиссер-постановщик, переводчик одной, постоянно звучащей, немой песни насчет конфетки, где это? Вообще – где счастье?

Толя-отец, нежный молодой человек, ездит на окраину, гуляет там с деточками-бандитками, погуляет и возвращается к себе домой, к новой жене, а дети к себе, и мать накормит их, вымоет, уложит, расскажет сказочку, и из тьмы светят ей прозрачные, невинные глаза, совершенно не повинные ни в чем.

Тайна дома

Я никогда не забуду, как я приехала с детьми в забытый властями городок с целью как-то просуществовать летний месяц. Это был, однако, старинный западный городок с дорогами хоть и частично грунтовыми, но зато не без моря в тридцати километрах, не без старинного замка, объекта съемок всех киностудий, находящихся к востоку, а к западу от городка шумело только море, откатываясь к Финляндии. Время было самое летнее, народ в городок понаехал, и нас поселили в дом, предназначенный на снос. То есть там все было: и вода во дворе, и газовая плитка от небольшого баллона, но уже что-то навестило этот дом, какое-то запустение или забытие. Нам показали комнату в четыре параллельно стоящие койки, а солнышко грело в окна, вечернее, заглядывающее глубоко в комнату, – в общем, мы, как всякие беженцы, были рады. Какой-то торопливый лоск был наведен: и занавески висели, и пол оказался помыт недели две назад, так что его покрывала тонкая патина времени, но ни соринки, ни лишней бумажки не нашлось. Мы не знали, сколько в доме чего, сколько комнат и так далее, в нашей комнате было три двери, из кухни в какие-то глубины тоже вела лишняя дверь, и еще лестница наверх тоже присутствовала. Какие-то тайны скрывал этот дом, как скрывал бы любой старый дом, – отзвуки голосов, чьи-то смерти, чье-то одиночество. Дом заканчивал свое существование, это было ясно по общему трагическому запустению, несмотря на попытки как-то замаять это обстоятельство, подклеить, прибить, заслонить. Штук двадцать деревянных плечиков висело на гвоздях скелетообразной гроздью, как бы ворох пустых ключиц, след от исчезнувших платьев и шкафов.

Мы бросили вещи и отправились, разумеется, к замку, куда и прибыли на торжественном закате. Незаходящее, стоячее солнце встретило нас и проводило все в том же виде, это были остатки белых ночей, но дети ничего не понимали и бушевали как днем, кричали, устроили концерт на открытой пустынной эстраде; совершенно сбитые с толку, улеглись при полном свете вечерней зари в свои новые ложа, на старинные проваленные панцирные койки, и только перед сном пожаловались, что муха жужжит. Я ответила первое попавшееся, что это муха попала в паутину. Действительно, такое и было впечатление: энергичное, даже мощное жужжание перемежалось небольшими паузами.

Городок отошел ко сну, тишина стала полной, я лежала, вперившись в абсолютно светлые окна, и слушала этот жуткий с паузами мушиный зов: бззз! – молчание – тжжжбззз! – ззз! – молчание.

Потом я не выдержала и полезла буквально на стенку, искать паутину. Нашла в углу даже тяжелую мухобойку с резиновой, здоровенной, как коровий язык, боевой частью. Все напрасно.

Зззз – тжж – вzzз! Бззз!!! – и ничего, пусто.

После детального осмотра потолка, пола, стен и щелей, после облущивания обоев ухом я шлепнулась на свою панцирную сетку и стала соображать, что же это такое зундит, верезжит или сверенчит, поскольку звук-то был неясный, только отдельные прорывы слышались как бы над самым ухом: вzzз! вzzз! – и молчание.

Потом оказалось, что это не молчание. После явственного дребезжания (как будто звук с помехами, что-то вроде трещащего радио, которое говорить-то говорит, но на некоторых высотах дает как бы дребезжащий звон) – так вот, после «вzzз» или «скрр» я слышала отголоски, вроде бы торопливый разговор вдали, на улице. Какие-то женщины взволнованно и монотонно гудели, бебенили, зудели все одно и то же, убеждая кого-то. Мне даже представилась уличная сцена, как будто бы много баб что-то доказывают молчащему милиционеру, причем все это передается по плохому радио. Я стала различать голоса. Потом опять пошли помехи, радио затрещало и сделало «вzzз! вzzз!».

Я начала понимать, что где-то в соседних комнатах работает радиоточка, и стала терпеливо ждать двенадцати часов, когда наконец все стихнет в ожидании боя часов и еженощного мощного гимна. Но что же это за радиопередача? Что за новости, какой такой радиоспектакль с полным единством места, времени и действия, когда идет буквальная трансляция какого-то общественного скандала, связанного явно с женским движением?

Время перевалило за час ночи, а это плохое радио все митинговало. И вряд ли это могла быть какая-то западная радиостанция, я сама когда-то работала на радио и знаю, что столько эфирного времени на одно событие не дадут, тем более что это все-таки была явно муха. Но болтовня? Назойливая человеческая, женская болтовня не утихала, а ведь стояла глубокая ночь. Мухи-то ночью спят. Меня не обманешь! Я встала и пошла по дому искать радиоточку. Как в замке Синей Бороды, я робко отворила неизвестно куда ведущую дверь и из кухни ступила в запыленное пространство, где находился колесами вверх велосипед, где стоял пустой стеллаж и письменный стол с какой-то дребеденью. В окнах устойчиво стояла заря. В этой комнате было тихо. Отсюда вела еще одна дверь, загороженная всем чем только можно. Надо было плюнуть и уйти, но воспоминание о сумасшедшем радио, среди ночи трещащем у меня и у детей над головами, придало мне сил. В полном забвении я начала перетаскивать тазы, велосипед, мебель и наконец рванула на себя заветную дверь. Прямо под дверью я увидела кровать, и головой ко мне, смежив веки, в этой кровати спал седенький маленький старик, и, как я поняла, с ним было что-то не в порядке. Он был просто крошечный. Совершенно белая головка его была в изнеможении откинута, и весь он излучал усталость. Я затряслась и быстро прихлопнула страшную дверчку, однако по прошествии нескольких секунд сообразила, что это спит мой сильно утомленный сынок Федя, который перед тем еще не спал целую ночь в поезде (втерся в доверие к проводнице и почти всю дорогу продежурил с ней вместе. Какие-то у них там были дела с флажками, плюс к тому еще и я упала с верхней полки, желая прикрыть одеялом дочку, спавшую, разумеется, глубоко внизу, и не заметила перепада высот, просто шагнула к ней, и все. Дети проснулись, разумеется. И в довершение всего к нам в купе спустя час, под утро, пришел селиться молодой военный и предупредил, что уйдет рано. Так что сна не было, и бедный сынок показался мне старичком в болезни. Тьфу, тьфу!)

О, хлопоты и суeta матерей!

Я вернулась, посрамленная, к своей митингующей мухе, поправила на детях одеяла и прослушала лежа еще множество выступлений, жалоб, всхлипов и злобного ропота. Может

быть, пчелы? Но пчелы-то, как мы знаем, ночью-то спят! Я стала опять склоняться к мысли о радио, но там тоже есть все-таки перерывы, музыка и голос диктора.

Утром дочка, прежде чем проснуться, стала просить вынуть муху из паутины, потому что жалко всех, комаров, и мух, и всех. Пятилетнему ребенку всех жалко.

А муха все бунчала и дзыкала.

Днем к нам пришли две милые женщины, видимо, хозяйка и уборщица, или уборщица с подругой, я так в этом и не разобралась, поскольку здесь, в этих западных краях, все и одеваются и держатся скромно и с чувством собственного достоинства, то есть благожелательно. Я вообще ни в чем тут не разбиралась, ни чей это дом, ни кто кому кем здесь приходится, и в особенности в том, кому принадлежит роскошный белый двухэтажный, почти трехэтажный дом, с гаражом в подвальной части, с длинным балконом и чисто вымытыми окнами в большом количестве, а дом этот возвышался в двух шагах от нашего брошенного, от его выгребной ямы с покосившейся трубой, от его колодца со ржавой подозрительной водой, от его запахов и, наконец, от его чердака, который мы, три женщины, дружно посетили и не обнаружили там ни включенного радио, ни пчел, а обнаружили подкладное судно, которое появляется в доме при известных обстоятельствах, после чего уже все выносят и выбрасывают – матрас и все остальное.

Мы дружно посетили чердак, две не понимающие ничего по-русски женщины и я, суетливая мать своего временного гнезда. Мы с детьми на все лады изображали, как «дзз» и «взз» всю ночь, и тыкали пальцами в угол комнаты, и прислонялись ушами к обоям, но почти ничего не было слышно. Городок проснулся, а городок-то был механизирован, несмотря на свое местоположение на краю земли, и все ездили на машинах, зундела циркулярная пила, бзыкали мотоциклы молодежи, верещали под окнами бегающие дети и так далее. Женщины, воспитанные и улыбающиеся, ничего не услышали. Мы обошли весь дом, а в нем и было-то всего три комнаты, просто в каждой комнате находилось по три двери, отсюда и впечатление замка Синей Бороды.

Мы дружной толпой вышли на улицу, обогнули дом, и тут обнаружилось, что в щель влетают шершни. Они деловито гундели, тихо по дневному времени, они были толстые и мохнатенькие, и все мы издали охотничий клич типа «вижу цель!».

Дальше все решилось очень просто, обе женщины объяснили, что хозяин придет вечером в шесть часов. Я предположила, что немного прыснуть на них хлорофосом – и они улетят. «Нет», – сказали улыбающиеся женщины, они сомневались, что хлорофос повлияет на шершней, это было видно по их улыбкам.

Мы с детьми долго мыкались по городку, ища автобус, как немые калики перехожие, нам никто не мог толком ничего объяснить. Тяжело без языка! Чувствуешь себя виноватым и лишним рядом с чужим куском хлеба. Наконец мы приехали на автовокзал, купили билет на пять часов на автобус, я встала в очередь в буфет, а детей посадила в очень милую залу ожидания, где было прохладно и царила приятная полутьма. Потом прибежала дочь, ей надо было кое-куда, мы нашли в подвале это заведение, соответствующее средневосточным стан-дартам (увы, некому работать), и затем поднялись опять на запад, опять я усадила их на скамейку и знакомым путем помаршировала в буфет, в тихую, степенную духоту, где стояла длинная, терпеливая западная очередь, сохраняя дистанции все до одной от человека к человеку.

Мы с детьми попили, поели, завернули с собой два пирожных в бумажку, к вечеру оба пирожных были у меня в сумке всмятку и в крошку. Это уже происходило в тридцати километрах пути, на берегу моря, на пляже, на белом песке среди сосенок и отдыхающих, которые (отдыхающие) перекрикивались на непонятном языке и выглядели очень прилично.

Мы попили водички из купленной бутылки, поделили крошки и мятые кусочки пирожных, дети купались в мелком море, солнце все стояло и стояло, грело и грело, вода была про-

сто как кипяченая, но я забеспокоилась, когда же уходит последний автобус. Путем опроса, испытав законное чувство лишнего здесь человека, я все-таки выгребла из обломков информацию «семь тридцать», мы собрались и потащились на остановку, где ждали еще полчаса. По малолетству дочери ей уступили место, и мы даже с шиком примчались к месту ночлега, в наш старый дом, где и обнаружили следы побоища. В нашей комнате зверски пахло хлорофосом, как будто бы его щедрой рукой прыскали повсюду и потом распахнули настежь все окна. Если бы хозяин прыскал только в гнездо, он не стал бы открывать окон в нашей комнате, верно? Гнездо же со стороны улицы, верно? Но хозяин, опрыскав теперь уже наше гнездо, выкурив нас, таким образом, тоже, и мы расположились всем гнездовьем в соседней комнате, где все было приготовлено к приезду отдыхающих и стояли две заправленные коечки. Я хлопотливо перетасила постели – немятые в нашу комнату, а наши лежанные – в новую, сама легла на полу, и наконец мы успокоились на третью ночь зыбким, жарким сном, и весь этот сон я защищала и горячо выгораживала приснившегося мне великого писателя, ставшего вдруг таковым из полного ничтожества. Почему мне вдруг приснилось такое его будущее – непонятно, наяву это было полное, злобное ничто, парализованное вечным страхом – за свою жизнь, за свои легкие, за свое будущее, он частенько говаривал, загораясь, что проживет недолго, и под этим лозунгом довел до рака груди молодую красавицу жену, так, по крайней мере, говорили люди – она умерла после пяти аборт, и все ушло в песок, вся ее жизнь, он ее бросил, не любил и бросил – а она была ссыльное дитя, лагерное, и жизнь в ней, видимо, и так еле теплилась, а потом ушла в песок – а у него тем более. Что же мне приснилось, что он гений и я его защищаю? Свою дочку он тоже покинул, ее воспитывала далекая тетюшка, алиментов, по разговорам, знать не знал, в общем, гиблое дело, опять-таки жизнь без единого знака порядка, совести, долга. А впрочем, по отношению к нелюбимой женщине и многие великие вели себя как попало и губили, как все сильные губят мешающее им слабое, как я погубила несчастный мушиный рой, помешавший мне спать.

На следующую же ночь я убедилась в этом. Мы перекочевали обратно, все наладилось, дети уснули, в окнах стоял немеркнущий свет, и вдруг раздался живой стон издали, из преисподней. Тот, кто стонал, стонал изредка, мучительно, горестно. Он был абсолютно один и всеми покинут, это была она, мушиная мать. Там, где раньше кипела трудовая, озлобленно-хлопотливая, сварливая живая жизнь, там теперь все отжило. Улетели, испугавшись хлорофоса, все трудовые пчелы, а она, матка, осталась одна, ибо до последнего, видимо, вентилировала, проветривала крылышками свое еще спящее в сотах потомство, молодых, чтобы они не задохнулись. Кто мог летать – улетел, а она осталась и проветривала. Ее стон был не стон, а гудение еще живых крылышек на предмет проветривания, только проветривания помещения. Выхода у нее не было, она должна была проветривать.

Вечером следующего дня мы познакомились с хозяином обоих домов. Он был, как и ожидалось, очень крепким загорелым мужчиной, крестьянином западного образца, а на данный момент – шофером грузовика. Он повел нас осматривать новый, роскошный, в семь комнат и две мастерские дом, дом на трех уровнях с гаражом, сауной, чердаком для сушки белья! Еще и во дворе стоял такой же белый хозблок, и теплицы имелись, и клубничная поляна, и два садовых кресла на лужайке, и заросли малины – всё.

– О, такой дом, для него нужно иметь много детей! – выпалила я и попала точно в самое сердце хозяина. – У вас много?

– У меня трое мальчиков, – сказал хозяин без большой помпы и стал перечислять: восемнадцать лет, тринадцать, семь лет.

– О! – сказала я. – Когда нам давали квартиру на троих детей и на нас, тетенька дает ордер, а сама смотрит и говорит: у вас старшему восемнадцать, скоро и ему надо квартиру, женится, и всё. И точно... – и не успела я договорить, имея в виду очередную бестактную житейскую мысль, что сын скоро приведет жену, та детей, и надо будет опять что-то думать

насчет них, – как хозяин прервал меня на самом интересном месте. Было видно, что не эти заботы гнетут его.

– ...вот.

Он меня привел в гостиную, где уже все было обклеено обоями, и все пятьдесят метров сияли на две стороны – на юг и на север – плюс широкий проем вел на кухню, а там открывались новые перспективы на запад, где цвел ранний закат, а там еще видна была лестница, и так далее, и так далее.

– Но это еще долго делать, – сказал хозяин.

– Ничего, – ответила я на это. – Говорят, что надо всегда что-нибудь не доделывать в доме; когда дом полностью закончен, жильцы умирают, – вдруг ляпнула я.

– Нет, – ответил он. – Здесь еще много работ. Когда начинают отделять снизу, то много оставляют наверху, и так остается. Я начал отделять сверху, – сказал он, и глаза его блеснули умом.

– А тот дом, старый, вы куда?

– Придется разрушать, – ответил хозяин, – полагается так. Мешает новому дому.

– А ему сколько лет?

– Девяносто три. Я его купил у двух старых... женщин, да. Одна умирала, девяносто три лет. Она была в блокаде, Ленинград, да. Потом приехала к сестре и тут умирала.

О, тени, тени, о, чердак с подкладным судном, о, привидения и стоны умирающих! Но посмотрим, как повернулись события тут же, через секунду.

– А вы долго строили этот дом? – задала я еще один, как оказалось, больной вопрос. Здесь все вопросы были неуместны, как оказалось. Хотя этими вопросами я старалась похвалить, я старалась укрепить этого человека, который разрушался на моих глазах, сказав вот что:

– Прошлый год весь пропал, да. Я разводился с женой.

– С женой? – глупо спросила я.

– Да, так.

– Тяжело, – вымолвила я, но он не дал обстоятельствам совсем уже подавить его.

– Женился еще раз.

– Еще раз?

– Да, так, – сказал этот несломленный человек, построивший дом неизвестно кому, живущий не здесь, без своих милых детей, которых он перечислял, как Гомер корабли.

– Ну что, больше не жужжит? – весело спросил он меня.

– Нет, одна только ночью стонала тут.

– Не будет. Я им прямо так вниз: пш, пш, – показал он процесс пшиканья.

А он, видимо, понял, что они живут не со стороны улицы, а внутри, они забрались подальше и побезопасней, почти к самым обоям, и он пшикал у нас в комнате над детскими кроватками вполне простодушно, как людоед. Тем более что влетали они с улицы и могли укусить, если пшикать оттуда, со стороны входа, а в комнату еще ни одна не проникала. Это было безопасней во всех смыслах для него.

Дальше он вдруг сказал, что это у его новой жены трое детей.

– Ваши?

– Да, так.

Я стала быстро просчитывать в уме эту ситуацию, как это так, всю жизнь он копил детей на стороне, будучи женат на другой? И потом раз, бросил эту, женился на той? Восемнадцать, тринадцать и семь лет назад родил детей и теперь их только признал?

Однако тут же я поняла, что его плохой русский язык плюс естественное мужское и человеческое желание подправить ситуацию хоть на миг, хоть на секунду, на сейчас, а потом будем разбираться – что все это вкуче взятое ввело меня в заблуждение. Все-таки развод

у него был с тремя его детьми, они и не показывались ни разу за ту неделю, пока мы тут жили, пока он после работы возился с полами в своей огромной гостиной, где можно было бы собрать сто гостей, но ему этих гостей не собрать было, потому что человек наживает за свою жизнь только одних гостей на всю семью, и, когда семья распадается, распадаются и гости. Новая жизнь начиналась у моего хозяина, без половины родни, без гостей и без своих милых детей, что самое главное.

Но: если он строил дом, еще будучи женатым, то полдома принадлежит жене, а детям? Им тоже что-то принадлежит?

Тут уже я потерялась мыслями в деньгах, перепутала смерть с разводом, алименты с наследством, заживо похоронила хозяина и стала делить этот огромный красавец дом: так, так... и так. И шиш в ответе.

А он, хозяин, был живой и тихо копошился, дружно и тихо копошился с той, кого я приняла за домработницу, потому что на вопрос «это ваш дом?» – она ответила «нет»... но она-то имела в виду, что это дом мужа.

Они были вдвоем, тихая, молчаливая, трудовая и согласная парочка, они то возились в доме, то на чердаке над нами, и вытащили оттуда шерсть и прислали мне с детьми на пробу, куплю ли я ее. Вили, вили гнездо, отлетевший рой, бросивший матку с молодыми где-то там, в неизвестности.

На следующую ночь моя муха уже умерла.

О, счастье

Две маленькие женщины думали про себя, что они уже старухи (двадцать два года), и одна была как Брижит Бардо, русский смуглый вариант, все в большом порядке и мальчишки смотрят со значением, а другая была пришей кобыле хвост подруга, преданная и любящая подколодная змея, которая обожала свою Марусю до такой степени, что заодно влюбилась и в ее мальчика Боба, и иногда они втроем ходили куда-нибудь в гости, к Боба знакомым художникам и поэтам, черненькая Маруся, высокая как трость, глаза прожекторы, посмотрит – осветит, а рядом ее ядовито-вежливый Боб, тоже худой и высокий, мечта многих девушек: руки плетью, глаза запавшие, зубы волчьи когда ухмыляется, большие, белые и острые.

И тут же впритирку всегда эта малозаметная, как она думает про себя, хотя тоже не лыком шита в любом другом месте, но не рядом с ними, тут все идет в тартарары, смотрит на свою Марусю и думает: все взоры только на нее, и правильно.

И что прикажешь делать в такой ситуации, когда вот они, мечты, сбылись: ее взяли с собой в гости в такой дом, народ отмечает Первомай, бренчит гитара (скоро ее грохнут об угол), поэты читают в темной спальне при свече, бродят бородатые в свитерах Хемингуэи, художники и писатели, но ни один не нужен, вообще ничего не нужно этой бедняге, стоит она с бокалом сухаря в руке у книжных полок нервничает, а Маруся и Боб пошли покурить на балкон, там далеко видно ночную Москву: идут ранние шестидесятые годы, скоро многих посадят, многих из тех, кто тут пирует, начнутся лагеря, ссылки, обыски, эмиграция, подполье в виде кочегарок, диспетчерских при больницах и сторожевых комнатух с телефоном и топчанчиком – короче, все разлетится.

Возможно, это вершина их молодой жизни, пик радости: возможно, каждый потом, сидя где-нибудь в Париже или работая в лагерных мастерских по пошиву брезентовых рукавиц или по вязанию картофельных сеток, – они все будут вспоминать этот странный первомайский праздник в квартире Литвиновых, сломанную гитару (так никто и не спел) и сломанный же хула-хуп, эта зарубежная диковина была сведена на нет, в восьмерку, одним пьяным орлом по скручиванию подков: опа!

Полное одиночество в этой квартире, полной народу, можно закурить, можно взять журнал «Kobieta i zycie», (Польша), но тоска смертельная по Марусе и Бобу, которые о ней забыли и тихо смеются на балконе, овеваемые майским ночным ветерком а толпе других курящих.

Специально не пошла, осталась тут, избавиться от этого наваждения, может, кто-нибудь подхилхнет и можно будет отвлечься, поговорить, но никто не подходит, все слоняются с ошалелым видом, тут же сидят на полу, в кухне все забито, в спальне опять-таки не протолкнуться, там Сапгир, Холин и Сева Некрасов, поэты, там младший Кропивницкий.

И наша девушка, беленькая, большеглазая, бледная как смерть (понятно почему), старуха двадцати двух лет, остановившимся взором смотрит мимо балкона, к ней и приближаться-то незачем, все написано на лице, любовь, ревность, обида: уйти, уйти, думает эта беленькая сама про себя, надо уйти раз и навсегда, но она не уходит. Любимая подруга возвращается с балкона, тихо смеется над нашей бедняжкой, говорит: «Скукотища какая тут», говорит «ты сегодня клево выглядишь, все на тебя смотрят, обрати внимание», и мученица теплеет, безумная ее любовь к этим двоим (а Боб остановился с каким-то диким в бороде и дает ему сигарету и прикурить, это художник Зверев, сколько ему жить-то осталось, но поживет еще у своей старухи Асеевой, которую, все это знают, он ласково называет как-то вроде «биздюля»), безумная любовь к Бобу и такое чувство, что без Маруси невозможно существовать. Маруся красавица и запоминает английский словарь столбцами, даже сама пугается и швыряет словарь под кровать.

Но не это важно, Маруся всеобщая мать, пригревает, снисходительна ко всем, Маруся сама себе шьет и вяжет, у нее мама тоже просто мечта, тоже жалеет всех вокруг – как блондиночка любит Марусину маму, как любит!

Маруся стоит у книжных полок и не ведает, что мама ее умрет через два года, и Маруся сразу же после похорон мамы родит недоношенного сыночка, но не от Боба.

Боба уже не будет на ее горизонте, давно его нет, он бросил Марусю как только она забеременела, хотя проявил заботу, сам достал ампулу и вколол ей укол, был страшный вечер при настольной лампе, обошлось без больницы, без аборта, никто ничего так и не узнал ни дома, ни на филфаке, но все это будет иметь далеко идущие последствия для Марусеньки, опухоль, операцию, трудные роды и т. д.

Когда он сказал Марусе, пришел в очередной раз и сказал со своей знаменитой улыбкой, что очень сожалеет, но больше ничего у них не будет – она чуть не покончила с собой, пошла проводила Боба до его подъезда и на обратном пути шагнула под машину, закрыв глаза, но он, как выяснилось, шел следом за ней и спас, обхватил руками, привел ее к ней же домой, трахнул, но через час все-таки удалился со своей волчьей ухмылкой: жизнь его, видимо, протекала уже в иных мирах, он шел навстречу своей гибели, как потом оказалось.

Как потом оказалось, он незадолго до того лихо украл с международной полиграфической выставки монографию Босха, такой вид спорта; в результате был выгнан из своего архитектурного института, и это как раз и была эпоха укола при настольной лампе и прощания – а затем Боб, проще простого, никому не сказав ни слова и никого собой не обременяя, даже специально порвав с друзьями, был взят в армию с третьего курса и там, в далеких семипалатинских степях, облучился на полигоне и вернулся домой уже списанным инвалидом, правда, без диагноза «белокровие», такие диагнозы вслух не произносились.

Так что, когда он через два года пришел домой к матери и отчиму умирать от лейкоз с копеечной пенсией, Марусенька уже была замужем, бегала к матери в онкологию, держалась молодцом и готовилась к родам.

Боб и Маруся перезванивались.

Наша вторая героиня, беленькая, тоже родила в тот год, на три месяца раньше Марусеньки, была неожиданно для себя счастлива и любила своего мужа и сына, забыв обо всем на свете.

Она знала от Маруси обо всех перипетиях, но позвонить Бобу не решалась – наверно, многие не решались ему позвонить в те поры, такова человеческая психология, неудобно как-то звонить приговоренному: ну как ты, что ты, а он в ответ что должен говорить, спрашивается.

Дело кончится тем, что они обе, обнявшись, будут плакать на похоронах Боба, когда гроб с его немислимо исхудавшим телом пойдет вниз под траурную фисгармонию Донского крематория.

А сейчас Маруся стоит в литвиновской квартире и не знает, что в конце концов все ее раны зарастут, все затянется теплым покровом жизни, деточки оклемаются, а ее собственная красота так и останется при ней, никому не нужная, мужу тем более, опасная, чувственная красота, приманка для автобусных знакомств, для служебных дней рождения и приключений в командировках и домах отдыха.

А та, которая так страдала и так любила прекрасных своих друзей, Марусеньку и Боба, на всю жизнь запомнит эту теплую первомайскую ночь, когда они втроем шли, торопились к закрытию метро, Боб с Марусей и она сбоку, и как они облегченно хохотали, уйдя из скучного дома, а майская ночь плыла всеми своими звездами над Москвой-рекой, вверх и вниз тоже мерцали теплые огни, и очень хотелось плакать – от счастья, видимо, от счастья.

Нюра Прекрасная

Такой красивой как эта Нюра в гробу, во-первых, она никогда не была при жизни – может быть, если представить себе выпускной бал и ее прежние шестнадцать лет, но печать трагедии на лице!

Люди смущенно толпились вокруг гроба, было чему смутиться – лежала совершенная спящая красавица, да еще печальная, юная, безнадежно больная, да что там, мертвая: во что не верилось.

Брови взлет, нежный припухший (как от слез, ведь она умирала семь дней) рот, господи! Но и имелось нечто другое, от чего люди мялись: это все была работа оператора с мертвыми, оператора в том смысле, что он (вроде бы), увидев ее, сказал, присвистнув (мысленно, видимо, присвистнув), оставьте нас одних.

Материал был божественный, хотя, повторяю, семь дней пыток после операции, полная неподвижность, слезы, боль, все это Нюра вынесла и умерла, исхудав как ребенок.

Так что гример-оператор со своей гробовой косметикой, видимо, создал произведение искусства, запомнившееся всем на оставшуюся жизнь.

Намерение заказчиков было не смущать публику видом страшного после страданий личика молодой Нюры, а смутили другим: как такое отдавать сырой земле?

Земля была действительно сырая в тот день, но дождик, слава тебе господи, не шел, а то бы растаяло творение классика-гримера. Толпа взидала изумленно, смущенно, муж, совершенно потеряв голову, ополоумев, говорил что-то типа «вот лежит моя Нюра» и какую-то даже прощальную речь, что прощай, моя красавица, растерялся.

Мать Нюры выглядела просто раздавленной, никакой, полиняла в толпе, а статная, рослая была красавица тоже в свои пятьдесят лет, но истаяла, слезы растворили ее лицо, месиво было какое-то, а не лицо.

Муж с красным, она с известковым, серым, а Нюра в гробу нежно-загорелая, чтобы он провалился, этот оператор, с его ящиком красок. Толпа была смущена еще и потому, что все хорошо знали, какой темно-обугленной пришла Нюра к своему концу, вроде загорелая после

отпуска (только приехали с мужем с юга), однако же именно как головешка, тревожные, горящие сухие глаза, сухой, спекшийся рот, тоска снедала эту молодую красавицу, тоска и печаль, ибо муж давно жил на стороне с подружкой, и уже был ребенок, а Нюра не смогла родить ребеночка и всюду ходила со своей собакой.

Кстати, после автокатастрофы, когда Нюру отвезли с развороченной спиной в больницу (удар пьяного водителя пришелся на заднее сиденье машины, где Нюра сидела с собакой, потом Нюра умерла, а песик, находившийся у нее на коленях под ее защитой, остался жив, и после похорон, во время поминок, его отнесли к соседям, он ничего не мог понять, искал и искал, видимо, сошел с ума. Его защитило бедное Нюрино тело).

Стало быть, Нюра ушла красавицей, которой она, возможно, никогда не видела себя, – спокойные брови вразлет, так называемые «ласточкины крылья», и горящие обидой черные глаза, навеки спрятанные под тяжелыми веками. Все были еще смущены и потому, что тут явно прослеживался какой-то слишком уж простой, даже примитивный сюжет: ненужное, бросовое и лишнее, скандальное и плачущее погибло в муках, а спокойное, терпеливо ждущее с ребенком на руках, живет и скоро свадьба.

В этом смысле гробовой художник как бы показал миру, какое сокровище ушло, да что толку-то, думали все с досадой.

А некоторые (видимо) мялись оттого, что подозревали нехорошие дела, что судьба способствовала мечтам небрачной пары, хотя именно о таком ужасном развороте событий, о развороченной спине, они никогда не думали даже в самых страшных снах, которые, как известно, (страшные сны), являются именно мечтами, но вот вам пример: мечтали – получили, да еще вдесятеро больше.

Нет, нет, но да, да и еще раз да.

Слишком простой сюжет, слишком простой и ничего никому не давший, ничему не научивший, ибо никто, в мечтах разоряющийся на смерть ненужного человека, никто, повторим, ничему не научится, не содрогнется в ужасе над собой, жизнь идет вперед и вперед, и нет сомнений ни у кого, что мечты напрасны, мечтай сколько угодно.

Но ведь не напрасны эти мечты, в конце концов они так или иначе сбываются, как в случае с несчастной Нюрой, и Нюра не просто так умерла, по-видимому, раз ее печальный образ витает над разбежавшейся толпой, раскрашенное, обиженное лицо.

Как цветок на заре

Прошлая любовь привязывает к месту больше, чем к человеку. Давно забыт человек, первая любовь, где-то живет (действительно живет где-то, а нам все равно, появишься он, будет неловко, особенно ежели с признанием в любви – любил тебя одну – и, по телефону, с явным перегаром как всегда). Долой первую любовь, но место: блаженные темнеющие улочки вдоль моря, сосны, тротуары из каменных плит, виллы, сумерки, фонари сквозь ветки, соленый йодистый воздух, песок в босоножках, идут вдвоем, он и она, зрелые люди, ему двадцать один, ей восемнадцать, он местный, она по путевке в доме отдыха. Она студентка, он просто так, охотник за скальпами, курортный молодой человек с большой практикой. Не работает. Слушайте, кому это интересно? Он учился в консерватории по классу валторны, на военном факультете, вот что важно. С детства музыкальная школа, мама оперная певица, солистка хора. Валторну ненавидит, но когда встал вопрос – армия или консерватория – мама все-таки посоветовала пойти на этот военный факультет.

Все это студентка (первый курс, не умеет краситься, носит мамин сарафан, постоянные ангины, отсюда путевка к морю в августе) – эта студентка слушает затаив дыхание. Она тоже по музыкальной части, по классу вокала, такое совпадение, но в училище. У нее меццо-сопрано с перспективой (А. Е. говорил) на драматическое сопрано, к тридцати пяти годам

такие голоса только набирают силу для Вагнера! Вагнера поют к сорока годам. Пока что нам восемнадцать. Сегодня утром мы распевались после завтрака, соседка тетка отчалила на море, а мы (при распростертых окнах, в окна хвоя, морской ветерок, не очень тепло) – мы распеваемся: «Милая мама, милая ма-ма». И затем ария Далилы, никого нет, голос несется в окна, к морю.

Вдруг внизу человеческая речь:

– Эт-то кто там поет, а? Кто так у нас поет тут?

Мужской ласковый баритон.

– Да, кто поет-то?

Второй голос, повыше (драматический тенор) в шутку подыгрывает.

– Кто это поет?

Она, прячась за тюлевой занавеской, смотрит вниз. Два молодых человека. Сердце бьется. Она молчит, замолчала. Внизу опять беседа:

– Да, ничего.

– Годится.

Молчание сверху встречается с молчанием снизу, сталкивается, сплетается в воздухе, густеет, разрастается. Затыкает горло. Минуту, две. Мысли: спуститься? Или не надо. Спуститься – это значит изменить судьбу. Изменится судьба. Не спускаться – судьба останется такой как была: мама, училище, хор, ми-бемоль ваша нота, ангины. А. Е. говорил: надо беречь горло, а то что же за певцы с хроническим тонзиллитом. Ария Далилы: «Открылась душа – как цветок на заре-е... для лобзаний Авроры». Только что пела: «Далиле повтори, что ты мой на-всегда! Что все – забыты муки...»

Муки одиночества (молчание длится), восемнадцать лет, и, как мама говорит по телефону подруге, да, она торчит дома. Никого. Имеется в виду дочь. Дочь сидит дома. Да, да (они по телефону переминают косточки своим детям, любимое занятие у мамы и ее подруги Марьи Филипповны, страхового агента). На день рождения девушки пришла в качестве гостей именно Марья Филипповна выпить чаю с тортом и винца, но торопилась как обычно, ушла. Восемнадцать лет – и день рождения с мамой и ее подругой, затем М. Ф. убралась, всё. Восемнадцать лет! Убрали со стола.

– Что все забыты муки!

Повтори – те слова!

Что любила так я....а....а...

Пела в полный голос первый раз после тяжелейшей ангины. Ангина была как смерть. Ты бледна как смерть (мамины слова).

Дальше пела (согласные неважны):

А...хнее... тси... л-сне – стии-ира-злу...

кууууужгу – чи-ихла...скласктво...и-хожи-да-ю.

Пела в полный голос при открытых окнах, но в безопасности, на втором этаже, за занавесками. Как бы из тени, из тайника звала кого-то в виде Далилы. Так и надо петь (А. Е. говорил), вживаясь в образ, но успокойся, это следующий этап, пока еще надо учиться певческому призыву, когда пиано сквозь все тутти. Летит звук, а пламя свечи не колышется (!), а не драматизму. Драматизм у всех есть в природе (А. Е.), что ни поете, все у вас драма, а вот дыхание не оперто. Как дерево на корнях. Дохни всем животом! Где язык? Где твое зеркальце? У того же Шаляпина было все свободно в гортани, язык вот так (показывает ладонь плоско). Рот как грот (!), ничего не загромождено. Освобождай простор! Смотри на язык!

Прижала язык, зеркальца нет. Призвук появился (?)

Призывала кого-то как Далила. Вот на зов и шли мимо двое, остановились под окном. Только на сей раз серенаду поет девушка наверху (бледная как смерть), отчаянно поет, прижав язык, звук льется свободно, дыхание опять не оперто. Ладонью отгороди ухо (А. Е. говорил), слушай сама себя, слышишь?

– От счастья зам-мираю!
Отца-стьязам-ми-раю...
А-А... ааа-аа (и т. д. пела).

Спуститься значит изменить судьбу. Спускались ли испанки к тем, кто пел серенады — На экзамене была серенада: «Гаснут дальной Альпухарры! золотистые края (Зоя Джафаровна проигрыш, и): напризы-вныйзво-онгита-ры! (Зоя Джафаровна барабанит) выйди милая моя!!» (А. Е., комментарий: вообще четыре с минусом! но четыре тебе поставили я был против).

Спускались ли испанки.

Она все еще стоит не шелохнувшись, боится за занавеской изменения своей судьбы. Внизу тихо, уже никого нет. Судьба удалилась. Ни с кем так и не познакомилась. Ходила туда, где площадка за решеткой, танцы и музыка, там качались пары. Но тихо удалилась, бледная как смерть. Все входили, а она не вошла, удалилась. Далиле повтори, что ты мой навсегда.

Как испугнутый заяц, на неслышных лапках спустилась во двор, обогнула корпус, вышла на плиточный тротуар. Стоп! Они стоят, охотники, замерли. Она стоит смотрит, говорит:

– Вот и я.

Смелое высказывание, изменяющее судьбу, вот и я. Сказала и перевернула свою жизнь и жизнь вон того, умного, в очках, стройного, прекрасного, лысоватого. Опрокинула все.

– Вот и я.

Пауза, они как-то изменили позу. Стояли так, а встрепенулись. Как будто услышали сигнал:

– Вот и я.

Дальше:

– Это вы пели? (Говорит второй, лицо круглое, сам высокий, загорелый.)

– Я.

– Видите ли, – говорит опять второй, а первый, главный, в очках, он расслабляется, закуривает, ибо смуглый второй явно играет всегда у них первую скрипку. – Видите ли, мы собираем концерт силами отдыхающих. Не согласились ли бы вы —

Дальше они уже идут втроем по плитам переулка (куда-то), в босоножки набрался опять песок, но времени у второго, смуглого, мало. Он явно спешит и вскоре оставляет Далилу и Самсона одних. Самсон учился в консерватории, Далила учится в училище. Самсон со смехом рассказывает, как в музыкалке они пели «Я помню чудное мгновенье» в виде джаза, под umpa-umpa-umpa, барабана на стульях, и когда одна дева на экзамене забыла романс Глинки, он (Самсон) тихо показал ей, как бы барабана, «umpa-umpa», и она вспомнила! Хохочут.

Затем они гуляют весь вечер вдвоем, заходят к Алику (тот смуглый) в его комнату при клубе, он массовик-затейник в доме отдыха, а Самсон его друг, приехал на взморье в гости, уезжает сегодня. Далила с ужасом думает: сегодня.

В комнате Алика плакаты, мячи и сетки, шахматы, спортивный инвентарь, одна боксерская перчатка, старые кресла, два дивана, кое-какой быт, чайник, стаканы, тумбочка, стол со стульями. Никаких денег ни у кого (быстрый безадресный вопрос Алика «у кого есть деньги»

пал в тишину). Но сидит, надувши губы, девушка, это девушка Алика явно. У нее такая надутая мордочка всегда. Постоянное свойство: чрезмерно пухлый рот, как бы слегка недовольный вид. Кто-то заглядывает с улицы, Алик убегает, забегает опять, хватается за ключи, наконец Самсон выводит Далилу на волю, у Далилы в семь ужин.

Идут рядом, Самсон рассказывает, что Пухлая Мордочка – это, оказывается, дочь какого-то большого начальника, она здесь отдыхает с родителями, ей семнадцать, они с Аликом уже решили пожениться, но родители еще не знают, а узнают – увезут Мордочку в столицу. Как раз у Аллочки этой кончается срок в санатории, она уговаривает родителей продлить путевку и оставить ее здесь одну лечиться, раз им надо на работу, а Аллочке в школу только в конце августа, две недели свободны. Школьница замуж?

Так Самсон с Далилой беседуют и расстаются у столовой, и тут самое главное – это как ДОГОВОРИТЬСЯ. Далила молчит, ей мучительно страшно, тоска ее душит. Только обрела – и тут же потерять. Они стоят у подножия лестницы, наверху уже почти все отужинали, сытые выходят, выносят кошкам и собакам котлеты. Далила ждет как собака или кошка, молчит, не мяукает. Вечереет, прохладно, Далила не может удержаться, дрожит. Самсон, усмехнувшись, снимает с себя пиджак и надевает на плечи Далилы.

Далиле повтори, что ты мой навсегда,
что все забыты муки...

Далила трясется и под теплым, нагретым пиджаком. Стоит молчит, ждет. Самсон закуливается и наконец говорит, почему-то усмехаясь:

– Ты завтра будь у себя наверху, я приеду перед обедом, утром у меня дела.

– Второй корпус, – откликается Далила немедленно, у нее этот адрес так и вертелся в мозгу. – Второй корпус, второй этаж, седьмая комната. Дом отдыха «Волна».

А то он может уйти и по дороге забыть, и всё. Это ведь километрами тянутся дома отдыха вдоль моря.

– Ну? – вопрошает она. – Пока?

Она снимает с себя пиджак и одновременно как-то неловко протягивает ему свою длинную белую руку для прощания (не загорела еще).

Он берет ее ладонь, держит в своей теплой и сухой руке. Пожатие как землетрясение.

– «Волна», два-семь, – она так беззаботно говорит и идет вверх по ступеням, стесняясь своего сарафана, босоножек, белых ног и рук. Как это выглядит со спины? Не оглядывайся. Оглянувшись уже в дверях. С невыразимо нежной, ободряющей улыбкой он смотрит снизу.

На рассвете Далила проснулась от счастья. Все уже состоялось в жизни, все что нужно. Пустая грудь заполнилась изнутри, так что стало тесно (как говорится, сердцу тесно в груди, вон оно что). Все мигом заполнилось, получился смысл жизни. На вопрос «в чем смысл жизни» Далила сейчас, на рассвете, могла бы дать ответ: «В Самсоне».

Она лежала наполненная смыслом, с громадным спокойствием. Птички начали щебелять, временами орали вороны. Все было уже устроено в ее жизни, все цело, был порядок, образовалось главное: всегда вместе с Самсоном.

Через много часов он приехал под окно и просвистал «Ах, нет сил снести разлуку», умница. Она тут же высунулась и замахала ему своей длинной белой рукой. Они пошли по делу, к Алику в клуб, там просидели до обеда, Алик был один, у него имелись сложности, родители не выпускают Аллочку из рук, водят с собой, что-то почувствовали. Алик двигался как во сне, тоже полный до краев, уже взрослый мужчина двадцати трех лет, массовик-организатор на курорте, нежелательная перспектива для таких родителей, ясно. Наконец пришла та, кого ждали, Аллочка, вырвалась на пять минут, сбежала с процедуры из

поликлиники, и тут же с порога предложила уехать к Алику в Донецк к маме. Он поцеловал Аллочку (при Самсоне и Далиле), прижал к себе, к своему телу, крошечное тело Аллочки к своему огромному и взрослому, спрятал ее надутую мордочку и мокрые черные глаза на уровне желудка, только видна была грива ее черных волос, все скрылось под руками Алика, скорбными руками ненужного человека.

– Надо подумать, – сказал он в результате медленно.

Она тоже медленно, как в воде, вышла из его рук и пошла, мелькнула потом в окошке, маленькая, пряменькая, на каблуках, копна черных волос, и всё.

Утешали Алика, пили у него чай с единственным что было, с сушками. Потом Алика вызвали к директору. Самсон и Далила, как бы сделав все что нужно, встали и пошли. Отправились к морю, куда же еще. Сели в песок, Самсон привычно разделся до плавок, а Далила смертельно испугалась, что сейчас увидит его тело. Увидела с отвращением. Волосы на ногах, ноги жилистые, немолодые (21 год), до плавок она почти не поднялась взглядом, там была куча всего. Далила не разделась, сидела скрестив руки (хрон. тонзиллит). Он пошел в море, уходил, двигал ягодичками, совершенно чужими, у него были икры, широкая спина с волосами. Потом вышел из моря, пошел лицом вперед, была очень хорошо видна волосатая грудь и мохнатый живот, туго набитые плавки. К этому надо привыкать, решила она, панически плясь в сторону. Когда он сел рядом, у него оказалось такое выражение лица, как будто ему было смешно. Как будто он наблюдал за любопытным случаем.

Вздохнув, она вдруг сказала:

– Я больше ни с кем не буду знакомиться.

И он опустил голову.

О пении больше не было и речи. О том, чтобы распеваться в спальном корпусе, тоже. Времени не хватало. День за днем они проводили вместе, переживая за Алика и Аллочку, Аллочка уже без пяти минут уехала, доживала, видимо, последние моменты, и один раз Самсон с Далилой пришли к Алику, а его комната, всегда открытая, оказалась запертой наглухо. Постучали, подергали. Ни шороха. Самсон посмотрел в замочную скважину и вдруг дал сигнал смываться, дернул Далилу за руку и потащил вон. Быстро ушли.

– Что ты?

– Они прощаются, ключ в замке.

– Как прощаются?

– Прощаются, – повторил он.

Затем Далила узнала всю историю его долгой жизни, что Самсон не мог вынести учебы на военном факультете с перспективой потом играть всю жизнь в духовом оркестре и наконец стать его дирижером. Тогда Самсона в казарме научил опытный старшекурсник, ты лежи под лестницей, а я тебя как бы найду, что ты упал и потерял сознание. Потом вообще не ешь, а если будешь есть, то сунь два пальца в рот и все дела, сблунешь. Недельку так пролежишь в санчасти, и тебя комиссуют. Недельку: Самсон пролежал три месяца в госпитале, в отделении нейрохирургии, и уже действительно не мог есть, даже пить, его рвало сразу же после приема пищи, а армия все не хотела с ним расставаться, ставила капельницы, настойчиво лечила, назначала все более тонкие обследования, пункции из позвоночника и страшное поддувание (какое-то), чего боялись все симулянты и от чего человека корежило как от смертной казни. Затем его отпустили. Он потерял половину веса, шесть зубов и почти все волосы на голове, однако выжил, вышел на волю и стал страшно пить. Не мог ни работать, ничего. И мама.

– И мама, представляешь, ни слова. Каждое утро на репетицию, и каждое утро оставляет мне деньги под блюдечком. Зарплата при этом маленькая. И я все понимал, но ежедневно с ранья бежал, покупал бутылку.

– Да?!

(Далиле повтори, что ты мой навсегда, что все забыты муки.)

– И я, понимаешь, в один прекрасный день сказал себе: всё. Хватит. И всё!

– Да?!

– И не пью больше. Ну как все, рюмочку-другую. И всё.

(Открылась душа,
Как цветок на заре,
Для лобзаний Авроры...
Так трепещет грудь моя!)

И вот однажды вечером он ее поцеловал. Грубо вечером на берегу, в дюнах. Смял ей весь рот, Далила стала задыхаться, она же не умела дышать в таких условиях, когда рот заткнут! Губы мгновенно распухли, и Далила ясно, тут же (как осветили), увидела надутый рот Аллочки, уже увезенной насильно в такси, и в панике все поняла (они прощались! «Прощались!»). И стала вырываться, забилась, чтобы освободиться и вздохнуть, но этого мало, Самсон вообще надвинулся, навис, заслонил собою все и стал терзать бедную грудь Далилы. Какое-то животное навалилось, хлопотало, умело расстегивало, мяло, не отрывалось ото рта, фу! Далила сильно оттолкнула это животное и вскочила на ноги. Отвернулась и долго застегивала под плащом, кофточкой и сарафаном лифчик. Оглянулась. Самсон сидел курил, сам тоже растерзанный. Постепенно разговорились. Почему-то она чувствовала себя виноватой. Погладила его по рукаву пиджака. Выяснилось (не сразу), что в такие моменты у мужчин сильная боль. Они собой не владеют. Неутолимая боль.

– Да?!

Была уже темная ночь, Самсон опоздал на электричку и собирался теперь идти будить Алика, ночевать у него на диване. Самсон проводил Далилу в корпус, мягко и нежно поцеловал ее и долго потом стоял под окном, насвистывая «Ах, нет сил снести разлуку». Зачем-то стоял, хотя договорились на завтрашнее утро. И – новости – утром выяснилось, что белый плащ на спине у Далилы испачкан!

Она уже оделась выходить, а соседка ее остановила:

– Ты обзеленилась, – деловито сказала соседка. – Где-то обзеленилась, лежала.

Белый плащ на спине был в зеленых полосах и пятнах.

– Это от травы, на траве лежала. Надо горячей водой с солью.

В глазах соседки тетки ясно читался весь произнесенный текст и собственный печальный опыт. Эх, ох, обзеленилась как тысячи других безымянных.

Перестала носить плащ. Спрятала в чемодан.

Днем Самсон у Далилы в груди, распирает грудную клетку, все наполнено, битком набито им. Он же идет рядом, держа ее за руку, и он же сидит внутри, потеснив дыхание. Рука в руке, через его ладонь проходит в Далилу как бы ток, щекочет в ребрах, уходит в пятки, если встретишься с ним взглядом. Как хорошо! Голова кружится, а разговор течет спокойный. Они просто так болтают. Алик ошалел как олень в лесу и бегаёт на переговорный пункт к телефону. Его вызывает Москва. Аллочка ему звонит ежедневно и плачет в трубку, стонет, не может вынести разлуку.

Ах, нет сил снести разлуку!

Жгучих ласк, ласк твоих ожидаю,
От страсти зам-мираю!

Аллочка плачет, а мы вместе.

Через неделю Далила ему позволила ЭТО, то есть целоваться (раз у него боли, он явно стискивал зубы, сидя рядом). Научилась дышать носом, если целуют. Терпела. Рот наутро распух.

А Аллочка сообщила по телефону Алику, что у нее задержка (что это такое, думает Далила, то есть она не будет больше звонить?!)

– Какая-то задержка со звонками, – вслух заключает Далила.

Безудержно, но негромко смеясь, Самсон продолжает, что Алик сходит с ума.

– Уехать ему нельзя, денег нет, – хохочет Самсон как идиот.

– Ты чего, – спрашивает Далила. Она подозревает, что смеются над ней. Каждый так будет думать, если смеются непонятно над чем.

Самсон постепенно успокаивается и объясняет, что у Алика нет денег съездить в Москву, на выходной бы было можно (ночь в поезде туда и ночь обратно), но не на что, поскольку Алик посылает деньги матери в Донецк, там младший брат учится. Алик сходит с ума. Аллочка собирается приехать к Алику сама, честно оставить записку родителям. Жить в его комнате. Питаться с ним в рабочей столовой. Алик ее отговаривает, тогда его вообще посадят за совращение малолетней. Всю милицию на ноги поставят. Они всё могут. А он ничего. И нет денег.

И у Далилы и Самсона нет ничего. Они печально танцуют бесплатно на Аликовых вечерах, уже идет осень, пахнет желтыми листьями, бессмертная луна сияет с темных холодноватых небес, песок в дюнах ледяной. У Самсона мать на гастролях, он исхудал, Далила кормит его своими котлетами с хлебом, как люди кормят кошек и собак. Жадно смотрит, как он ест: деликатно и как бы нехотя. У него металлическая коронка в глубине рта, след страшных месяцев в госпитале.

Однако у Самсона все впереди, громадные планы, он поступает (не сейчас, а на будущий год) в консерваторию на два факультета, дирижерско-хоровой и на композицию, будет готовиться. Надо работать и учиться.

Они сидят в дюнах на Аликовом одеяле, под луной, целуются до потери сознания, но печаль уже поселилась в сердце Далилы, она часто плачет (как Аллочка).

Глупая Далила с остервенением целуется, научилась, Самсон скрежещет зубами от своих болей.

И как-то вечером она уезжает домой, в Москву, Самсон везет ее на электричке в город, они стоят обнявшись в тамбуре последнего вагона и смотрят в заднее окно, как убегающие рельсы сплетаются и расплетаются огненными змеями на черной земле, уходя в печальный желтый закат, и как горят тоской зеленые и красные огни светофоров, можно-нельзя, можно-нельзя.

И на перроне городского вокзала Самсон на прощание снимает с себя свой единственный красный свитер и отдает его Далиле, потому что она мерзнет без плаща, который засунут в мусорную урну дома отдыха. И всю ночь Далила плачет, укрывшись свитером, слышит запах Самсона, табак, его кожа, одеколон, плачет и будет плакать еще полгода, будет писать письма каждый день, потом через день, потом реже. К весне этот поток иссякнет, и обратный поток, от Самсона, закончится двумя письмами без ответа, и в одном из них далекая новость, что Алик женился, они с Аллой ждут ребенка, и Алик поступает на заочный в театральное училище на режиссуру и уже нашел работу худрука в доме культуры завода. Алик – кто это.

Открылась душа, как цветок на заре.

Много лет спустя Самсон позвонит и мягким, нетрезвым голосом скажет – а, да что там, одну тебя и любил всю жизнь. И положит трубку.

Найди меня, сон

Довольно смешная и трагическая история произошла в пансионате издательства, где за одним столом посадили троих, что сближает. Но трое разнополых, что настораживает, так как возможен треугольник.

Он и произошел, возник. Молодая женщина отдельно и те двое людей сильно постарше, – он экономист, она историк, оба с большим стажем. Двое пишут книги, третья, помоложе, считчица, корректор. Тоже треугольник, поскольку молодая женщина оказалась много проще тех двоих, профессуры. Целую рабочую смену она бубнит вдвоем с напарницей, считывает текст и вносит правку.

Но, поскольку память у этой молодой превосходная, то в голове сидят отрывки из обрывков, каша, цитата на цитате, авторы, названия. Что делать с такой памятью, спрашивается, бедная считчица запоминает все.

А те двое – профессор и профессор – вдруг дико интересуются таким феноменом, что молодая считчица знает, например, наизусть тысячи стихов (зачем только). Феноменальная память со слуха. Раз услышав, запоминает, и зовут это существо Софа.

Ради смеха заставили ее (она долго отнекивалась) прочесть первые строфы «Божественной комедии». От восторга переглядывались.

Профессор Михаил возбудился, глаза его разгорелись: какой редчайший дар! Профессор Гюзель, однако, быстро перевела разговор на книгу, которую ей дали еще в Москве почитать. Михаил да, переключился, пошел с Гюзелькой посмотреть ее книгу, однако к ужину явился переодетый, в галстук, праздничный, и пригласил Гюзель и считчицу Софочку в бар выпить кофе и что захотим.

Считчица, маленькая пухлая особа с неизвестно каким прошлым, пошла как бы сопротивляясь, хотя пошла, поддавшись на уговоры (ей надо было вроде бы звонить домой, а почта открыта до восьми) – но ничего, автоматы работают всю ночь, и я вас провожу и научу как бесплатно долго говорить (это Михаил). И мне надо звонить, я тоже (это Гюзелька). Треугольник!

Пошли в бар, играла музыка прошлого, Михаил был в превосходном состоянии, Гюзель разругалась. Старшие всё беседовали о книге, Гюзель рассказывала (какие-то обряды славян, или ритуально стариков, детей и тэ дэ). Гюзелька говорила без умолку как ненормальная, у считчицы был отрешенный вид. Михаил расплатился за кофе, пирожные и вино, и все трое поднялись как стая галок, вылетели вон и устремились на почту, держа в центре считчицу. Считчица, как ее научил Михаил, набрала номер (Михаил стоял над плечом диктовал способ) и действительно предупредила кого-то, что позвонит и будет говорить не ожидая ответа, бесплатно. А потом перезвонит и спросит, как дошло сообщение, и получит ответ. Причем оба старшие слушали (явно), что говорит, вбирая голову в плечи, считчица. Она сообщала одни пустяки и очень коротко, как доехала, где поселили, погода, море. Голос ее звучал механически, без интонаций, как будто она по привычке считывала текст, не ожидая никакого интереса в партнере. Но потом она опустила монету и сказала: «Это я, говори» – и долго слушала кого-то, они не поняли кого.

Домой шли долго, перекапывал редкий теплый дождик, пахло пылью и тополиными листиками, неурочное время для отпуска, начало мая, самое томительное время.

Оказалось, что Гюзель работает над книгой, Михаил тоже, а считчица взяла горящую путевку за тридцать процентов, никто не шел в отпуск в такое глупое время, земля еще холодная, добавила она почему-то.

Ничего они не узнали о Софочке, она как-то не отвечала на вопросы, отделивалась шутками, и это при ее феноменальной памяти, и тогда эти двое начали буквально галдеть, перебивая друг друга, болтали и болтали.

Был явный треугольник, но неизвестно какого характера. Во всяком случае, Софа была в центре.

– Вы запоминаете все что мы говорим? – вдруг спросила Гюзель.

– Нет, что вы, – отвечала считчица. – Я не запоминаю.

– А почему не запоминаете? – заинтересовалась Гюзель. – Неинтересно?

– Не знаю, – совершенно искренне сказала считчица.

– Да, – откликнулся Михаил, – а я-то запомню этот вечер. На всю жизнь.

– Нет, я нет, – повторила Софа.

– Сама естественность, – вдруг воскликнул Михаил.

– Да! (Это Гюзелька.)

И они опять заболтали друг с другом, вспоминая какие-то фамилии, старые анекдоты из мира науки, смерти, романы, аресты, предательства и ошибки.

– Он перевел, помните, слово «дантист» как «специалист по Данте»! – кричала Гюзель.

– Он сказал, они все тут ходят на симпозиуме такие гордые, потому что дома бегают на четвереньках! – вторил ей Михаил.

– Она сказала, эта пара олицетворяет, к сожалению, советскую науку, жена хромая на правую ногу, он на левую!

Оба были в ударе. Михаил вдруг сообщил, что вычислил, куда похитители спрятали знаменитого итальянского министра, и по этому поводу он уже звонил в Москву.

Гюзель спросила, его найдут?

– Вряд ли, покачал головой Михаил, я передал адрес, но кому передал! Они дальше себя это не пустят, в этом загвоздка.

Софа про себя отметила этот факт, подумав:

он что, медиум?

– Вот загадка так загадка, телефон, – внезапно сказал Михаил неизвестно кому. – Где взять телефон итальянской полиции. И как им сообщить по-итальянски адрес.

И он странно посмотрел искоса на Софу.

– То есть как, – не отставала Гюзель, – как это, вы знаете адрес?

– Адрес да, но его сейчас уже убили, несут в багажник автомобиля и бросят машину на улице.

– Ну допустим, – Гюзель даже засмеялась, – допустим, вы сообщите им адрес.

– Да, – как бы нехотя отвечал Михаил.

– И, —

– И толку что. Я сообщил уже. Они даже не передадут в Италию. А я не знаю телефонов, надо было посмотреть хотя бы телефон «Коррьере».

– Коррьере делла серра, – автоматически откликнулась считчица, впервые самостоятельно вступив в разговор.

– Вот именно. Там должны быть контактные телефоны. Вы говорите по-итальянски, считчик?

Софа ответила:

– Нет еще.

Это прозвучало значительно.

– Гм! – Гюзель даже подавилась от волнения. – А почему?

– Я не знаю грамматики.

– Парла итальяно? – спросил М. торжественно.

Софа ответила довольно тихо:

– Поко-поко.

– Не понимаю, – искренне и восторженно засмеялся Михаил. – Аллегро мо нон троппо и анданте кантабиле, это все. Из музыки.

– А что вы, Софа, сказали? – поинтересовалась Гюзель.

– Да ничего особенного, – ответила Софа после длинной паузы.

– Миша, а вы что-нибудь еще предвидели?

– Кое-что.

– А именно, – настаивала Гюзель.

– Ну что вас интересует? Какая область?

– Ну... к примеру, как будет с моей книгой? Это можно узнать?

– С вашей книгой все будет в порядке, но позже.

– На сколько позже, это важно.

– Лет на... на несколько.

– Лет? – изумилась Гюзель. – Лет? Да она у них в плане на этот год, понимаете? В плане стоит. Они поставили, потому что это сенсация, сказали.

– Ну вот и хорошо, – мирно ответил Михаил. И они опять заболтали о казусах издательского дела. Какие-то патологические балаболки. Тем не менее, дойдя до дома и подступив к лифту, они оба какими-то остановившимися глазами стали смотреть на считчицу. Гюзель деловито, как бы взвешивая в уме варианты использования ее феноменальной памяти, а Михаил (уже) туманно и растроганно.

«Этого еще не хватало», – подумала считчица.

Тем не менее она спокойно вышла на своем этаже, сказавши «ну пока».

За завтраком вся тройка собралась снова. Гюзель без умолку трещала о прочитанной книге, Михаил просил ее на денек, но Гюзель собиралась вернуться к особо важным местам, которые она промахнула в азарте, не подозревая, насколько они важны. Михаил весь трепетал от страсти якобы к книге. Гюзель грелась в лучах мужского интереса, сама будучи женщиной обделенной (явно), отсюда была живость, нервозность, покусывание и облизывание губ, многоглаголанье, ерзанье на стуле, она все время жестикулировала, трогала Михаила, касалась его плеча и зырила ему прямо в глаза своими черными глазками. Михаил тоже жарился на медленном огне и посматривал на считчицу, как бы смазывая ее на ходу продолжительными взорами. «Упаси господи», – думала считчица.

После завтрака они все втроем опять оказались у лифта.

– Погуляем вместе перед работой? – предложила Гюзель.

– Как вы? – обратился Михаил к считчице.

– Не могу, – быстро ответила та.

– Что так?

Но считчица не реагировала, она молчала, проклиная судьбу.

– Ну я тогда жду вас, Миша, пройдемся у моря, – сказала Гюзель. – Возьмите зонтик, будет дождь.

– Софа, ну что же, – занял Михаил. Считчица отрицательно покачала головой.

– Полчаса вам полезно, – продолжал умолять Михаил.

– Нет.

Тут подошел лифт, и Софа благополучно вышла на своем этаже.

К обеду она не появилась. Ее телефон начал трезвонить через час и звонил без передышки. Софа сначала хотела перевести регулятор громкости, а затем нашла за письменным столом розетку и отогнула один проводок. Аппарат умолк.

К вечеру постучались в дверь.

– Софа! – приглушенно прокричала Гюзель из-за притолоки. – Софа, что с вами? У вас ключ в замке, – забубнила она после паузы (видимо, проконтролировала замочную скважину). – Софа! Вы живы?

– Я заболела, – наконец крикнула Софа. В коридоре начались переговоры. Видимо, они оба приволоклись под дверь.

– Но нельзя же не есть, – глухо завопила Гюзель. – Врача надо! Врача!

– Можно! – крикнула Софа.

– Принесу вам ужин? – вопросительно провизжали в коридоре.

Софа с ненавистью смотрела на дверь.

– А телефон, вы не подходите к телефону! Миша что-то важное хотел вам сказать!

– Нет! – рявкнула Софа. – Сломан телефон!

Они посовещались.

– Мастера надо, мастера завтра! – издалека зарокотал Михаил. – Телефонщика!

– Простите! – вдруг сказала Гюзель в самую дверную щель. – Я вас заговорила, наверное, теперь я молчу! Молчу! Вы отдыхать приехали? А? Тяжелая работа, – сказала она в сторону.

Потом они еще разок постучали и удалились. Утром, после завтрака, опять забарабанили в дверь.

– Врач, откройте.

Софа ответила:

– Не надо! Спасибо!

– Не надо ей, – кому-то объясняя, сказал голос.

Затем закричала Гюзель:

– Софа, это просто врач! Вы что! Врач!

– Спасибо, я в порядке! Опять переговоры.

– Вам тут завтрак! Оладушки со сметаной! Поставили у двери!

Молчание. Удалились наконец.

Тем не менее надо было как-то функционировать. Софа собралась и встала у окна. Если все будет как обычно, горизонт расчистится.

Так и произошло. Отбрасывая тень, выполз Михаил. За ним выскочила Гюзелька. Они повернулись лицом к фасаду и начали считать этажи, добираясь глазами до ее окна.

Софа быстро вышла. Заперла номер и пулей сбежала по лестнице в столовую, съела то, что осталось на столе, – яйцо, холодную кашу и хлеб с сыром. Официантки собирали посуду. Фу, пронесло.

Затем Софа проверила, чист ли горизонт, выкатилась в город, побежала на электричку, проехала одну станцию и там села у реки, подстелив казенное покрывало с кровати. Почва действительно еще не прогрелась, хотя был теплый солнечный денек.

Река пахла тиной, открылись какие-то дальние леса, редкие облачка стояли над миром. Орала чайки. Тишина, покой.

В голове у Софы проносились монологи, черт бы ее побрал, Гюзельки. «В двенадцатых годах единичные случаи каннибализма, апрельских санных подледных погребений в овраг, то есть аналог палеообрядов, саты былыт, куйаас, внурук, урбэлээх, бляа», – думала Софа.

– Да! (встревал Михаил) – аналоги-аналоги. Я вычислил адрес по карте Рима, но невозможно передать! Скоро обнаружат, тогда!

– Уус, чыггыч милк шамсан. (Это Гюзелька проклятая.)

– Явки их не обнаружены, хотя работают карабинеры всех провинций!

– Поговорка в словаре Даля насчет саней, послушайте (визжит Гюзель). Встал не так и запряг не так, сел не так и поехал не так! Заехал в овраг, не выедет никак! (Захохотала.) Похороны, похороны!

Софа разделась, сняла с себя лифчик и подставила свое зимнее тело теплому солнышку, хотя иногда поддувал ветерок. Затем подошел человек в полузимней темной куртке, сел рядом, поговорили, он пригнал лодку, поехали на недалекий остров, зашли в кусты, он постелил куртку, легли, совокупились, после чего он высадил Софу с лодки на то же место. Опять поговорили, Софа дала рыбаку ошибочное название дома отдыха, не тот номер комнаты и не то имя (Марфа). А затем (дело шло к послеобеденному времени) они зашли в бар при станции, выпили по бокалу вина, он купил и поставил перед Софой малиновое желе преотвратного вкуса. Софа для приличия съела. Рыбак явно не хотел покидать Софу, все договаривался о встрече сегодня вечером. Он собирался взять ключ у друга от лодочного сарая. На всю ночь не смогу, жена ревнивая. Свой адрес он не дал. Затем они расстались на улице, он все не мог отлипнуть. Софа пошла прочь, тут же подвалил следующий, в пиджаке, навязался провожать, пригласил в тот же бар. Опять сели, ели, пили, все это тянулось, затем на вечерней заре, при негаснущем закате пошли в дюны, теперь уже на покрывало.

Слегка потрепанная, с грязноватым покрывалом в пляжной сумке, Софа поехала в электричке домой, изо всех сил стараясь не привлекать ничьего внимания, однако вслед за ней кто-то вышел из вагона и стал говорить «девушка, девушка». Софа пошла быстрее, он тоже. Хорошо, что еще было светло, и преследователь не посмел решиться на грубое насилие, отстал у ворот, выругавшись.

Перед входом, зайдя за угол, Софа сняла с себя пиджак, причесалась, попудрилась, осмотрела пиджак, почистила его, повернула юбку и осмотрела и ее, затем вытерла ботинки о траву, проследовала в корпус и – нате! В холле дежурил Михаил с безумным взглядом. Он захохотал и загородил Софе дорогу.

– Как! Что вы! Где вы! Вы не ели! Весь день! Идемте, я специально ходил на станцию и купил вам малиновое желе! Здесь очень вкусно делают! Я вас жду-жду!

– Я ездила в город, – выговорила Софа слегка занемевшим ртом. – Я там обедала.

Еще не хватало Гюзели тут.

– Идемте, идемте ко мне, – лихорадочно бубнил Михаил, – желе, кофе, коньяк. Вы замерзли, укуром. Сон! Я вас так буду называть. Я смотрю, какая усталая, бледная, мой сон. Французский коньяк, мне присылают настоящий, для давления.

Он поволок Софу к лифту, они стали ждать, лифт наконец опустился. Разъехалась дверь, и из нее, как кукушка из часов, высунулась Гюзель! (Небось глядела из окна.)

Гюзель, как бы там ни было, спасла положение, и до поздней ночи они сидели у Михаила в номере, пили его коньяк (выдоили бутылку до дна) и болтали (Софа молчала). Затем они довели ее под конвоем до номера, зорко следя друг за другом, и позволили ей ускользнуть.

Однако уже через пять минут Михаил скребся о Софину дверь, бормоча что-то неприличное типа «зиронька, сон, сон, лапочка, рыбонька».

Софа тут же, при первых словах, врубила телевизор на полный звук.

Дело кончилось плачевно, так как после недели такой жизни Михаил обезумел, исхудал, рассказывал Софе всякие сексуальные истории, в том числе и о том, что в любом доме отдыха он не голодает, вся администрация, даже повара, они регулярно проверяются на венеру, они его обслуживают в любом плане, носят ему ужин под салфеткой и т. д.

Затем он заболел, подскочило давление. Софа, которая была в курсе всех событий, подговорила одну поэтессу Тамарку, лихую машинистку и практикующую алкоголичку, и наслала ее на беднягу Михаила, посулив ей бутылку коньяку (стало известно, что у него есть еще одна, НЗ). Тамарка, выставив свой нос башмаком, вполне спокойно подошла к нему на

пляже, познакомилась с видным экономистом и напросилась в гости. Репутация у нее была известная, и текст требовался простой, типа «угостите коньяком, мужчина». Договорились на после ужина. Михаил смотрелся в этот вечер орлом, покровительственно глядел на Софу и ляпнул вдруг: «Нецелованный хожу». Гюзель от неожиданности засмеялась.

Поздно вечером Софа, как это ни странно, вышла в парк и бродила вокруг дома. Посматривала на окно Михаила, погаснет свет или нет. Лампа у него горела настольная, да и то сквозь занавеску. Тьма мать интима.

Затем Софа, непонятно почему печальная, вернулась к себе и включила телевизор.

На следующий день Михаил не вышел к завтраку. Тамарка в ответ на вопрос заявила:

– Ну ты что, я у него только коньяк выпила, бутылку водки. Ну ты что, я с ним спать не нанималась. А он: «У вас такой большой красивый рот, рот». Нудила. Я сплю только с теми, – значительно сказала Тамарка, на что-то намекая, – кого сама хочу.

Поэтесса без переднего зуба, который ей здесь же, в пансионате, сломал один редактор случайно локтем, когда она вошла и тихо подкралась поцеловать невинного, сидящего спиной к ней, а объект резко обернулся.

Михаила не было и на обеде. Встревоженная Гюзель стучала к нему в номер, а потом обратилась в администрацию, и ей сказали, что Михаила увезли в аэропорт домой в Москву, стало плохо.

Закончились эти беседы за столом, Софа свободно ходила куда хотела, народ загорал, в ее постели перебивали все желающие, вечерами у нее собирались выпить поэты, чьи стихи она запоминала, сама того не желая, и известный аттракцион заключался в том, что она читала им их же бредни, и была очень популярна этим талантом. Так прошел этот отпуск, пролетел.

Спустя год они встретились с Михаилом в издательстве на лестнице. Софа спускалась в буфет именно с Тамаркой (нос сапогом, щеки вздутые блестят, волосы сальные, чаровница, бездна свободы).

Михаил шел снизу, длинный, взъерошенный, он увидел Софу, и голова его непроизвольно дернулась. Он остановился.

– Привет, – певуче воскликнула Тамарка. – Привет, бля.

Ей, как поэтессе, полагалось пить, буйствовать и ругаться. Ее уже не пускали в ресторан, где собирались все свои. Это тоже был ритуал. Потом пускали, что делать.

Софа растерялась.

– Ну что, дашь пройти или нет, – не спеша, волнуящим голосом произнесла Тамарка.

И тут он спохватился. Собрался и пошел на нее вверх как на амбразуру, загородил ей дорогу, потеснил к стене и т. д. То есть повел себя вполне на манер дееспособного гуляки.

Софа продолжала свое движение вниз, в буфет.

Сзади, нараспев ругаясь, отбивалась Тамарка, Михаил суматошно говорил и вдруг воскликнул, немного слишком громко: «Найдите меня, сон мой».

Все понятно.

Немного времени спустя в газете появился некролог с портретом Михаила, внезапная смерть. В издательстве говорили, что никто ничего не ожидал, криз. Очень любил свою новую жену-переводчицу и маленькую дочку, недавно переехали, а теперь они остались одни. И еще два сына постарше у другой жены.

Софа не плакала, но в ее проклятой памяти полностью прошли все его монологи, восторженные восклицания, его жизнь, воспоминания о детстве и т. д., все его нежности и слова, которые ей никто никогда больше не говорил, его будущие письма, которые он при ней же сочинял вслух, его безумная любовь, неприличная, жалкая, как и полагается любви. Запряг не так и поехал не так, заехал в овраг, не выедет никак...

Подснежник

Я ходила за Говоровой, это было в четвертом классе.

Говорова играла на пианино «Подснежник» Чайковского. Говорова являла собой мою воплощенную мечту, она умела играть, училась музыке. Я, как хищная рыбка, всюду следовала за толстой прекрасной рыбиной Говоровой, девочкой с пшеничными косами и ясными, хоть и небольшими, голубыми глазами.

Это был как бы психоз, причем заразительный. Следом за мной с Говоровой захотела дружить Ленка, существо тоже толстое, но с буйными черными волосами. Ленка сидела позади Говоровой, я на две парты впереди. Ленка все время отвлекала Говорову. Честно говоря, Говорова не была готова к такому обожанию, она являла собой тип девочки-мамы, отличницы-старосты, спокойное розовое, бело-розовое как зефир существо с этими косами, которые она плавным движением забрасывала то одну, то другую за спину. Это была особая такая манера сосуществования девочки и ее толстых желтых кос. Обхватив пухлыми пальцами эту пшеничную плетъ, Говорова слегка подавалась одним плечом вперед и очень спокойно заводила за него свою косу. И все девочки тоже так ходили и покачивались взад-вперед, то одним плечом, то другим, и голову гордо отворачивали то в одну, то в другую сторону. У Ленки косы были тоже (у меня тоже), но они у нее как-то все время топорщились: черные жесткие волосы лезли во все стороны. У меня были простые косички, тонкие беленькие плетенки, собранные корзиночкой за ушами. Я была еще мала. А Ленка уже выросла. Рот у Ленки являл собой пещеру огненную, такой особый инструмент, окруженный толстыми губами, вечно они у нее трескались, пересыхали до корок, горели, вечно рот у нее был открыт, нижняя челюсть отвисала.

Ленка дышала ртом как тоже рыба, как какая-нибудь вуалехвостка, и водила глазами за Говоровой, где бы та ни оказывалась.

У меня к Говоровой была тоже жуткая тяга, при том что имелась всего одна практическая цель: усадить ее за рояль на четвертом этаже в зале, чтобы она играла «Подснежник»! Я сходила с ума по Чайковскому, по этому «Подснежнику», и еще мне очень нравилось «На тройке», из тех же «Времен года». Говорова играла своими пухлыми, не очень длинными пальчиками, перебирала клавиши. А я, стоя рядом, замирала как охотничья собака, глядя в ноты. Ноты для меня были тогда филькиной грамотой, но там был напечатан еще и текст, и я пыталась его петь, «Голубенький чистый подснежник цветок, а рядом сквозистый последний снежок», то есть я считала это словами к данной песне, а Говорова справедливо отбредивалась, что нет, не слова. Я говорила «Да ты смотри» и пела, но Говорова саркастически кривила свое на удивление спокойное лицо и вообще прекращала играть. Тут начинались самые муки. Я беспомощно смотрела, как она аккуратно закрывает крышку, встает, забрасывает косы одну за одно плечо, другую за другое, а затем проводит тылом пухлой ладони пониже спины, проверяя, в порядке ли сзади платье (у нее была такая привычка) и уходит со своими нотами.

Весь мой план спеть «Подснежник» был замешан на слове «репетиция». У нас, как обычно, планировался к концу года какой-то концерт силами класса, и Говорова как самая сильная пианистка обязана была играть. Я же должна была петь, и фокус заключался в том, чтобы и пение, и аккомпанемент происходили одновременно. Поэтому я имела право на репетицию и таскала Говорову наверх, в актовый зал, к роялю. Моя подруга Наташка Коровина с остальными спортсменками класса под команду «Де-лай!» показывала так называемую «пирамиду» т. е. забиралась по коленям и плечам стоящих внизу и громоздилась наверху, и все это скопище рук и ног замирало на мгновение в каком-то кривобоком апофеозе. Лариска Морева читала с завыванием «Знаете ли вы украинскую ночь» Гоголя, я испол-

няла на французском языке басню Лафонтена «Ворона и лисица». А еще мы хором и полностью вразнобой орали революционный гимн «Марсельезу», тоже по-французски («Исполняет весь класс!») – провозглашала ведущая Лариска, тоже с завыванием. Она занималась художественным чтением во Дворце пионеров, и я ее презирала за такую манеру выть).

Благодаря чему я на всю жизнь выучила оба французских текста и однажды неожиданно для себя расшифровала строчку из тайного дневника Пушкина, много позже, в Коктебеле. Она была написана сокращенно и по-французски, и в ней встречалось одно слово, которое я хорошо помнила со своего двоечного детства. Ну да ладно, это тайна Пушкина, и я ее сохранию.

Но в те времена я была ушиблена Чайковским, видимо, потому что он для меня оказался совершенно недостижимым – я не училась музыке, и у нас не было дома пианино. Какое там пианино! Ничего у нас не было с матерью, кроме матраца. Но я упорно хотела спеть «Подснежник» со словами – дикое мероприятие, кстати.

Говорова, девочка практическая и в табели о рангах стоящая далеко в верхах (отличница и дочь работника Центрального комитета коммунистической партии, да и староста к тому же) реагировала на мои просьбы отрицательно. Она, кстати, сидела в классе в самом центре рядом с другой отличницей, Милочкой. То была справедливая позиция, и центральная лампа освещала две эти работающие башки – у Говоровой лоб был как у теленка, выпуклый, с двумя буграми, а Милочка имела ясный, как бы светящийся купол над бровями – сейчас я бы сказала, что с легкими залысинами.

Я сидела впереди у учительского стола на первой парте как человек, за которым нужен постоянный контроль, а рядом со мной находилась тихая, бесцветная, со льняными косами девочка Валя. Валя была бледной, недокормленной копией Говоровой, в их семье было множество детей. Они жили в каких-то немыслимой красоты палатах дворца, то есть это и был настоящий дворец, перегородженный на комнаты. Валино семейство обитало в одной комнате, в выгороженном куске огромного двухсветного зала. Высота потолков достигала метров десяти, что ли, и тут остроумный отец семейства построил лестницу и какие-то деревянные полаты наверху, и оттуда всегда гроздьями рук и ног свешивались дети, глядя вниз, как в деревне с печки (дети вроде кошек, обожают забираться наверх и сидеть там, или вниз, под стол, и тоже затаиваться).

Сейчас это опять дворец в начале Петровки, справа, если спускаться от Петровских ворот от бульвара.

Мне с Валией говорить было не о чем. Она была очень тихая. Она не умела играть на рояле. Она не представляла для меня никакой ценности. Троечница с волосами цвета льна и с синими как подснежники глазами. Косы у Вали были, но тоже блеклые, льняные, бесцветные, настоящие светлорусые, не такие толстые пшеничные как у Говоровой.

Все мои помыслы были сосредоточены на этой проклятой пианистке, на нашей старосте, которая никак не хотела мне аккомпанировать.

Поэтому я часто оборачивалась и смотрела на Светлану Говорову угрожающе. Я посылала ей записки «На большой перемене репетируем». Она тихо склоняла свой выпуклый, как у теленка, ясный лоб над тетрадами и в ответ никогда не морщилась, не щурилась. Не реагировала. У нее вообще на лице бывало или безбрежное спокойствие, или расцветала скромная, тихая, ясная улыбка. Больше никакой мимики не наблюдалось: странное существо! Кроме того, она была отличница. То есть для нее трудностей не существовало.

Я была двоечница и уроков не учила никогда. По арифметике двойки, по истории двойки.

Мы с мамой иногда не спали ночами, а то и просто вместо сна уходили на улицу, когда дед особенно кричал.

В школе все было чисто, сияющие натертые красные полы, цветы на окнах, девочки в чистых фартучках. Дома мы спали под столом, в компании с толпами хищных клопов, которые, как только человек засыпал, выходили из-за книг... Но, если у человека есть цель, все остальное для него не существует. Я бредила Чайковским. Однако проклятая Светлана играла только «Подснежник», даже «Тройку» не хотела.

Наша учительница, красавица Елизавета Георгиевна Орлова, похожая на актрису Веру Марецкую, всегда зорко следила за классом, держала всех в строгости и лично меня муштровала, чтобы хоть как-то сдержать. Я сидела у нее под носом. Когда все писали, то же самое вынуждена была делать и я: Елизавета Георгиевна живо возвращала мое внимание к тетрадке.

Я любила ее преданно. Я ее обожала. Иногда мне снилось, что мы уже кончили четвертый класс и она от нас уходит. Я просыпалась в слезах.

Мне кажется, что она меня тоже по-своему любила. Но никогда этого не показывала.

Так бывает, что строгие учителя оставляют в душе гораздо более важный след, чем мягкие и добрые.

К декабрю репетиции участились. Наша выдающаяся школа готовилась к Новому году.

Нам предстояло отчитаться классным концертом. Все силы были брошены на это. Мне теперь аккомпанировала наша учительница пения, толстая красавица с косой вокруг головы и в белой кружевной шали. Она была такая же полная и медлительная как Говорова, но гораздо ее горделивее. Ольга Михайловна спросила меня, запевалу классного хора, что я буду петь. Я назвала «Родина слышит», хотя хотела сказать «Подснежник». Хорошо.

Рродина слышит. Рродина знает,
Где в облаках ее сын пролетает, —

заливалась я на репетициях.

После уроков я шла не домой, на улицу Чехова, а в Столешников переулок, где мама после нескольких бессонных ночей (дед бушевал) сняла койку у приличного и трезвого мужского портного.

У него была отдельная жилплощадь: кухня и комната с огромным, во всю квартиру, витражным окном.

Видимо, до революции это было что-то вроде студии для художника, как я потом поняла, неоднократно и много лет спустя проходя под этим проклятым местом.

А сейчас на большой кровати, как раз против окна, спал портной с женой и сыном, в маленькой детской кроватке справа от окна и ближе к двери спала портновская дочка, у которой была трахома, заразная болезнь глаз, все веки были в гное и как бы порублены, посечены. Ей поэтому купили отдельную кровать.

А мы с мамой ночевали на узкой койке вдоль стены напротив девочки, ногами к портновской семье. Все, что там происходило, было мне прекрасно видно. Жена портного по утрам иногда ворчала, что «сам мне все сбередил», доставала из штанов и рассматривала какие-то кровавые тряпочки. В гости к ней частенько ходила старая Лидка, соседская проститутка, маленькая, сухая пьяница. Она, когда я появлялась на кухне, заботливо произносила почему-то всегда одно и то же, «четырнадцать тысяч». Лидка и портновская жена о чем-то шептались на этой кухне за мутным и прекрасным витражом, освещаемые цветными узорами дореволюционного окна, прятали некие невесомые, хотя и плотные свертки, вообще вели тайный для меня образ жизни.

Сам портной занимался тем, что принимал клиента, обмерял его совершенно профессионально, все записывал, брал аванс и «отрез» на «тройку», то есть ткань на костюм с жилеткой и, как только клиент уходил, уносил этот отрез куда-то, продавал, пил первые дни

до потери сознания, а затем на протрезвевшую голову прятался. Его жена привычно плакала. Клиенты страшно, чуть ли не топорами, колотились в дверь. Нам было велено не открывать.

А деньги за койку у нас брала всегда портновская жена.

Столешников веками был гнездом разврата. Здесь потаенно, как наши клопы, в задних дворах гроздьями ютились проститутские семьи, в которых все – от бабок до девочек – зарабатывали, выползая на ночь. Никакая советская власть ничего не могла с этим поделать. За проституцию не было статьи, так как по статистике у нас ее не имелось.

Мама до вечера пропадала на работе. Я приходила из школы в квартиру портного. Вот тут начинались разные неприятности.

Мальчик портного был старше меня, маленький и юркий, и в уме у него, видимо, возникали различные комбинации. Девочка была еще мала и тихо возилась с куклой, временами высоко поднимая голову и глядя сквозь слипшиеся рубцы глаз. Мать ее бегала по делам, притаскивала все те же свертки, которые никогда не разворачивала. Анаша, думаю, там была. Иногда, гремя сапогами, к нам на третий этаж поднималась милиция, что-то получала от портновской жены и, грохоча по нисходящей, исчезала. Портной же, видимо, предупрежденный ими, переходил в следующую стадию жизни и ударялся в бега, скрываясь от клиентов в других местах. Часто заходила пьяненькая Лидка, ласково со мной разговаривала. Мне было лет одиннадцать.

Однажды почему-то никого не было дома. И вдруг пришли две девочки и куча ребят вместе с Юркой, маленьким хозяином. Весело разговаривали и вдруг предложили мне пойти с ними в соседний дом, на что-то поглядеть.

– Увидишь, – говорили старшие девочки, – че увидишь! Там знаешь, там птицы!

Я была польщена, что такие взрослые ребята меня пригласили.

Мы шли дружной большой компанией, девочки держали меня за руки с двух сторон, как мои лучшие подруги. Я никогда так не ходила, за руки. Мы смеялись.

Это была какая-то совершенно другая, новая жизнь. Я их в первый раз видела. Но я думала, что мне предстоит с ними подружиться, мы бы всюду вместе ходили... Никогда еще никто так обо мне не заботился:

– Сюда! Сюда идемте! Ее тоже ведите! Пусть она посмотрит! Иди, иди! – говорили, оглядываясь, взрослые мальчишки, среди которых мелькал малорослый Юрка в тубетейке.

Я им была нужна!

Мы вышли на Петровку и тут же свернули направо, в первый угловой подъезд за рестораном «Красный мак».

Это была темноватая, тесная лестница.

Они гурьбой поднимались впереди, почти не оглядываясь, но глухо пересмеивались. Как-то сдавленно и невольно прыская. За ними следовали мы с девочками. Одна девочка вела меня за руку, другая замыкала шествие.

Тем временем передние поднялись к последнему этажу и пошли еще выше, на площадку перед чердаком.

Я начала потихоньку выдирать руку.

– Сюда, сюда, – успокоительно сказала девочка передо мной. – Сейчас, сейчас.

– Ты! Давай! – Свесился через перила пацан, обращаясь неизвестно к кому. Может быть, к той, которая шла сзади.

Я ей кивнула, освободила дорогу, она поднялась выше меня на ступеньку. Было темно. Свет шел только снизу, с площадки.

Наверху грубо хохотнули.

Верхняя девочка все еще держала меня за руку. Тут я как-то засомневалась, мне стало душно и тесно, даже как-то затошнило, я вывернулась из потной руки девчонки и шмыгнула вниз.

Они почему-то не погнались за мной, видимо, это у них еще было не отработано, что делать в таких случаях, и я свободно выскочила на улицу.

Уже темнело.

Возвращаться к портному было нельзя до прихода мамы.

Я поплелась на улицу Станиславского, вошла направо в проходной двор, свернула в высоченное парадное.

Поднялась на второй этаж широкой мраморной лестницы.

И под дверью села на ступеньку.

Это была квартира, где жила моя любимая Елизавета Георгиевна Орлова, моя учительница, с мужем-офицером и двумя сыновьями.

Там я пряталась долго. Из квартиры, слава тебе господи, никто не выходил.

Я пришла к портному уже ближе к ночи. Мама сидела на кухне, ждала. Мы поели и пробрались в комнату, когда все хозяева уже лежали. Юрка, как всегда, у стены. Он затаился и головы не поднял.

Я, как все маленькие дети, боялась рассказывать маме о своих тайных страхах. Но всю ночь я плакала и уговаривала маму вернуться обратно на улицу Чехова.

Я знала, эти меня в покое не оставят.

Теперь я понимаю, что их племя росло за счет приучения все новых и новых маленьких самок к ремеслу. Те две девочки тоже недаром шли наверх, на чердак.

Кто там ждал нас на чердаке, неизвестно. Кто заплатил, тот и ждал. Лидка тоже не просто так к нам ходила и, завидев меня, твердила хозяйке про четырнадцать тысяч. Это были огромные по тем временам деньги.

Мы с мамой ушли обратно со своими простынями и одеялом, с чемоданом, сели в троллейбус как беженцы. Приехали, позвонили. После долгой тишины дядя Миша Шиллинг, наш сосед, выйдя на звонок, скинул деревянный брус с двери. Мы поздоровались с ним, тихо проследовали по коридору, боясь соседей, бесшумно открыли свою собственную дверь и вошли в комнату, заполненную дымом «Беломора». Дед курил, отплевывался и молчал. Тлел огонек в темноте.

Его совсем недавно уволили отовсюду. Он был профессором. Он стал бешено кричать по ночам, бил кулаком по стене. Ему не на что было жить, некуда ходить.

Тихо-тихо мы шмыгнули к себе под стол, и там, скрючившись, постелили простыни и легли... Хорошо дома.

А к Новому году у нас в школе был концерт, и я в коричневых бантах (ленты выстирать и намотать на горячую трубу батареи) вышла на сцену актового зала перед всеми четвертыми классами. И нимало не волновалась.

– Рродина слышит – Рродина знает!.. Как высоко ее сын пролета-ает!

Потом Говорова играла «Подснежник», а я упорно, хоть и тихо, но все-таки пела свою главную песню, стоя сбоку за кулисами:

– Голубенький чистый подснежник цветок, а рядом сквозистый весенний снежок...
Последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье другом...

В этом все и дело. Первые грезы. О том и речь. Я не могла совладать с собой, я давилась слезами, плотая сопли. Первые грезы. Наша нищая жизнь.

Из учебника жизни

Некое начало жизни сопровождается формулировкой «это добром не кончится» – и, как всякое предсказание, оно означает в какой-то степени приговор; или, мягче говоря, пример – со своим началом и закономерным будущим финалом – из некоего учебника жизни.

К примеру, поздний, от поздней любви родившийся, последний ребенок, ибо в пятьдесят рожденный отцом (а матерью в тридцать) – это дитя, гласит приговор, у данных родителей будет разбаловано до неприличия, но защитники возражают – нет, не разбаловано, родители не всё спускают. Может быть, только в раннем детстве, когда невинное очарование малыша, ум, золотые кудри, синие глаза и ямочки на щечках сводили папу с мамой с ума, они снисходительно относились к излишней проказливости, шаловливости ребенка, восхищаясь его остроумными ответами.

Но уж потом нет. Они его потом учат, они пытаются поставить его на ноги, они не все ему прощают. И они даже его ругают! Отец особенно возмущается. Но они ничего не могут поделать со своей безумной любовью, с единственным настоящим смыслом своей жизни.

Как будто все предыдущее не стоило этих драгоценных нескольких лет, лет счастья рядом с малышом. Особенно мать опьянена.

Ибо: ни одна плотская любовь, никакая страсть не может сравниться со взаимным притяжением поздней матери и ее последнего младенца. Все заполнено им, а он весь заполнен ею.

Далее вот что: мать даже восстает против отца в своей любви к ребенку. И что же – люди наблюдают и опять произносят свое предсказание «это добром не кончится».

Как бы они, мудрецы, много видевшие рассветов и закатов, по рассвету готовы предсказать закат.

Но мальчик – какой там закат! – так хорош, умен и красив, хотя задирист, уже в семь лет с мужской атлетической фигуркой и дерется как лев! Его не любят в школе и бьют, он вынужден защищаться. У него нет друзей. Лучший друг твоя мать, говорит мать.

Затем некоторые умные взрослые, увидев его у берега реки, прочтут ему спортивную карьеру, чтобы унять эту неукротимую натуру на будущее хотя бы отрочество, опять народная мудрость, что физкультура умеряет юношескую распушенность, хотя история спорта показывает как раз все наоборот.

Но родители прислушиваются.

И мать возит его в бассейн, как смеется отец, смена караула. Туда-сюда разводящая.

Но сын как-то не проявляет энтузиазма, не хочет повторять телодвижения, которым его обучают, не слушается тренера, его критики и окриков, а бежит специально как малыш и с хохотом плюхается в воду, когда нельзя, в воде шалит, топит, нападая со смехом. Какой смех, тут дети плавать не умеют! А после занятий и вовсе заявляет маме, придя из душа, что не будет больше туда ходить, они дерутся.

Дерутся, видимо, коллективно, да еще и там, куда матери нет ходу, в мужском душе. На скуле почти синяк.

Она повела его к тренеру сразу. Вот такие дела творятся в вашем бассейне! Избили ребенка! Вы не следили! Вы! Вы обязаны! Это теперь ваша обязанность, да, охранять его!

Ну хорошо, прошел тот маленький момент, это был дурной педагог, не рассмотревший будущего чемпиона, злой и мстительный человек.

Мать все поняла (поговорив с ним и увидев его уклончивые глазенки), что тренер не обошелся без того чтобы сказать своим пацанам избить новенького, пришедшего затем к маме в фойе с синяком на скуле. Причем парень герой, никого не выдал: якобы упал в душе, поскользнулся.

«Это не в луже в деревне плескаться, – отвечал тренер на обвинения, – я за них шкурой отвечаю, вы что. Будут еще у меня топить ребят».

Ну все понятно стало после этой фразы.

Быстро кончились и занятия музыкой, тоже прервалось на плохой учительнице. Парню было скучно играть белиберду.

Надо было его заинтересовать, но не нашлось на него талантливое педагога. Они слышали об учителях с большой буквы, которые не заставляют играть гаммы, а сразу музыку! Чтобы привить любовь, да.

Детство его быстро проскочило, наступила юность (а у папы старость, что тут говорить). На немощные годы отца пришелся самый тяжелый отроческий период, вся эта грубость, резкость, нарочитое кривляние, сон под утро после ночи, проведенной бессмысленно у телевизора, вялые длительные разговоры по телефону ни о чем! И вдруг парень взял и продал свой велосипед, который ему купили. Подбил какой-то школьный друг, причем с условием, что тогда он ему продаст свой якобы почти новый. Если твои родители добавят. То есть спекуляция на дружбе в чистом виде! Ты продай и деньги мне отдай, да? Да еще родители твои доложат сумму, да?

Мать быстро всё вычислила, все хитромудрости этого якобы друга, который твердо знал свою прибыль. Но мальчик стоял на своем: я продал, это мой был велосипед. Не твой! Как не мой, на день рождения мне ведь подарили? Но это не значит, что надо все из дому выносить и продавать! Так ты и книги свои продашь? И матрас с подушкой? И ковер со стены? Кто, кто этот якобы твой друг, назови фамилию, я позвоню его родителям!

То есть опять-таки не выдал товарища. С одной стороны молодец. Но тебя же все лапошат, все!

И тут произошел переворот, мальчик вдруг оторвался от семьи, ушел. Завел себе компанию друзей и подруг. Кто, кто такие?

Звонки в ночь-полночь, как на вокзальной справочной!

Теперь уже речи не было об одиночестве, затравленности.

Теперь уже родители были одинокие и затравленные, заброшенные. Всё, всё коту под хвост, всё этим друзьям, куртку, сумку, книги, фотоаппарат кому-то понадобился, где, где камера твоя? Но она же моя! А куртка? Он обменялся, видите ли, ему за куртку дали какого-то... Как-как фамилия? А это что? Музыка? А без куртки как будешь ходить? Понятно, у тебя есть еще одна.

Ах мы бестолочи, накупили всего, теперь он в этом как в сору роется, раздает. Надо было как отец – одни брюки и две рубашки, и пиджак от дяди. И день и ночь в библиотеках!

Мальчик быстро при такой щедрости, конечно, стал центром притяжения. При том, нет слов, хорош, умен, красив, девочки вешаются гроздьями, причем отец знаменитый ученый, печатается в газетах, приглашают на телевидение, и деньги в семье в тот момент завелись, как итог многолетней работы отца, специалиста по мировой экономике, и, кроме того, как итог того, что он перестал содержать дочь, она наконец закончила аспирантуру в свои тридцать лет.

И теперь уже младшенький начал учиться в институте с полным правом. Поскольку нашлись влиятельные и просто добрые друзья, помогли с поступлением, и парня приняли на хороший факультет международного права, с перспективой, за него были сказаны все слова по телефону, отцу даже не надо было ходить щеголять своим профессорским званием.

Смотрите, мальчик въезжает в институт только что не на белом коне, занимается с хорошими педагогами, прекрасно сдает все вступительные экзамены, он забалтывает экзаменаторов, говорит, говорит, его останавливают, одобряют.

Говорит он прекрасно. И дома рассказывает мельком о каждом испытании. Но дома, вот горе, отец тоже говорит, произносит речи, что он-де сам в институт не нанимал профессуру, а часами сидел в библиотеке! Мать машет рукой и, трепеща, слушает сына одна, отдельно, отец ушел работать.

И дальше продолжается все то же самое, те же роли: отец поучает, выводит сына на чистую воду, что почему это студент не ходит по утрам в институт, не встает в семь пятнадцать по звонку? «А он лег в шесть тридцать! А ты дрых, да!» – восклицает мать, и пошло-

поехало, семейная драма, вопросы типа а с какой это стати ему ложиться в шесть тридцать, приезжать на такси, да еще с девушкой, и ночевать с ней до пяти вечера, что за ночевки днем.

Действительно, дневной бивак, сон до пяти-шести вечера, а потом вылезают вместе на кухню, пухлые, заспанные милые рожицы, а там озабоченное, трагическое и даже презиращее лицо отца.

Мать его уводит, машет рукой, мать ему тихо возражает, вспомни себя, все были молодые. «Я! – заглушено кричит прикрытый дверью старик, – я! Я!» (И так далее, известная биография героя из бедной семьи, проложившего свой путь в экономику через собственный талант ученого, популяризатора, педагога.) При чем всё – чистая правда.

Сын быстро и хмуро уводит девушку вон, ничего не поел в результате за сутки, мать бежит за ним в прихожую и сует ему деньги на еду и на такси на всякий случай, питаться-то надо!

Затем следующие акты трагедии, ибо это уже трагедия, именно для родителей, они уже в ссоре. Мать, кроткая, любящая, нежная, пытается объяснить старику, что наскоком тут не возьмешь, надо всегда быть на стороне ребенка против всего остального мира, «как вот мама моя была».

Нежность и кротость жены уступают, однако, холодной твердости и презрению. Старик близок к слезам. Похоже, что тут Эдипов комплекс наоборот, старец ревнует молодого к жене! Еще бы. Мать, красавица под пятьдесят (отцу за семьдесят), обращает свое нежное, пушистое как персик лицо к сыну, словно бы подсолнух к солнцу, а отца загораживает спиной, потому что неровен час отец бессильно поднимет свою старческую, поросшую мхом длань, а за сыном не пропадет, он стукнет, молодой молотобоец (любил во младенчестве заколачивать гвозди куда попало).

После всех событий он шипит матом и убегает.

О чем крик?

Всё, как всегда, в конечном счете сводится к деньгам, сын кричит, ты скупердяй, ты меня еще должен по закону содержать, вон телевизор у вас испортился, сами же смотрите все в синем киселе плавают, даже на себя жалко! (Почему разгорелся спор – а все дело в том, что отец получил денежку за книгу, изданную за рубежом, и мама радостно поделилась удачей с сыном, отсюда следующий акт трагедии – скупой рыцарь и его нищий сын!)

Затем мать все уравнивает, гири брошены на протянутую пустую чашу весов, кучка долларов, и сын с дружкой уже принес новый телевизор и новый радиотелефон, так как телевизор куплен настолько дешево, что телефон достался практически бесплатно! Удача!

Ну, тут мать сияет, отец растроган и простодушен, как бывает с обманутыми людьми, когда их убедили. Ибо сын его наколот. Давши предварительно в руки каталог с ценами, с очень высокими ценами. И прикупивши устарелое, позапрошлогоднее со скидкой.

Это был бы путь сына, его настоящий путь, путь закупок на складах у друзей просроченной аппаратуры и затем продажи ее дуракам за полную стоимость. Но сын не пошел по этой дороге, было не к чему.

Родители тут же преувеличенно радостно уселись смотреть новый телевизор, но уже опять без сына: унося с собой новый радиотелефон, он ушел с дружкой к себе в комнату, а затем, как всегда к ночи, исчез вон из дому, обычная история, опять позвали. С полным правом получив от мамы в карман. Кормилец растет!

Она вернулась к телевизору счастливая, растроганная.

Сын настолько нужен всем, что его зовут повсюду, (а это добром не кончится, гласит молва, и то же самое гласит отец), его приглашают, он популярен в своих кругах, остроумен, изыщен, образован, пьет не пьянея. Девушки от него в восторге, он всегда приводит под утро кого-то, кто следующим вечером просачивается вместе с ним на кухню поесть, а мать и отец

сидят у себя как стреноженные кони, не имея возможности выйти даже в коридор, чтобы не нарваться на девушку, а то и двух.

«Да ты понимаешь, они просто ночуют у него, когда ехать далеко», – объяснила звонящим голосом мать, идя с супругом глубоким вечером на уже освободившуюся кухню поужинать, то есть посмотреть, что осталось после гостей.

Сын иногда с доброй усмешкой извиняется: «Ма, мы там поиграли в саранчу». То есть холодильник пуст!

Еще одна закавыка – радиотелефон занят постоянно, кроме ночной поры, когда он не нужен профессору. Сонный сын и по утрам, в полубреду, не выпускает из рук связь с внешним миром. «Это добром не кончится», – вещает ослабевшим голосом отец, он никак не прорвется в этот внешний мир, его уволили по старости, проводивши в семьдесят на пенсию, оставили только преподавание раз в неделю, и он теперь полностью зависит именно от телефона.

Так же напрасно ему звонят дети от предыдущих браков и первая умирающая жена, которая осталась одна в пяти комнатах, после того как старший сын женился третьим браком и ушел к супруге, тому уже пятнадцать лет назад.

Первой жене старика профессора стало нечего есть. Ей уже восемьдесят, в свое время кандидат наук соблазнила студента и родила от него, и у нашего профессора-старца есть старший сын под пятьдесят. Как патриарх выражается, «старинный» сын.

Профессор красавец, до сих пор соблазнял и бывал соблазняем, пока не встретил любовь своей жизни, вот эту самую Ольгу, свою супругу, которая раньше всё поднимала бокал среди знакомых с тостом «За последних жен!», и все гости хлопали и смеялись, пока не вырос сын и не начались ссоры. Теперь уже было не до праздников.

Отец беспокоится, ходит мимо своего занятого телефона как тигр мимо запертого выхода, мать начеку, чтобы снова не завели скандала.

Сын сонно ведет переговоры.

– Это плохо кончится, – кричит в иступлении старый профессор, классик в своем роде, которого ценят повсюду в мире кроме собственного дома. Его ценят, ему вручили премию, которую бравая научная молодежь назвала «посмертной», намекая на то, что ученого уже нет на горизонте.

Но нужда его гонит, гонит, гонит, он пишет талантливые воспоминания, он делает книгу собственных шахматных композиций, он, наконец, ездит с лекциями в университеты мира, где еще остались сидеть его бывшие аспирантки, теперь уже пожилые профессорши. Они-то, находясь в пенсионном состоянии, и приглашают его, подозревая старого красавца в нищете. Платят ему грошики, но он живет у них в домах, выходит подтянутый к обеду, за ним ухаживают, он оживляется, забывает все на свете, он блистает как молния внезапными озарениями мысли, его всегда и везде обожают, точка.

И дома его ждут не дождутся взволнованная жена и занятой сын-беглец. Нужны деньги. Профессор не тратит на себя ничего, все приносит в клюве домой своей голубке и голубю-турману, который на лету выхватывает свою долю и, кувыркаясь, растворяется в вечернем тумане.

И ему звонят из дома на университетские телефоны (раз в неделю он в условленное время прибывает на кафедру и отзванивает за границу за счет приглашающей стороны).

– Они беспокоятся! Как вы им нужны! – замечают с легкой ревностью немолодые ученицы-профессорши.

Итак, все рады и оживлены, когда профессор выезжает, в том числе и он сам. Так же все рады в момент, когда он приезжает, сын встречает его на машине друга.

То есть когда его нет, все хорошо и там где он, и там где его нет, где сидят и ждут они. Но все меняется, когда семья в сборе. Жизнь становится буквально невыносима, ни дня ни

ночи. Хорошо еще, что сын, получивши порцию, исчезает с приварком надолго, прилетает же за следующим кормом варварски, хищно, мотивируя свои отлучки (мать чего-то стонет) тем, что не хочет жить на шее у родителей, желает самостоятельности.

Мать выкликает сына по разным телефонам, пользуясь поводом – то у папы день рождения, то папа попал в больницу, то – внимание – купили у соседней снизу кухню в хорошем состоянии, надо прийти перенести с этажа на этаж.

Но сын не клюет на эти приманки и вызовы, он не меняет образа жизни и является в свою пору, к пяти утра.

Однако мать ему и тут рада и гасит все крики отца своими слезами.

Мать, как наиболее живучее существо, вынесет в дальнейшем все, будет ходить на кладбище еще долго, будет ездить в больницу к сыну, продавать вещички, будет писать письма в разные инстанции, в благотворительные фонды, семья великого ученого-экономиста в беде, он погиб, а больной сын остался без средств, люди, люди!

Тонкий ручеек бесед журчит по вечерам, подруги слушают, уже не ужасаясь, наркомания приучает окружающих жить смиренно, не падать в обморок от диагнозов, от сообщаемых все новых и новых эпизодов, что мальчик просит у знакомых отца какой-нибудь легкой работы, сидеть где-нибудь, просто сидеть – только иногда абонентка, вызванная Ольгой на разговор, отведет трубку от уха и положит ее рядом на диван, но монолог шелестит и без поддержки, в сухих рыданиях.

Ольга говорит без пауз и вопросов, ей не нужны чужие истории, она заполнена своей, как беременные на сносях бывают заполнены плодом, и иногда кажется, что там, в недрах ее жизни, расположился в позе эмбриона молодой скелет, вот-вот готовый родиться вон, наружу, в вечность.

Однако же, странно, несмотря на плохие прогнозы, эта жизнь продолжается, тлеет, вспыхивает, вот в доме появилась (Ольга в панике звонит) некая иногородняя девушка, почти невестка, что ей надо? Потом, вот неожиданность-то, эта девушка вселяется как жена, новые дела!

В общем, проигрышная ситуация не так уж и проиграна, она то и дело дает ответвления, и – внимание – новые поводы для панических монологов о стремлении некоторых шахидок захватить квартиру и что мальчик грубит. Народ же вздыхает с облегчением: тут мы в родной стихии, это ничего, вытерпим, Олечка, мужайся. У нас тут произошло и того лучше, добавляют некоторые женские Гомеры и, набравши воздуха, цитируют из учебника жизни.

За медом

Вот он такой и живет, Сергей, не урод, иногда просто высокий красавец, когда в шляпе и плаще, но живет он очень странной жизнью. Как будто бы последнее время сон вмешивается, приходит на ум, и непонятно, то ли это вправду было, то ли во сне, всю дорогу какие-то вставки, боковые воспоминания полощутся в мозгу, он даже думал одно время обратиться. Но потом заработался, дальше попал в аварию, не поуродовался, зато побил машину тестя, а это дело уже оказалось серьезное.

Причем по их же просьбе он поехал с братом жены за медом в Можайск. Он старался угодить семье жены, потому что в дальнейшем как-то на них рассчитывал в денежном плане, как всегда человек надеется на родню – но и тут оказалось, что родне он насолил. Опять плохой. Сел за руль, для них же в выходной поехал, а перед тем не поспал, потому что пришлось полночи работать. А выезжать надо было с ранья. Потому и послали с ним брата жены, на подмену и проследить, не калымит ли зять на отцовской бурбухайке. Ага. Брат жены потом всем сказал, что Сергей типа за рулем решил поспать. А сам спал сзади, тоже

изматерив всё на свете, все эти требования семьи, что поднимают ни свет ни заря, зарылся в свою куртку и продрых до аварии.

Этот брат, Аркашка, как бы специально всегда был злой на Сергея, якобы после того что Сережа женился на его сестре, которая родила потом в пятнадцать лет: что Сергей стал спать с несовершеннолетним человеком, с его сестрой. Типа педофил. А девочка была уже опытная, надо сказать, когда с Сергеем сошлась, он это сразу понял, она на него прямо лезла летом в деревне, и Сергей после первого случая ее даже спрашивал, кто ее научил, она в ответ смеялась, но потом эта дура, пьяная после свадьбы, нарочно сказала тоже со смехом, что не беспокойся, никого не было, с братом играли еще давно. Что можешь спросить, даже старшая сестра, Маринка, поднимала крик перед матерью, что Аркашка берет маленькую Надьку в постель, когда все вечером уходят и их оставляют. Маринка вообще дико ревновала, якобы мать любит только младших, а ее не любит. И назвала Аркашку «педофил». С Маринкой после этого никто из них не общается уже давно. Она вышла замуж, мать с отцом пришли на свадьбу, а Аркашка не ходил. Не простил из принципа. А на свадьбу Сергея с Надькой пошел и сам все время как бы смеясь шутил «педофил наш, педофил».

Не жениться Сергей не мог, Надя забеременела сразу. В четырнадцать лет. А на ней не было написано, полненькая смелая такая девушка, пьет и курит, хохочет и дает сразу. Тульские девки такие. Но эта отдыхала в деревне у бабки с дедом и была из Москвы. Все это выяснилось потом.

Самое-то главное, что у Сергея в Москве уже была девушка, Светлана. С ней всё и оказалось связано, все сны потом, когда она умерла.

Не то что она явилась ему, когда он вел эти покоцанные дедовы «жигули», но то и дело как будто в мозгу отслонялась какая-то занавеска, а там сидела картинка, вроде бы память о том, чего не было. Так бывает, когда днем приходит на ум забытый сон.

Перед тем он пришел после работы усталый, среди ночи осторожно так лег, а Надька нет, она тут же проснулась, стала действовать и вскочила на него. Сама кончила, отвалилась и заснула, а Сергей долго еще не спал. И здесь и будильник на шесть утра зазвонил. Надька опять тут как тут, ведь на целые сутки мужик уезжает. И сразу Мишка стал плакать, но Надя сначала все закончила, а потом только встала к ребенку. Танюшка спала как убитая. Вот такая была ночь.

Сергей, когда с ней познакомился семь лет назад, он, как честный человек, тут же перестал жить с той своей девушкой Светланой, потому что всю жизнь жил с этим чертом, с Надей. После Нади вообще никто ему как мужчине не был нужен. Она забирала все силы. День и ночь, день и ночь. Да еще и беременная. То есть можно было не ограничивать себя, а со Светланой фокус не проходил. Светлана требовала, чтобы ее берегли, она придерживалась гигиены пола. Надьке было до фонаря, кто в нее сливает – судя по всему, она была готова спать с каждым. Еще надо подумать, чья получилась Танюшка. Мать Сергея сразу сказала, что дочка не ихняя. Отсюда у мамы с Надей пошли скандалы, тут же как только Сергей привез жену и дочь из роддома. А у них две комнаты: одна большая пятнадцать метров, проходная, в ней мама больная живет, а вторая почти семь метров, в нее Сергей и поселил свою Надю и дочь Танюшку. И все их вещи там поместились, мать не разрешала захламлять свою комнату. Образовалась свалка! И в общей кухне соседи не дают вешать детские пеленки на просушку, и я у себя не дам, мать сказала. Надька, такая суперстар из Чертаново, королева дискотек, не задержалась с ответом, а девушка была с матерком как с ветерком, но не это главное; один раз даже случилось то, что она сковородой заехала матери Сергея в глаз. Был синяк. Когда Сергей пришел с вопросом, Надя задрала майку и показала, что у самой тоже синяк на груди. Баш на баш. Твоя мамаша ущипнула с вывертом! Если она пойдет в травмопункт, я предъявлю грудь, и меня не посадят, я кормящая мать, жертва вообще изнасилова-

ния в четырнадцать лет! Ты на мне (плакала она) женился только потому, что тебя посадить хотели! Потому и твоя мать меня не-на-видит! Пе-до-фил, вопила его девочка.

Но бедная Светлана в начале этой истории никак не хотела поверить, что Сергей ее покинул, а он ей подробности новой жизни не сообщал, просто уклонялся. Тем более что родители Надьки действительно хотели на него подать в суд и с трудом ей поверили, что она сама хочет за него выйти. Дали все-таки разрешение на брак, хотя Аркашка желал полного следствия и тюрьмы.

На ночь Надька всегда звонила своему Сергею и плакала в трубку. Они встречались на улице, целовались и тоже плакали. И Светлана не переставала настаивать на встрече и все время по телефону уговаривала его. Что она ему что-то должна сказать. Что? Что тоже беременна? Сергей отнекивался и боялся войти в подъезд, вдруг она караулит. А один раз она позвонила, что едет на дачу на машине, а после выходных им необходимо увидаться обязательно. Сергей согласился нехотя, чтобы закончить это дело раз и навсегда. Они уже готовились с Надькой к своей бедной свадьбе.

А в ночь с воскресенья на понедельник Светлана начала ему сниться. Ему снилось, как будто она к нему идет, пробивается через какой-то туман и никак не может прорваться. Все было видно как сквозь дымку, лица не разобрать, но Сергей точно знал, что это она идет к нему как обещала. А утром в понедельник ему позвонил брат Светланы и сказал, что она заставила везти ее по гололеду и погибла в автокатастрофе именно в эту ночь. И он знает, кто виноват, ради кого Светлана шла на смерть. Вернее, всю ночь она еще была жива, а к утру умерла в больнице.

– Так вот почему она мне все время старалась сниться и пробивалась ко мне сквозь туман! – сказал тогда про себя Сергей, не обращая внимания на это новое обвинение. – Она шла ко мне, надеялась встретиться, но уже была почти что мертвая и не смогла дойти, потому что я этого не хотел.

Потом прошло время, только родилась дочка, Надька кровила, ей было не до секса, и тут ночью Сергею опять приснилась Светлана, она пришла к нему и спала с ним как его жена. Сергей во сне как-то ее жалел, какие-то даже были почти что слезы. Он думал, что хорошо, что Светлана осталась жива. У него в душе сохранилась печаль о ней (не то чтобы угрызения совести). Он видел ее на похоронах, она лежала со свечой в руках. Лицо ее осталось почти невредимым, да и лоб ей накрыли молитвой. Только глаза ввалились, хотя их сильно накрасили гримом. Видно, перед смертью она очень страдала, рвалась к нему, но не попала. Все кончилось. Она как свою жизнь проиграла, думал Сергей. Но, несмотря на это, вид в гробу был у нее успокоенный. Она даже как бы улыбалась, хотя знакомый санитар сказал, что у всех покойников такое выражение покоя, просто у них расслабляются мускулы.

И вот Сергей в своем сне спал со Светой по полной программе, вроде бы жалея ее и с какими-то чувствами – и, понимая (во сне), что ей это все равно, он кончил в нее. Свою жену он уже должен был беречь, хватит детей от пятнадцатилетних. А тут он вполне мог себе позволить все. Но через год опять Светлана пришла к нему во сне, и теперь уже с каким-то ребенком на руках. Сергей, что делать, реагировал спокойно – и, подозревая, что это сон, он опять не стал соблюдать осторожность и опять в нее кончил, думая, сейчас-то мне можно. Она при этом ему говорила, что у них родился сын, и даже сказала, как его зовут: министерство внушной торговли! Светлана вздыхала как всегда: «Ах ты Сережка-Сережка!», и он знал во сне, как она переживает, что живым в этом слышится что-то неприятное, зловещее. Это же две разные вещи, тот и этот свет! Там ждут живущих, а здесь тех боятся.

Он проснулся опять мокрый и в большой досаде на себя. И он стал думать, как же так! Надо больше во сне не кончать! Он даже чувствовал страх: она там мертвая живет только ради этих ночей и его ждет. Она сумела там, на небесах, продлить свою жизнь как его сон. И она счастлива этим, родила ребенка с таким дурацким именем. Такие имена не дают живым

детям. И, может быть, она родит еще девочку, еще одно министерство. Что делать, думал он. Во сне хочется пожалеть ее, да он и рад искупить свою вину, хотя никакой вины нет. И что, если так и будут продолжаться эти тайные встречи? Выходит, что на том свете у него, что ли, жена и дети? И они ждут его там?

А как же свои, любимые?

И опять растворяются в его уме некие пространства, как это потом произошло по дороге за медом, когда он вдруг почувствовал, что на память приходит то, чего не было.

Богиня Парка

Есть люди, которых не хотят. Никто не хочет. Вот это дело, как таким выжить.

Собственно говоря, не бывает так, что не хотят все и повсюду, – просто надо найти тот пункт, где есть человек, который не то чтобы хочет с тобой водиться, но он вообще ни о чем пока что не подозревает. Допустим, новый человек. И как-то оказывается, что около него можно угнездиться, можно что-то построить, как-то быть.

И уж если такой покладистый человек найден, то всё, дело сделано, ради него и будет нелюбимый жить и землю рыть, чтобы никто не выгнал.

Вот и угнезвился такой нелюбимый, звать его было А. А., он появляется в нашем рассказе в дешевом камуфляжном костюме и в не особенно молодом возрасте, откуда-то приехал, откуда его достала судьбина, из близлежащей провинции учитель (нелюбимый учитель).

Куда он приехал?

Это и есть история знакомства.

Он приехал отдыхать за город (жил неподалеку) и оказался в деревне, куда однажды тоже завезлась одна заполошная московская тетка.

То есть он-то, А. А., как раз и снимал верандочку в избушке у родни этой тетки, так сказать, летнюю дачу, тут тебе пруд, тут тебе лесок наискосок, вечером тихо и хорошо, комары, но он света не зажигает, тихо живет себе человек, уходит спозаранку с рюкзаком на целый день, сам в камуфляже, на ногах старые кеды. В рюкзаке непонятное. Уходит на день, где-то шляется, что-то ест (а у него на верандочке даже электроплитки нет, и света учитель не жмет вообще, лампочку вывернул и хозяйке отдал. Бредится врукопашную).

Экономит?

Ничего не просит и вежливо отказывается, даже если хозяйка приносит на щербатом блюде лишний вчерашний пирожок (сегодня опять пекут): нет, спасибо.

– Да что же вы едите-то? – в шутиливой досаде восклицает хозяйка, у которой раньше на уме было кормить учителя и брать с него за это или, если не выгорит, тогда за электроплитку. Но он специально даже предупредил, что пользоваться электричеством не будет, дни длинные.

Дни ему длинные, видали? Специально подгадал от жадности.

Ох и не полюбила его хозяйка!

На вопросы он отвечает не сразу, и отвечает так, что больше спрашивать не захочется: «А какая, собственно, разница», – вопросом на вопрос.

Даже невежливо.

Но на каждую хитрую гайку найдется свой болт, и приехала эта тетка из Москвы, развезшая, деловая-деловая, далекая двоюродная жена брата разведенного мужа что ли хозяйки.

Но эта тетка издавна на две летние недели привыкла заезжать сюда, на полотпуска, любила, видите ли, среднюю русскую возвышенность, варила варенье, солила-мариновала что под руку попало, чуть ли не крыжовник! Уезжала с хорошим грузовичком банок-пакетов-мешочков.

И кипела, кипела у нее работа в саду возле сарая в тенечке и под навесом, а там, в сарае, она и жила бесплатно, еще года три назад где досками подбила-подколотила, где перегородку поставила, и однажды даже пришла радостная с какой-то предыдущей дверочкой от хлева, на которой было написано известкой «коза».

Чужеродная соседка, которая нанимала мужиков порушить старый двор, видно, и отдала ей дверочку специально назло, чтобы москвичка не снимала угол во вражеской избе, не приносила доходов!

Причем на дверочке все было как полагается, две петли, щеколда, даже замок имелся, тоже прежний.

И выделила себе москвичка в сарае как бы комнатку, чтобы жить бесплатно.

Свет, правда, у ней был, и телевизорчик работал, и холодильник небольшой имелся. И она платила за электроэнергию по своему счетчику, который аккуратно и оставляла вместе со всем скарбом у хозяйки в хламовнице.

Так что именно хозяйке-сродственнице ничего не перепало, одни хлопоты.

Правда, внуки хозяйки, Машенька и Юра, все ж таки ездили к тете Алевтине в Москву на зимние каникулы, как же, Кремль повидали.

А в своей сарайной комнатке тетя Аля навела красоту, обоями обклеила, на крыше все позалатала, занавесочку повесила на ту дырку со стеклышком, которая заменяла окно. Даже какие-то нары ей сделали, на них мешок с сеном, ура! Сельская жизнь.

У хозяйки поместья, правда, масса претензий, жалоб на здоровье и на бедность, язык так и работает. Но все это не по адресу, Алевтина не желает поддерживать такой унылый разговор.

Вечерком она затевает самовар на еловых шишках вскипяченный, и хозяйка со смехом, дуя на воду (московская карамель за щекой), сплетничает Алевтине:

– У меня жилец неженатый. Жад-ный!

– О.

– Да. Неженатый холостой учитель. Тридцать пять лет.

– У! (Смех.)

– Ни копеечки не хочет потратить, утром мешок за спину и ушел, а вечером явится, вымоется из ведра и спать.

– Ну!

– Что ест? Крошки хлеба на веранде нет.

– В столовую ездит?

– Нет. Ну не знаю. В столовую не наездишься, автобус всегда битком набитый с лишним... и у нас то и дело мимо проезжает, не останавливается.

– Бывает, да.

– Так что где он только шастает?

Москвичка вопросительно хохочет.

Да, приехала она только днем, только разгреблась, расставила всё, расстелила.

Завтра будем решать все вопросы.

– Смородину брать будешь?

– А сладкая?

– Седни сладкая уродилась, – поет в беспокойстве хозяйка, – дождей мало было. Поливала я ее.

– А крупная?

– Похваля продать, – раздражается хозяйка, – а хуля купить.

– Да где же я хулила? – смеется тетка Алевтина.

Хозяйка подозревает у нее большие богатства там, в Москве (дети говорили), и тоже начинает хвастать собою, причем тут же похвальба неудержимо перетекает в горькие

жалобы – какие две трехкомнатные квартиры она уступила дочерям, когда собственный дом в городе у нее ломали, а сама сидит зимой в однушке, и что у старшей муж капитан милиции, а у другой вообще пожарник на заводе, сутки спит на работе, двое спит дома.

– И покрыть крышу не допросишься, смотрит сериалы не оторвешь его. Буду нанимать. А детей на лето ко мне! Три раза в день баба кушать! Всё я, всё я (и т. д.).

Обычные разговоры хозяек, героинь труда и ненаписанных комедий. Самовосхваление в форме справедливого гнева.

Тем временем постоялец, тень в пыльном камуфляжном обмундировании с горбом за спиной, бесшумно открыл калитку (Тишка затыкал), пробрался по дорожке к дому, да и шмыг на свою верандочку и там закопошился. Вышел с ведрами, что-то буркнул издали и двинул по воду. Вернулся, помылся под рукомойником до пояса.

Такая вот мирная картина.

Две Пенелопы дуют чай и смотрят на вернувшегося из странствий человека, который сам себе льет на спину.

– Алексейч, – величаво, но не без трусости восклицает хозяйка, – падалицы вон сколь яблоч нападало, у меня кости ноют подбирать, наклади себе.

– Простите? – фыркая, как конь в овсе, отвечает постоялец.

Хозяйка машет рукой и почти открыто сообщает тетке Алевтине:

– Нелюбимой он какой-то, Валентина (она не может, видимо, воспроизвести слово «нелюдимый»). И «Алевтина» у нее не получается).

Новый Одиссей убирается к себе.

Тетка Алевтина же похихатывает довольно. Причем совершенно некстати. Смех у нее низкий, трубный. Несущийся в сторону терраски.

Но там тихо, темно. Ничто не шебуршнется.

– Чуден Днепр при тихой погоде, – ни к селу ни к городу замечает тетка Алевтина и опять изрыгает свой утробный хохот.

Как бы намекая на профессию учителя.

Хозяйка тем временем талдычит свое:

– Тридцать пять лет ему, и никого.

– В смысле?

– Что же человек гуляет. Добро пропадает. Вхолостую живя.

– Какое... добро? – хохочет московская тетка, уже давно сама напряженно размышлявшая на эту тему.

У тетки Алевтины много-много есть на примете девочек и женщин, тоскующих в перенаселенной Москве, но не для них, не для девушек, перенаселенной. Для них-то Москва безлюдная пустыня с волками. Утром на работу, вечером с работы в опасениях, на выходные надо куда-то сходить в гости или с подругой по магазинам, тоска.

А тут вот он, здоровый. При всем своем организме, не кривой не хромой, не заика, не псих, наверное.

Как это он ловко ответил «простите», чтобы ничего не отвечать. И пресек ненужный разговор.

А яблоч-падалицы полно по окрестным брошенным деревням, вон сколько вокруг тоже вхолостую стоящих, одичавших садов с малиной, смородиной мелкой, сливами, дикими грушами!

– Он не в Комаровку ли бегают? – вопрошает задумчивая Алевтина.

– Хер яво знает, – зевает хозяйка.

– Ну иди, я чашки помою.

– И то пойду, Валь. Ребята поздно прибегут. У меня аллергия на солнце, я в четыре встаю, я така мочунья, – важно заявляет страдальца и уползает к себе на ведро. Из приоткрытого окна слышен далекий звон струи, как в подойник.

Попили чайку, так сказать. Так-то хозяйка поднимает юбку под деревьями, считая это полезным для сада, но когда тут вечером постояльцев полон двор!

Частые звезды проклевываются на небесах, проступают как знаки судьбы, создают рисунок будущего.

Тетка Алевтина вздыхает, глядя в сторону ушедшего заката.

Нина, вот кто ему подойдет, нелюдима тоже, фармацевт в аптеке, ее мать недавно умерла, Нина. Ей тридцать семь лет. Однокомнатная квартира в далеком каком-то Дегунино, на краю Москвы. Как они там уживались? Мать спроваживала редких женихов вон. А куда их всунуть было? Тихая Нина, глаза водянистые, большие как буркалы, молчит (на работе готовит микстуры и мазилки и тоже, наверно, молчит).

Ее мать была тоже дальней родней Алевтининого бывшего мужа. Их там родни было как песку. Сага о Форсайтах, клянусь. Все перли в Москву, женились, выдавали замуж дочерей. Невесты, невесты. Свадьбы, обиды.

Прекрасно, думает тетка Алевтина, как думала бы древняя богиня Парка, плетя нити человеческих судеб – и так и сяк их перекрещивая и связывая будущими детьми.

Та тонкая нить судьбы, на которой привязана была эта лупоглазая корова Нина, вдруг затрепетала, забренчала и натянулась золотым лучом, как от небольшого маломощного проектора, шарящего в глухой тьме.

Что же, другая нить судьбы пока еще провисала как ленивая веревка между лодкой и причалом на берегу.

Но луч сверкнул, шаря и пронзая тьму, заволновалась вода, лодка тяжело заворочалась, плеснула туда-сюда, отошла от мостков – и нате, веревка тоже натянулась и запела. И тут же луч проектора полоснул по ней, зажег нестерпимым золотом эту мокрую невзрачную бечеву. Она загорелась, распушилась, показала каждую свою ворсинку, как на хорошей художественной фотографии в каком-нибудь лаковом журнале.

Тетка Алевтина затаилась и ждала.

Будущий ребенок тоже затаился там, в прозреваемом далеке.

Тихо было во дворе и в мире, громоздились полные ягод кусты, стояли стеной старые яблони. Сладко пахли вечерние флоксы и табаки.

И тут тень А. А. мигом просквозила сквозь мглу в сторону сортира. Ни скрипа, ни стука не послышалось при этом. Не прошелестела задетая на ходу штанина. Как он так мог дунуть?

Это понравилось старой Алевтине.

Она продолжала выжидать и среагировала на возвращение смутной тени из ада деревенского сортира следующим воплем:

– Доброй ночи!

(Как «руки вверх!», между прочим.)

– Доброй, – растерявшись, ответила тень и на секунду застыла.

– Вы что же как поступаете? – сухо спросила Алевтина.

– Простите?

– Ну так я и знала. Ну вы подумайте! И как же теперь быть? – спросила тетка Алевтина. – И не просите прощения, не прощаю. Никаких ваших «простите».

А он опять чуть не вякнул свое слово-выручалочку, свое «простите», которым прерывал все бабские вопросы.

И А. А. замер на полушаге, как замирает петух, втянув, отшатнувшись, голову и занес лапу – но еще не ступив ею.

– Вы сколько должны-то? – строго, даже недоброжелательно продолжала Алевтина.

По силуэту было видно, что петух обомлел, – видимо, А. А. подумал, что тетка обо-
зналась, приняла его за кого-то другого.

– Кто? – брякнул этот половозрелый самец и влип, потому что на самом деле ему надо
было бежать на верандочку, накинуть дверной крючок и мигом на топчан, мигом! И с головой
одеялом накрыться!

А он как дурак остановился и спросил это свое «кто».

Может быть, у него была совесть где-то там нечиста, что-то он наделал в родных местах
и теперь боялся погони?

Испугался мужик, испугался.

Алевтина тихо сказала:

– Я не буду орать на всю деревню.

Петух подумал, протянул лапу в пятнистой штанине и с грохотом поставил ее впереди
себя. То есть сделал первый шаг навстречу своей судьбе. Потом поднял вторую жилистую
ножку и занес ее над землей в намерении сделать следующий шаг. Сердце петуха сильно
билось.

Но он неуклонно ступал и ступал вперед, гремя доспехами, тряся сережками и качая
тряпочкой красной бороды. Глаза его в сухих оранжевых ободках торчали как блестящие
пуговицы. Гребень налился клюквенным соком и тяжело нависал. Полная картина!

«В суп, в суп зовут», – билось в петушиной голове неоформленное сознание, однако
мозолистые, набитые в бегах лапы вращали суставами, как паровозные рычаги, делали обо-
роты, и А. А. приближался к дощатому столику с самоваром, за которым сидела грузная
старая Алевтина в прическе типа «полубокс», сделанной ради летних работ.

В сумерках как-то скрадывались ее женские черты, два мешка впереди, грудь и брюхо,
сливались в одно монументальное целое с крутыми плечами, и выглядела Алевтина как
какой-нибудь римский император с чубчиком на лоб. Суровый, тонкий рот и выдающийся
нос все отчетливей проступали в полумраке.

Тетка Алевтина повела себя как начальство.

– Ну, что вы можете сказать в оправдание?

Петух даже крикнул и неожиданно охотно заклокотал, что ничего не должен, электри-
чества вообще не жжет, ведра мои, а вот вода из колодца как решить проблему? Хотя хозяйка
почему-то говорит, что рыли его вскладчину и она лично внесла 350 тогдашних когдатош-
них рублей! Но только, так сказать, за себя, а не за своих дачников, чем ей и угрожают якобы,
спрашивают вроде бы, по какому праву в сухое лето колодец весь к вечеру растасканный? А
ведь я беру не для полива, а только 20 литров в сутки, в то время как другие по 200!

– Это мы решим, – отвечала тетка Алевтина. – Это дело решаемое. Не сунутся. Как
величать вас?

– В смысле? – выдал домашнюю заготовку А. А. У него их было несколько. Он трени-
рован был на учениках не отвечать сразу. Вообще не отвечать на вопросы.

– Ну Андрей?

– Предположим.

– Андрей Алексеевич, чаю без заварки и сахара выпьешь? Все равно выливать кипятка
буду.

– Нет – спасибо, – отвечал петух задиристо. – Я Александрович.

Так и заварилась эта безумная, несусветная каша, куда А. А. попал и увяз там – осмот-
рительный, осторожный, закаленный, боевой и злобный, всегда неудержимо и неуклонно
попадающий в суп петух.

А дело происходило в золотейшее время, в самую сердцевину лета, был конец июля –
начало августа. Когда плодам уже нужно зреть и падать.

В августе тетка Алевтина отбыла, нанявши микроавтобус, в Москву, уместившись среди банок, мешков и пакетов. Все это дело грузил ей А. А., а местный водитель хмуро смотрел от переднего колеса и не помогал, так как не было уговора на погрузочные работы (мужики этой деревни и всех окрестных поселений профессионально пили и не занимались ни к кому из дачников работать, ничего не делали, боясь продешевить по сравнению с ценами в Москве, о которых ходили умопомрачительные, волнующие слухи. Мужики сидели на этих слухах, как скупые рыцари на мешках с золотом, зная свои возможности и торжествующе не шевеля пальцем).

Хозяйка наблюдала из окна эвакуацию и тоже не шевелилась. Пушай сами волокут.

Затем она вдруг всколыхнулась – учитель взял два рюкзака с веранды, две здоровенные брезентовые сумки, отволлок их в машину, сказал: «Спасибо – до свидания» (хозяйка в ответ только моргнула) и, дверь на терраску за собой не закрывши как надо, сел туда же, в микроавтобус, к мешкам.

Собственно, хозяйка именно о таком зяте мечтала бы для своей бы дочери, чем этот пожарник.

Алевтина же, находясь на переднем сиденье лицом к А. А. в тесном пространстве микроавтобуса и глядя, как тот мирно покоемся, заботливо глядя на свои, в свою очередь, мешки, думала о том же самом: что такого бы мужа собственной дочери, если бы она была, а вместо того имелся пьющий сын и холера невестка, а вот внучок и был настоящим любимым сыном Алевтины, но в данное время он проходил тяжелый возрастной кризис (14 лет), ни на что не соглашался, хрипел, курил, глаза имел не в фокусе, дикие, враслопыр, был явно опозорен прыщами и с бабкой не разговаривал даже по телефону, а только сопел. Даже «здравствуй» от него было не дожидаться. Только «але». Для него-то Алевтина и делала запасы варенья и всего остального. Внук любил поест бабиного. За это приходилось кормить и невестку, поскольку собственный сын, наоборот, ничего не ел, щипал у пирога корочку, а норовил выпить всю наливку. Ела же невестка да похваливала, молола своими жерновами, наша невестка все стрескат, убить ее мало. Курит, пьет как слесарь, да поворовывает. Как бы все равно нам достанется, так чего же вашей смерти ждать! Серебряную ложечку унесла, больше некому. В документах явно рылась. Намекала, «мы должны с вами поговорить о будущем». Потом поговорим.

Так А. А. в компании банок, мешков и пакетов въехал в тихую отпускную августовскую столицу на закате золотого дня, в безлюдное воскресенье.

Машина катила по широким красивым улицам предместья Подушкино, затем свернула во двор, тоже красивый как парк, и все богатства Алевтины посредством лифта были доставлены в ее хорошую двухкомнатную квартиру, где имелась стенка во всю стенку, диван под ковром, хрустальная люстра и все что сердцу надо.

Попозже ночью он уже сидел в обратном поезде и мечтал.

Он мечтал о просторной собственной квартире в таком же микрорайоне как у Алевтины, о хорошей жене, похожей на одну киноактрису, о сыне, тихом ученом ребенке, которому можно вложить в память всю сумму отцовских мыслей. О том, что больше не надо будет ходить на работу в эту школу, где дети массово лузгают семечки даже на уроке, причем норовят сидеть в наушниках.

(Так все и произошло, но много лет спустя.)

С Ниной он познакомился, будучи приглашен на день рождения Алевтины.

Видимо, об эту пору Алевтина поссорилась окончательно с невесткой, поскольку никого из семьи на празднике не было.

А. А. купил билеты туда и обратно на деньги, которые ему прислала Алевтина, и выгадал аж три дня – поменялся с кем мог. Сказал, что тетя заболела.

Нина ничем не поразила А. А.

Неказистая немолодая девушка, глаза водянистые, большие, сама полная, молчит и стесняется. Щурится, но иногда таращится.

Правда, про самого А. А. мать его тоже говорила: «Че глаза-то вытараскал?»

Поэтому он еще раньше выработал привычку щуриться и теперь понимал Нину как никто. Видел насквозь. Даже усмехался.

Короче, Нина совсем ему не понравилась, однако по тому, как Алевтина обращалась к Нине, с каким уважением, можно было составить мнение о Нине как о человеке и специалисте. (Алевтина в самом начале праздника вытащила какие-то ветхие рецепты и дала Нине, Нина их взяла неохотно и равнодушно, как большой специалист.)

Это поразило А. А.

В следующий раз они встретились в больнице, где Алевтина и умерла через месяц. Все это время Нина за ней ухаживала, возила ей соки и бульоны, всякие перетертые котлетки. Это выяснилось потом, когда А. А. женился на Нине.

А. А. приехал за свой счет на одно воскресенье, это был для него, небогатого, подвиг. Он повидал свою дорогую Алевтину, она с ним торжественно поговорила, хотя и с трудом, и дала ему денег, довольно много, со словами «купи себе книг каких хочешь». При том она мужественно ничего не добавила типа «будешь меня вспоминать». А. А. не плакал, но в этот момент, видимо, сидел вытаращившись, потому что Нина взглянула на него с невыразимой добротой и участием. А. А. тут же сощурился.

Нина же дала ему последнюю телеграмму, и он приехал прямо в морг, тут же с поезда, поезд еще и опоздал, проклятый, и А. А. мчался по метро как буря. Дорогу знал, ведь уже был разок в больнице. Топографическая память у него, слава богу, блестящая. Но вышел не в ту сторону. Ничего не узнавал. На улице впопыхах опрашивал московских, ему показали дорогу.

Какая-то женщина с собакой в безлюдном месте (все-таки заблудился) сердобольно, подробно указала путь к моргу. Видимо, сама знала не понаслышке, перестрадала этот адрес.

Ужасные были места, глухие.

Нашел больницу, нашел морг, кучками стояли неизвестные люди, он спросил, где такую-то хоронят, ему ответили с диким любопытством. Нашел Нину, присоединился, кивнул. Она кивнула. Все на него откровенно смотрели, пялились.

Все это время он простоял рядом с ней. Потом его попросили помочь нести гроб. Поехали на автобусе в крематорий, опять он в числе четверых мужчин нес гроб. Стал как бы своим.

Все там до конца рядом с Ниной вытерпел. Нина не плакала, а только дрожала.

У Алевтины Николаевны было какое-то очень молодое и спокойное лицо, похудела сильно. Ее накрыли крышкой, забили гвоздиками.

Из крематория поехали опять на том же автобусе в город. Где-то всех высадили. Небольшая орава помятой родни образовалась на тротуаре. Какой-то пьяненький сказал: «Просим помянуть всех родных и близких» (но на А. А. специально не взглянул. Они вообще его избегали. Как все и всегда).

– А кто это, – вдруг произнесла женщина, тоже пьяная.

– А им выпить надо, вот они и присусеживаются, – отвечала бабка.

Толстый сын Алевтины Виктор покинул свою тощую жену Марину и подобрался к Нине.

– Ну как ты? Как в смысле жизнь? Замуж не вышла? – (Произошла некоторая заминка.) – Все одна да одна? – (Хохотнул.) – Пойдем к нам, мы тебя покормим. Выпьешь с нами. На все праздники приходи. А то будешь сидеть как собака одна. С сестрами не контактишь?

Нина ответила:

– Спасибо на добром слове.

– А это кто? (Он так небрежно кивнул на А. А., как будто тот был далеко и не слышал.)

– Это наш друг, – сказала, помолчав, Нина.

– Все ясно, – неуместно весело для таких обстоятельств отвечал Виктор и вдруг как бы в сторону добавил: – Квартиру на меня запиши. А то ты одинокая, возраст уже... Знаешь, разный народ бывает иногородние. Убьют.

– Правда? – удивилась Нина. – У меня же сестры.

– Так муж будет наследник! Убьет и унаследует!

Тут Виктор поглядел на свою тощую Марину, которая смотрела на него пьяно и выразительно, как на идиота.

Вдруг А. А. подал голос (с учительской интонацией):

– Нина, мы опаздываем.

Нина почему-то оглянулась, опустила голову, поворотила оглобли, фигурально выражаясь, и пошла прочь.

Виктор остался стоять со словами «А помянуть?».

А. А., делать нечего, бросился следом за Ниной. Надо было спросить ее как идти до метро. Да она ведь точно пойдет на метро.

Билет у него был на ночной поезд.

При всем прочем надо сказать, что А. А. был исключительно трусливый и стеснительный мужчина.

На его уроках поэтому творилось полное безобразие, допризывники пулялись пережеванными бумажками, стоял шум как на вокзале.

Таким образом, А. А. пошел следом за Ниной – как-нибудь она доведет его до чего-нибудь. Спросить что-либо он побоялся.

Полная фигура его будущей жены двигалась машинально, автоматически. При поникшей голове вполне можно было представить ее в виде ожившей статуи скорби и обиды, если сделать скульптуру на шарнирах и с мотором.

Даже какое-то нечеловеческое величие угадывалось в этой немолодой девушке.

Оскорбление иногда придает человеку силы, как бывало с А. А. после бесед в кабинете директорши.

И здесь произошло следующее: на тротуар перед А. А. въехал грузовичок и загородил собой всю перспективу. Тут же его начали разгружать с кормы какие-то люди.

А. А. кинулся в обход, а другие навстречу ему тоже кинулись в обход, москвичи же, все как один рвутся вперед, колотырный народ, и не дали быстро пройти.

Когда он оказался по ту сторону полосы препятствий, Нины уже не было.

Ни адреса у него, ни фамилии. Алевтина всё, спустилась, уехала вниз.

Сколько она рассказывала про Нину, про ее жизнь, что Нина как святая. Никогда ни слова матери поперек. Две других дочери бросили старуху, рассорились с ней, а Нина так с ней до конца и просидела. И не видела никакой жизни. Ни в кино, ни к знакомым. Самоотверженность.

А. А. мудро внутренне улыбался в ответ на такие рассказы. Сватовство майора!

И понимал, зачем Алевтина его вызвала в Москву, к себе в больницу. Затем и вызвала.

Он спросил где метро и шел автоматически. Сердце его ныло. Чувствовалась полнейшая пустота во всем теле. Как будто что-то вынули изнутри. Какое-то наполнение. Он раньше сопротивлялся Нине, а тут стало некому. Оставили жить без смысла.

До поезда десять часов.

Голодный, замерзший, с невыплаканными слезами, на ледяном ветру.

Так и остался один.

Перед метро он остановился, огляделся.

Повернул назад, побегал вокруг.

Добрался до того киоска, в который все еще разгружали товары с грузовичка.

Прошло несколько минут, и прошла жизнь.

Надо было идти в метро.

И тут он увидел Нину! Она быстро двигалась навстречу ему и плакала! Смотрела на него во все свои огромные глаза! Она тоже искала его!

Как они кинулись друг к другу!

Он чуть ее не поцеловал, как после долгой разлуки, но тут же крепко взял ее под руку со словами «ну где ты ходишь, ну как так можно, успокойся», и он взял у нее из этой бесчувственной руки ее сумку, как делают все мужья.

Порыв

Гордый, гордый, измученный борец за свою любовь, чего она только не вытворяла!

(На все имея, как она думала, свои права.)

И через что только эта любящая ни прошла, в том числе родной муж на прощанье погнул ей передний зуб ударом кулака (зуб удалось отогнуть обратно).

Дети! Дети от нее чуть ли не сбежали, дочь не хотела ее видеть, не отвечала по телефону, заслышав плачущий голос матери.

Сын-то что, сын остался с матерью, она его отвезла на дачу, где теперь прозябала, зимняя полусгнившая дачка с печкой, школа в деревне и магазин сельпо, где чипсы, мороженое, пицца, шоколадки, постное масло, хлеб и мыло, а сыр бывает не всегда.

Вот там она с этим сыночком и проводила все то время, когда не охотилась за своим любимым, за светом всей своей жизни, – а это был обыкновеннейший человек, каких тысячи, не очень молодой, среднего вида, умеренно щедрый, но ведь зацепит, понесет – и не знаешь что с этим делать.

Огонь в крови, что называется, цепь химических реакций, буквально в преддверии атомного взрыва!

Еще и побрилась налысо.

Но ей все было к лицу – и эта истощенность, и эти огромные сверкающие бриллианты в виде глаз, и большой спекшийся рот, всё.

Тут бедняга объект не знал что поделать, у него уже имелась порядочная иностранка жена и сын студент, хорошая квартира, все налажено, европейский быт, иногда легкие романы без обязательств, дача (бывший хутор) в Литве, случайный секс в командировках (это и было, кстати, началом данной истории, секс в чужом городе, в гостинице, поскольку и он, и та, о которой идет речь, были теперь жителями разных стран).

Затем дело повернулось так, что он специально приехал на длительную побывку в Москву, все умно устроил, и ему его фирма даже сняла квартиру.

И эта Даша, о которой идет речь, бывала у него неоднократно наездами с дачи – дело происходило уже летом, сын пасся на воле, у него были закадычные дружки в поселке, а еда – насчет еды он был спокоен, покупал себе в магазинчике мороженое, чипсы, кока-колу и заледеневшую пиццу, и они с друзьями пировали, даже жгли костер в заброшенном мангале, который еще давно, о прошлом годе, приобрел ныне отставленный отец.

Даше это было на руку, сын самостоятельный человек, мангал – здорово придумал, молодец, вон еще картошка есть, пеките!

При этом она могла уезжать в город, где ее любимый свил для нее гнездышко и где их ожидала постель.

К ночи Дарья, взвившись как цунами из койки в полный голый рост, выметалась к сыну, иногда с последней электричкой, что делать!

Стон стоял в душах разлучавшихся влюбленных, еженощные вопли прощания.

Но это только распаляло взаимную тягу, это постоянное слово «нельзя» и «надо».

Что-то, правда, маячило в скором будущем, Даша устроила сына в молодежный лагерь, все шло к желанному результату – и, выкупив путевку, Дарья с торжеством кинулась к своему гражданскому супругу.

Она незапланированно, без звонка, бежала ему сообщить, что на ближайшие двадцать четыре дня они свободны. Поскольку трубку он не брал ни там ни тут.

Может, у них совещание. Белый же день на дворе!

Очень быстро, схватив тачку, Даша оказалась у знакомого дома.

Мысль была такая, что все быстренько приготовлю, дождусь любимого человека, ура!

Однако, порывшись в сумке перед дверью, она обнаружила, что у нее нет ключа! Куда-то он запропастился. Потеряла? Но как? Он же был на связке!

Совершенно обалдев от такого открытия, Даша спустилась вниз и встала у подъезда, глядя вверх.

Квартира дорогого находилась на втором этаже, как раз над балконом первого этажа, а именно на этом балконе имелась решетка, крепко сваренная тюремная решетка, и они с Алешенькой всегда даже весело недоумевали, как же эти люди живут как в камере, небо в клеточку!

Далее они догадались, что эта клетка вполне может быть использована как лестничка: раз – и ты на балконе второго этажа!

То есть защита от воров на первом этаже есть путь как раз для этих же воров к соседям!

И надо тоже загораживать свой балкон, и это будет цепная реакция, распространение тюремных решеток вверх.

Так они весело рассуждали, возвращаясь домой, беззаботные владельцы не своего имущества, ничего не имеющие, ничего в этом городе, кроме гнилой дачки с печкой (правда, в очень хорошем поселке).

Здесь надо сказать, что Дарья была не просто так себе бедная женщина, беглянка с ребенком, она к описываемому времени очень хорошо зарабатывала своим ремеслом, гораздо больше, скажем, чем ее заброшенный муж или этот новейший кандидат Алешенька.

О, Дарья только внешне выглядела бедолагой, а на самом-то деле она уже начала вить новое гнездо, заказала архитектору проект загородного дома в два этажа и даже сделала великий первый шаг, насыпала из щебня дорогу для строительной техники от шоссе и напрямиком к домику, то есть заложила основу новой жизни.

Так! Однако же теперь она стояла под окном недоступной квартиры, Алешенька еще не пришел, а ждать на лавочке это дитя порыва не могло.

Быстро и аккуратно, не оглянувшись, она цап-цап и взвилась на балкон второго этажа по балконной решетке первого – напрямик до заветной цели, перевалила за перила очень бодро и радостно – и оказалась у входа в квартиру, у стеклянной приотворенной балконной двери.

Она вошла, восторгаясь собой и готовясь (впоследствии, когда Алешенька явится), к веселому рассказу о своем подвиге, тронулась было на кухню выпить воды, но у двери оглянулась – и оцепенела.

Стоял аккуратный приоткрытый чужой чемодан, на тумбочке лежала дамская сумочка, но постель! Постель являла собой полуостывшее поле битвы, да. Следы сексуального побоища были налицо, к тому же имелось маленькое как бы засморканное полотенце...

Итак, у Алешеньки только что была женщина. И он дома.

С кухни, вдобавок, доносилось постукивание, как бы лязг ножика по той самой фарфоровой дощечке, которую Даша купила месяц назад! Явно готовилась какая-то пища, слышался голос женщины с вопросительными интимными интонациями, то есть чужая баба вела себя как в собственной квартире!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.